

НАШИ СОЛДАТЫ

(ТИПЫ МИРНАГО И ВОЕННАГО ВРЕМЕНИ).

Соч. Ник. БУТОВСКАГО.

(СЪ РИСУНКАМИ).

Цѣна 1 руб.

Складъ изданія у В. А. БЕРЕЗОВСКАГО,
С.-Петербургъ, Колокольная, д. № 14.

1893.

НАШИ СОЛДАТЫ

(ТИПЫ МИРНАГО И ВОЕННАГО ВРЕМЕНИ).

Соч. Ник. БУТОВСКАГО.

(СЪ РИСУНКАМИ).

Цѣна 1 руб.

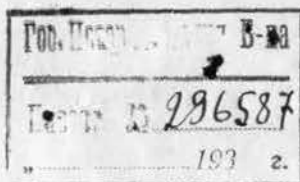
Складъ изданія у В. А. БЕРЕЗОВСКАГО,

С.-Петербургъ, Колокольная, д. № 14.

1893.



447



✓
М

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 14 июля 1892 года.

Типографія Тренке и Фюсно, Максиміліановскій пер. № 13.

РЯДОВОЙ ЦЫГАНОВЪ.

(Военный этюдъ.)



Есть солдаты, у которыхъ бодрость духа и запасъ физической энергіи никогда не ослабѣваютъ. Это въ своемъ родѣ богатыри, для которыхъ большой переходъ, выгрузка тяжелаго транспорта, дальняя и спѣшная посылка не только не представляютъ никакой тягости, а, напротивъ, — являются той сферой, которая наиболѣе удовлетворяетъ ихъ природу. Лица у этихъ людей всегда довольныя и веселыя, взглядъ добродушный, степень старанія удивительная. Вы ясно видите, какъ у человека ходить душа, какъ всѣ черты его находятся въ движеніи, — и все это вызывается какимъ-нибудь пустякомъ — приказаніемъ куда-нибудь проворно сбѣгать, исходящимъ отъ „дяди“ (фельдфебеля), отъ васъ и вообще отъ начальства. Мимоходомъ, въ трудную минуту, эти люди помогаютъ и своимъ усталымъ товарищамъ.

Въ каждой ротѣ есть такихъ нѣсколько человекъ и ихъ всегда можно узнать. Положимъ, вы вышли на ученіе и забыли бинокль. „Эй! бинокль капитану!“ лаконически коман-

дуетъ фельдфебель, и тѣ, къ кому относятся эти слова, уже знаютъ свое дѣло; ихъ сразу вылетаетъ человѣка четыре. Глаза у нихъ горятъ; носы фыркаютъ; ноги чувствуютъ власть надъ пространствомъ; каждый изъ нихъ горитъ желаніемъ „духомъ“ исполнить ваше порученіе. „Цыгановъ!“ обращается фельдфебель къ самому шустрому изъ нихъ и дѣлаетъ какой-то повелительный жестъ. „Слушаю!“ гордо отвѣчаетъ Цыгановъ уже на бѣгу — и летитъ какъ стрѣла, нисколько не стѣсняясь ни ружьемъ, ни ранцемъ, и свободно преодолевая кочки и канавы, которыя для обыкновенныхъ людей представляютъ существенныя препятствія. Если вы станете слѣдить за Цыгановымъ, то непременно замѣтите, что бѣгъ у него особенный, съ какимъ-то гимнастическими вывертами, точно онъ собирается прыгнуть въ ширину.

Рота въ это время уходитъ Богъ знаетъ куда, и Цыгановъ догоняетъ ее, весело улыбаясь и мощно дыша расширенными ноздрями. Фуражка у него непременно съѣзжаетъ въ такихъ случаяхъ съ потнаго лба на затылокъ, что придаетъ ему видъ лихости и заставляетъ недоумѣвать, почему у этого молодца до сихъ поръ нѣтъ „ехлоторскихъ“ нашивокъ. Какъ ни въ чемъ не бывало, становится Цыгановъ въ строй и, въ назиданіе соннымъ товарищамъ, отъ всей души отбиваетъ ногу на ученіи.

Вы, конечно, довольны, что у васъ въ ротѣ такіе расторопные люди, и даже беспокоитесь о бѣдномъ Цыгановѣ — не очень ли онъ усталъ; но вашъ почтенный фельдфебель совершенно другого объ этомъ мнѣнія: онъ большой знатокъ природныхъ способностей солдата и считаетъ своей обязанностью воспитывать эти способности, т. е. развивать ихъ до безконечности.

— Копаешься! строго замѣчаетъ онъ Цыганову. — Зналъ бы, Захарова послалъ....

— Я, дяденька, какъ схватилъ, такъ и побѣгъ, — ей Богу...

— Ну, ну! я те поговорю! останавливаетъ его фельдфебель словами, которыя кладутъ печать молчанія на солдатскія уста.

Того же самага Цыганова и еще нѣсколькихъ подобныхъ ему молодцовъ вы можете наблюдать въ самую тяжелую минуту на маневрахъ. Сдѣлавъ переходъ въ нѣсколько десятковъ верстъ, большинство людей валится, какъ снопы, чтобы минутку отдохнуть передъ разстановкой палатокъ; но есть солдаты, которыхъ вы никогда не увидите отдыхающими, развѣ только ночью. По приходѣ на бивакъ, всѣ они вертятся около „дяди“ и ловятъ каждый его жестъ. Вотъ уже одинъ пустился бѣгомъ къ тому мѣсту, гдѣ будутъ ротныя кухни; онъ поможетъ кашевару и артельщику разгрузить телѣгу и онъ же будетъ рыть печку, потому что его считаютъ, неизвѣстно по какимъ причинамъ, печникомъ. Двое другихъ, энергично сморкаясь и переругиваясь, уже вытащили изъ ранца ту самую веревочку, что фигурируетъ на инспекторскихъ смотрахъ, и равняютъ ружейные козлы и т. д. Но вотъ все это бросается въ одинъ мигъ, и нѣсколько молодцовъ летятъ уже къ вамъ, заслышавъ команду фельдфебеля: „рабочихъ капитану!“

Лежа на травѣ и философски созерцая бивачную картину, вы видите, какъ эти рабочіе, точно хищные звѣри, набрасываются на вашу телѣгу и въ одинъ мигъ разбираютъ все въ ней содержимое. Полотнища вашей палатки мелькаютъ у нихъ въ рукахъ; площадка подметается вѣтками и на ней водружаются колья; у главнаго кола непременно стоитъ Цыгановъ съ открытымъ отъ радости ротомъ и съ фуражкой, совсѣмъ съѣхавшей на затылокъ; онъ весь въ поту, постоянно сморкается и такъ увлеченъ работой, что безъ церемоній болтаетъ съ товарищами, не обращая вниманія ни на васъ, ни на фельдфебеля. Въ это же время вы замѣчаете ловкій рывокъ жилистой „дядиной“ руки и не можете хорошенько разобрать — простой ли это жестъ, или

отеческое внушеніе, но сейчас же выводите заключеніе, что это сдѣлано кстати, потому что до этого жеста одна изъ вашихъ вещей валялась въ грязи.

— Пожалуйте, ваше высокоблагородіе: готово! докладываетъ вамъ фельдфебель, и нѣсколько толстыхъ, но проворныхъ рукъ, въ томъ числѣ и руки вашего деньщика, подшустрѣннаго „дядей“, принимаютъ васъ раздѣвать.

Въ ожиданіи офицерскаго ужина, вы ложитесь, какъ какой-нибудь мандаринъ, въ совершенно готовую постель, безъ всякихъ съ вашей стороны хлопотъ о ея устройствѣ, и слышите, что около вашей палатки все еще что-то устраивается. Наконецъ, всѣ рабочіе уходятъ, за исключеніемъ одного, который подправляетъ концы полотнищъ только что надѣланными колышками. Энергичное и веселое лицо этого рабочаго мелькаетъ въ отверстіи вашей палатки, и по открытому рту съ красивыми бѣлыми зубами вы узнаете, что это Цыгановъ.

Цыгановъ не ефрейторъ, потому что служитъ всего полгода. Вы его выпросили къ себѣ въ роту какъ красиваго новобранца, подразумевая, конечно, не ту красоту, которая нравится женщинамъ, а ту, за которую можно получить благодарность отъ начальства на смотру одиночной выправки. Лицо у Цыганова было бѣлое, безъ прыщей; глаза сѣрые съ симпатично-глуховатымъ выраженіемъ; носъ прямой, въ обыкновенное время довольно тонкій, а въ минуты увлеченій — расширенный; волосы жесткіе, придававшіе головѣ видъ свернувшагося ежа, такъ что дядьки чесали объ нее руки во время занятій „словесностью“. Корпусъ Цыганова былъ необыкновенно строенъ, а талія даже изящная, особенно, если подобрать ее туго натянутой португесей. Это главнымъ образомъ и плѣнило васъ въ Цыгановъ.

Первоначальное военное воспитаніе получилъ Цыгановъ у дядьки Данилова. Къ этому дядькѣ, человѣку недалекому,

но весьма исполнительному, попали въ обученіе пятеро русскихъ и одинъ чухонецъ. Самого шустрого изъ русскихъ звали Цыгановымъ, а чухну — Купья. Повороты и всякая выправка пошла ничего. Немножко Купья кланялся въ тактъ повороту, привлекая къ участию въ этомъ дѣлѣ свою голову, и вообще всѣ силы своей души, но все-таки, по выраженію Данилова, „заучивался гораздѣ“. За то на „словесности“ чистое наказаніе было съ Купьей: сегодня выучить, а завтра все перезабудетъ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ отрывковъ фразъ, которые, какъ нѣчто самостоятельное, до того обособляются въ его памяти, что къ нимъ ничего уже нельзя прилѣпить. Думалъ Даниловъ, какъ бы горю помочь, чтобы начальство не заругало, и сталъ будить Купью по ночамъ, донимая его вопросами: кто „ротный“ и кто „баталіонный“. Ротнаго заучили въ первую же ночь, но на баталіонномъ пришлось опустить руки, потому что тамъ была трудная для чухонъ буква „с“. — „Подполковникъ Сварскій“, говоритъ Даниловъ. — „Подколникъ Варскій“, отвѣчаетъ Купья. — „Сварскій!“ — „Варскій“. — „Да Сварскій же, морда ты чухонская!... и гдѣ уродился такой чортъ!...“ Такъ на этомъ словѣ и остановились; дальше по „словесности“ двигаться было нельзя. Тогда Даниловъ, чтобы не задерживать умственного и нравственного развитія другихъ новобранцевъ, придумалъ отдать Купью въ выучку Цыганову, который опередилъ товарищей на нѣсколько страницъ, потому что былъ маленько грамотенъ.

И вотъ вы входите въ роту и застаёте Цыганова съ Купьей у окна. Цыгановъ человѣкъ добродушный, занимается ласково и терпѣливо. Онъ нѣжно обнялъ Купью, деликатно наклоня его голову поближе къ книжкѣ. Оба они при вашемъ появленіи вскакиваютъ. Цыгановъ улыбается отъ радости, что васъ увидѣлъ, и, глядя на него, Купья тоже считаетъ нужнымъ оскалить свои зубы. И у того и другого зубы необыкновенно бѣлые, потому что каждый день прочищаются

черствой ржаной коркой, периодически отправляемой въ желудокъ.

— Здравствуйте! Что вы учите?

— „Начальство“, ваше высокоблагородіе, — „знамя“, „что есть солдатъ“... всякую словесность... отвѣчаетъ Цыгановъ, привѣтливо фыркая носомъ.

— Ну, расскажи, обращаетесь вы къ Купьѣ, который, не дождавшись вашего вопроса, уже что-то бормочетъ.

— Ээ... три собращенія, васе високое благородіе... говоритъ онъ, усиленно кивая головой на удареніяхъ.



— Что такое?

— Ээ... три собращенія.

— Это, ваше высокоблагородіе, „они“ про знамя хотятъ сказать, что тамъ есть три изображенія, поясняетъ Цыгановъ, изъ вѣжливости къ вамъ, называя Купью „они“.

— Ну?

— Такъ что, ваше высокоблагородіе, „они“, надо быть, изъ нѣмцовъ будутъ... По-своему „они“ здорово лопочутъ и книжку умѣютъ читать, а по-нашему все больше изъ середки запоминаютъ, а краюшки опосля подучиваютъ...

— Ээ... ффера и отѣцство (вѣра и отечество) продолжаетъ Купья, припоминая дальнѣйшія слова, относящіяся къ понятію о знамени.

— Мы, ваше высокоблагородіе, сейчасъ начальствомъ занимались; *окромѣ баталіоннаго всѣхъ выучили: баталіоннаго нѣмцы не могутъ выговорить.

— А ну, спроси.

Цыгановъ, подражая дядькамъ, ставитъ Купью по формѣ передъ собой и, увлеченный своей ролью, неистово очищаетъ свой носъ, какъ бы забывъ о вашемъ присутствіи.

— Купья!

— Здравія зилаю!...

— Не надо „здравія желаю“: это, когда здороваются, а ты скажи мнѣ, Купья: кто у тебя „полуротный“?

— Патра.... Патра....

— Зачимъ?... зачимъ горячку пороть? ты стой себѣ вольно, какъ есть... одно слово — прохладно стой... „они“, ваше высокоблагородіе, потѣютъ здорово....

— Патра.... Патра... продолжаетъ Купья, раскачивая свою думательную машину.

— Да не надо такъ... ты не бойся... ты спомни портупею.... знаешь портупею?

— Такъ тоцно!

— Ну, вотъ, ты все и думай себѣ о портупеѣ: то будетъ портупея, а это поручикъ Патрикѣевъ... понялъ?

— Такъ тоцно!

— Такъ, ваше высокоблагородіе, „имъ“ легче запоминать, потому — „они“ нѣмцы... Ежели „имъ“ теперича палець покажешь, то они и поручика Кальцына спомянутъ.

— Патрак.... Патрак.... продолжаетъ Купья, роняя капли лота на полъ.

— Будетъ уже, будетъ.... Дозвольте, ваше высокоблагородіе, имъ оправиться: они напужались здорово...

— Ну, а ты много выучилъ? спрашиваете вы у Цыганова.

— Такъ точно, ваше высокоблагородіе: я уже половину „дисциплины знаю“, — хощь такъ, хощь по „вопроснику“...

— А ну, скажи?

— Дисциплина состоитъ въ строгимъ и точнимъ соблюденіи всѣхъ правилъ, предписанныхъ военными законами; поэтому она....

— Ну, дальше, — „обязываетъ“.... что жъ ты остановился?

— Никакъ нѣтъ, ваше высокоблагородіе: — „обязываетъ“ дяденька на завтра оставили; такъ и карандашемъ отгорожено.... Только что я, ваше высокоблагородіе, и это выучу; мнѣ бы только съ Купьей управиться.

Нечего и говорить, что такое состояніе школы васъ не удовлетворяетъ; вы сердитесь на себя за то, что рѣдко ходите въ роту; недовольны молодымъ офицеромъ, который недавно прибылъ въ полкъ и потому не умѣетъ приступить къ новобранцамъ; главнымъ же образомъ вы набрасываетесь на Данилова и приходите къ заключенію, что здѣсь дѣло безъ фельдфебеля не обойдется.

— Это все Даниловъ виновать... ты тамъ проberi его хорошенько, говорите вы фельдфебелю, уходя изъ роты.

— Э... слушаю, ваше высокоблагородіе, — понимаю!...

„Дядя“ въ вашей ротѣ считается очень почтеннымъ человекомъ; „настояще“, какъ говорятъ солдаты, онъ никогда не дерется, а любитъ только „понужать“. Собравъ учителей и вызвавъ впередъ Данилова, онъ сдѣлалъ нѣсколько круговъ у его лица своимъ кулачищемъ, — понимай моль, что эта машина можетъ быть приведена въ дѣйствіе, если это потребуется. Съ тѣмъ и ушелъ, оставивъ учителей подъ

впечатлѣніемъ, что „словесность“ идетъ въ ротѣ дурно, и потому занятія ею надо усилить.

Даниловъ изъ кожи полѣзъ, особенно на Купью, котораго даже за обѣдомъ донималъ вопросомъ: „что такое солдатъ?“ на что Купья отвѣчалъ: „сочитныкъ отъ раговъ, нутреныхъ и нѣшнихъ.“

Вотъ какую школу пришлось пройти Цыганову подъ руководствомъ совершенно неподготовленныхъ дядекъ. Онъ даже маленько похудѣлъ, потѣя надъ „словесностью“, но веселости не потерялъ, потому что принадлежалъ къ тѣмъ натурамъ, которыя всецѣло отдають себя въ распоряженіе начальству и никогда не огорчаются отеческими внушеніями. Выскочивъ изъ этой школы, Цыгановъ сразу почувствовалъ настоящее свое призваніе въ исполненіи спѣшныхъ посылокъ и въ первое время находился „на вѣстяхъ у дяди“, гдѣ и продолжалось его дальнѣйшее воспитаніе.

При всей шустрости и молодцоватости Цыганова какъ-то сразу опредѣлилось, что онъ дальше „ехлетора“ не пойдетъ. Онъ былъ усерденъ, проворенъ, но безтолковъ. На всякія простыя порученія лучше его не было человѣка: никто скорѣе его не могъ принести „дядѣ“ хлѣба, квасу, воды и вообще какой-нибудь знакомый предметъ, и никто лучше не исполнялъ заурядную солдатскую работу; если же его посылали за какой-нибудь мудреной закуской, то случалось, что онъ искалъ ее по суровскимъ и всякимъ другимъ магазинамъ. Впрочемъ, Цыгановъ былъ одно время вѣстовымъ и у кого-то изъ офицеровъ; но тамъ всякое порученіе записывалось на бумажкѣ, что давало возможность Цыганову завести большое знакомство съ городовыми, которые, снисходя къ просьбѣ браваго и симпатичнаго солдата, отечески брали его одной рукою за плечо, а пальцемъ другой руки указывали на дверь той лавки, которая прописана въ запискѣ. Если же городского не было, то

Цыгановъ останавливалъ всѣхъ прохожихъ, не исключая и статскихъ совѣтниковъ, и очень любезно обращался къ нимъ со словами: — „скажите пожалуйста, землячокъ, гдѣ тутъ можно этой самой мази купить, для чернаго, значить, то-вару?“

Бывали случаи особенной возбужденности Цыганова; тогда онъ не дослушивалъ приказаній и летѣлъ, самъ не зная куда и зачѣмъ. Замѣтивъ, напримѣръ, что махальные дурно показываютъ пули, вы говорите фельдфебелю, что не мѣшало бы Цыганова послать.

— Цыгановъ! — командуетъ фельдфебель, и Цыгановъ, какъ сумасшедшій, бросается къ валамъ.

— Стой! куда ты бѣжалъ?

— Къ валамъ, выше высокоблагородіе.

— Зачѣмъ же ты посланъ?

— Не могу знать... надо быть, на махалы.

Если дневальные въ лагеряхъ что-нибудь перепутывали, то частенько между ними оказывался и Цыгановъ.

— Послать фельдфебеля Разамасова на середину полка... ..а...а...!! — кричить, напримѣръ, дневальный на правомъ флангѣ.

— Послать Разамасова на середину полка...а...а!! повторяетъ слѣдующій дневальный и т. д. Когда же дойдетъ очередь до Цыганова, вы уже слышите что-то неподобающее.

— Что ты кричалъ? спрашиваете вы у Цыганова.

— Не могу знать: разнаго масла требуютъ на середину полка.

— Чего?

— Масла разнаго, ваше высокоблагородіе.

При всемъ послушаніи Цыганова, у него были и своего рода капризы, для искорененія которыхъ употреблялись „дядей“ особые воспитательные приемы.

— Цыгановъ! поправь гимнастическую лѣстницу, говорить, напримѣръ, фельдфебель.

— Она, дяденька, ровно стоитъ.

— Ровно?

— Такъ точно.

— А ну, нагнись.

Цыгановъ смотритъ на лѣстницу снизу.

— И теперь ровно?

— Такъ точно.

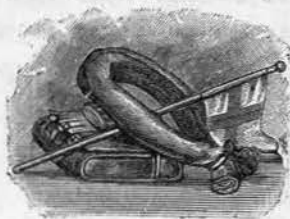
За этимъ слѣдуетъ отеческій подзатыльникъ и бойкій отвѣтъ Цыганова: „слушаю! сейчасъ поправлю!“

Имѣя такихъ солдатъ, какъ Цыгановъ, вы рѣшительно отказываетесь вѣрить рассказамъ о томъ, что стрѣлковая цѣпь, на послѣднихъ позиціяхъ въ бою, иногда бываетъ непослушной и даже совсѣмъ теряетъ дисциплину до той минуты, когда ее толкнуть резервы; но дѣйствительность немножко разочаровываетъ васъ въ Цыгановѣ: къ великому удивленію, вы замѣчаете, что Цыгановъ въ бою похожъ на ту вѣрную собаку, которая никогда отъ васъ не отстанетъ, но непременно будетъ за васъ прятаться при нападеніи собакъ болѣе сильныхъ. По командѣ: „встать и бѣгомъ!“ подымаются не Цыгановы, а совершенно другіе люди, которые для васъ гроша не стоили въ мирное время. На вашихъ глазахъ подаетъ примѣръ храбрости и геройски умираетъ какой-нибудь Петровъ, котораго вы два раза отдавали подъ судъ за разные проступки, сопряженные съ пьянствомъ. Вы проникаетесь благоговѣйнымъ чувствомъ къ этому Петрову, и свѣтлый образъ бывшего пьяницы долго потомъ беспокоитъ ваше воображеніе. Вамъ становится жаль, что въ свое время вы не могли поддержать этого человѣка, обставить его хорошимъ вліяніемъ, а вмѣсто этого систематически его преслѣдовали... Впрочемъ, о Петровѣ мы поговоримъ когда-нибудь.

Однако подъ конецъ боя вы проникаетесь хорошимъ чувствомъ и къ Цыганову: его ранили на вашихъ глазахъ, и

вамъ очень поправилось, что онъ не только не вскрикнулъ, а продолжалъ попрежнему улыбаться своей симпатично-глупой улыбкой, затыкая свою рану ладонью, изъ-подъ которой сочилась кровь. Онъ даже не хотѣлъ идти на перевязочный пунктъ, увѣряя васъ, что ему „не больно,“ и отправился туда только по вашему приказанію.

Цыгановъ былъ раненъ въ ляжку съ поврежденіемъ артеріи. Рана не опасная, но требующая остановки крови и безусловнаго покоя. Перевязавшись въ летучемъ госпиталѣ, Цыгановъ, не долго думая, улизнулъ въ роту, и за это названъ былъ молодцомъ и поплатился гангреной и смертью.



ЕГОРЬ ЕГОРОВИЧЪ.

(Разсказъ офицера.)



пріѣхалъ въ Башъ-Кадыкларъ въ одинъ изъ жаркихъ июльскихъ дней часовъ около четырехъ пополудни. Это была авангардная позиція, обеспечивавшая лѣвый флангъ Александровскаго отряда и переправу черезъ Арпачай.

Явившись куда слѣдуетъ и получивъ назначеніе состоять въ 5-й ротѣ N-го полка, я отправился разыскивать своего новаго ротнаго командира.

— Гдѣ палатка командира 5-й роты? обратился я къ кучкѣ лежавшихъ подъ навѣсомъ солдатъ.

— Пожалуйте, ваше благородіе, — вонъ Егоръ Егорычъ сами сидятъ... отвѣчалъ одинъ изъ солдатъ, и указалъ на открытую офицерскую палатку, въ которой сидѣлъ сгорбленный старичокъ въ шлафрокѣ, въ ночной фескѣ и съ огромнѣйшею трубкою въ зубахъ.

Я уже проходилъ мимо этой палатки и мнѣ казалось, что сидѣвшій въ ней старичокъ либо маркитантъ, либо вообще кто-нибудь изъ людей, не принадлежащихъ къ строю, — и каково-же было мое изумленіе, когда я узналъ, что это ближайшій мой начальникъ, подъ командой котораго пройдетъ мой первый боевой дебютъ.

Фигура моего новаго ротнаго командира напоминала тѣхъ отставныхъ военныхъ старичковъ, съ подстриженными съдыми усиками и съ слегка трясущейся головою, которыхъ

такъ часто встрѣчаемъ мы при выходахъ изъ маленькихъ петербургскихъ ресторановъ. Такіе старички живутъ большею частію на окраинахъ города, иногда въ собственныхъ деревянныхъ домикахъ, и чувствуютъ необходимѣйшую потребность заходить каждый день въ ресторанъ, имѣющій для нихъ значеніе клуба, чтобы выпить тамъ вина и поговорить съ хорошими людьми о разныхъ пріятныхъ предметахъ, какъ-то: о происшествіяхъ въ городѣ, о судебныхъ процессахъ, о цѣнахъ на продукты, объ успѣхахъ оставшихся на службѣ товарищей и преимущественно о политикѣ.

Не знаю почему, я всегда чувствовалъ симпатію къ этимъ людямъ: въ звукѣ ихъ старческаго, дребезжащаго и всегда добродушнаго голоса я усматривалъ полное отсутствіе фальши. и мнѣ слышалось вѣянье чего-то давно-прошедшаго, счастливой поры моего дѣтства.

Фигура моего новаго ротнаго командира произвела на меня пріятное впечатлѣніе, и я весело зашелъ къ нему въ палатку, какъ къ своему старому знакомому.

— Честь имѣю явиться, г-нъ капитанъ, — я прикомандированъ къ вашей ротѣ.

Старичокъ немножко вздрогнулъ, вѣроятно, не ожидая, что проходящій мимо чужой офицеръ зайдетъ къ нему въ палатку.

— Душевно радъ... прошу покорно садиться... Такъ это значитъ, вы къ намъ прикомандированы?

— Точно такъ-съ и назначенъ къ вамъ въ роту.

— А васъ зовутъ какъ,—позвольте спросить?

— Моя фамилія Молодовъ.

— Да Богъ съ ней — съ фамиліею, вы скажите какъ ваше имя и отчество?

— Алексѣй Петровичъ.

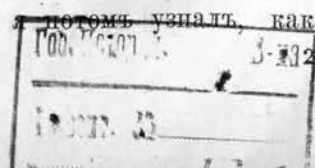
— Очень радъ, Алексѣй Петровичъ... Вы тутъ и помѣщайтесь у меня въ палаткѣ... Кровати нѣтъ у васъ?

— Нѣтъ. Я полагалъ, что ее тяжело будетъ возить на вьюкѣ.

— Помилуйте! у насъ фургоны есть, — все есть... Сейчасъ вамъ кровать сколотятъ. Егоръ Егоровичъ крикнулъ деньщика и сталъ распоряжаться насчетъ кровати. Минутъ на пять я остался въ палаткѣ одинъ. Меня еще раньше поразили мирный видъ лагеря, мимо котораго мнѣ пришлось проѣзжать: нигдѣ не было даже намека на то, что здѣсь гремятъ боевые выстрѣлы и проливается кровь: такъ все казалось спокойнымъ и невозмутимымъ. Внутренность маленькаго жилища капитана поразила меня своимъ комфортомъ, котораго я никакъ не ожидалъ найти на бивакѣ: кровать, столъ и нѣсколько складныхъ стульевъ составляли меблировку; столъ былъ покрытъ скатертью и на немъ стоялъ довольно объемистый походный погребецъ, табачница съ рожею показывающей языкъ, портфель съ бумагами, чернильница, песочница и нѣсколько разныхъ бездѣлушекъ; въ углу палатки стояли два большихъ бисерныхъ чубука, двѣ пары сапогъ, надѣтыхъ на колодки, и дубовая съ украшеніями палка; на верхнихъ шнурахъ висѣли два вышитыя полотенца и между ними образъ въ серебряной оправѣ. Еще было нѣсколько разныхъ вещей въ большомъ порядкѣ развѣшанныхъ и разставленныхъ. Видна была заботливая рука хозяина.

Скоро капитанъ вернулся и съ очень веселымъ видомъ объявилъ мнѣ, что кровать къ вечеру будетъ устроена, и что теперь, съ дороги, необходимо выпить водки.

Цѣлый вечеръ болтали мы о разныхъ вещахъ, вовсе не относившихся къ войнѣ. Ходили гулять по лагерю. Я видѣлъ, что хозяйство Егора Егоровича не ограничивается его маленькой палаткою, а занимаетъ цѣлый районъ: на походной собственной телѣгѣ лежали разные вещи и на нихъ примостились спать принадлежащія капитану куры, которыя тутъ же и неслись; къ колесу была привязана коза, называемая Машкой, которую каждый день доили для Егора Егоровича, страдавшаго, какъ потомъ узналъ, какой-то



странной болѣзнью, противъ которой докторъ прописалъ не пить до 12-ти часовъ дня водки и пить вмѣсто чая козье молоко и про которую Егоръ Егоровичъ рассказывалъ очень много, но очень непонятно.

Да что же это? — боевой бивакъ или мирный лагерь?... Ужь не сонъ ли это? Гдѣ это я нахожусь, что не слышу ни полслова о войнѣ, тогда какъ въ Петербургѣ мнѣ прожужжали ея уши? Но я скоро почувствовалъ, что это былъ не сонъ: я ясно увидѣлъ армію, выросшую и воспитавшуюся въ боевой жизни. „Чего тутъ хлопотать? разсуждалъ почтенный Егоръ Егоровичъ, — дѣло — такъ дѣло, а нѣтъ дѣла, такъ живи себѣ каждый, какъ кому нравится. Безпокойство только кровь портить, а пользы отъ него никакой нѣтъ“.

Я впоследствии узналъ, что Егоръ Егоровичъ не любитъ разговаривать о войнѣ. Однажды, когда я спросилъ его: „скоро-ли предполагается дѣло?“ онъ отвѣтилъ довольно сухо: „А Христосъ его вѣдаетъ, — это только одни штабы знаютъ; а нашему брату прикажутъ идти, такъ и пойдѣмъ... Этакъ все воевать да про войну думать, такъ и съ ума пожалуй сойдѣшь“.

Часамъ къ одиннадцати ночи все кругомъ успокоилось. Егоръ Егоровичъ вышелъ изъ палатки для подробнаго осмотра козы, куръ, вьючной лошади и разныхъ другихъ вещей, что продѣлывалось каждый вечеръ на сонъ грядущій, — потомъ вернулся въ палатку и началъ перебирать всѣ находившіяся въ ней вещи: снялъ полотенце, расправилъ его и снова повѣсилъ на то же самое мѣсто; пощупалъ рукой стоявшіе въ углу чубуки и одинъ изъ нихъ поднесъ зачѣмъ-то къ свѣту, но потомъ опять поставилъ въ уголокъ; два раза снималъ образокъ и опять вѣшалъ его; потомъ отперъ погребецъ и, перебравъ все тамъ находившееся, снова уложилъ въ прежнемъ порядкѣ, при чемъ особенно долго разсматривалъ адреса на лежавшихъ на днѣ

старыхъ письмахъ и при этомъ что-то пошепталь, качнувъ раза три головою. Обернувшись ко мнѣ, онъ замѣтилъ, что я еще не сплю, и мнѣ показалось, что онъ вздрогнулъ.

Наконецъ Егоръ Егоровичъ кончилъ переборку вещей и приказалъ деньщику выгнать изъ палатки мухъ, при чемъ самъ дѣятельно помогалъ, приговаривая: „ступайте къ туркамъ!“ потомъ порылся еще гдѣ-то и наконецъ легъ спать, приказавъ деньщику напоить козу.

Я гораздо раньше улегся на кровати, наскоро сбитой изъ досокъ и намощенной соломой. Долго я не могъ заснуть, — все какія-то мысли лѣзли въ голову, — одна другой хуже, содержаніе которыхъ заключалось приблизительно въ томъ, что въ дѣйствующей арміи совсѣмъ нѣтъ того, что я ожидалъ встрѣтить.

Уже все смолкло на бивуакѣ; слышны были только одни шаги часового да покашливанья больныхъ грудью солдатъ. Природа тоже замолчала, — только камыши слегка покачивались у ручья и нѣжно шумѣли, что представлялось полусонному воображенію взмахомъ крыльевъ какой-то большой черной птицы, и сонный мозгъ старался разрѣшить: орелъ-ли это — вѣстникъ побѣды, или воронъ — вѣстникъ смерти? Охваченная такимъ сномъ, душа моя была неспокойна и сердце сжималось и болѣло, какъ будто чувствуя одиночество или вѣянье пустыни, въ которомъ много поэзіи, но поэзіи грустной, мрачной, неудовлетворяющей. Наконецъ все это слилось въ какой-то гулъ, въ которомъ слышался раскатистый громъ орудій, трескъ ружейныхъ выстрѣловъ, команды, сигналы, стоны раненыхъ, шумъ колесъ и лошадиный храпъ... Я вижу во снѣ густыя массы турокъ, наседающихъ на нашу цѣпь, и, наконецъ, ясно слышу тревогу...

Это было утро 27-го іюля.

Барабаны гремѣли по всей линіи; все неслоя опроретью и становилось въ ружье. Я спрыгнулъ съ постели и началъ быстро одѣваться. Мой деньщикъ, не привыкшій къ трево-

гамъ, какъ нарочно подавалъ не на ту ногу сапоги и вмѣсто моихъ вещей хваталъ вещи Егора Егорыча. Я былъ въ такомъ волненіи, что забылъ совсѣмъ о моемъ капитанѣ, и когда вспомнилъ о немъ, то замѣтилъ, что его уже въ палаткѣ не было. Я, что есть духу, побѣжалъ къ ротѣ, но меня остановилъ капитанскій деньщикъ и очень ловко сунулъ въ задній карманъ моего мундира двѣ бѣлыя галеты, предназначавшіяся къ чаю. „Егоръ Егоровичъ приказали!“ сказалъ онъ скороговоркой. Прибѣжавъ къ ротѣ, я увидѣлъ тамъ Егора Егоровича и не узналъ его; тотъ-ли это Егоръ Егоровичъ, что вчера выгонялъ мухъ изъ палатки и перебиралъ вещи? — нѣтъ, положительно не тотъ! Тотъ былъ сгорбленный старичокъ, чудакъ, большой любитель куръ и лозьяго молока; а этотъ стройный, смотритъ молодцомъ, лихо держится лѣвой рукою за шашку, говорить съ солдатами немного, но въ каждомъ словѣ значеніе... „Такъ вотъ оно что!“ подумалъ я.

— Полкъ впередъ! слышалась команда полкового командира, и я увидѣлъ вовсе не того командира полка, къ которому вчера являлся: тотъ показался мнѣ толстымъ добрякомъ, котораго я засталъ раскладывающимъ пасьянсъ на маленькомъ ломберномъ столикѣ, а этотъ смотритъ спокойнымъ и невозмутимымъ вождемъ — человѣкомъ, присутствие котораго полкъ, такъ сказать, чувствуетъ и проникается духомъ начальника.

„Э-ге-ге! подумалъ я, — такъ вотъ они — герои-то.“

Но еще большее впечатлѣніе произвелъ на меня генералъ Девель. Я увидѣлъ его только тогда, когда пули уже стали пронизывать ряды и каждый стонъ раненаго поражалъ мои нервы. Я теперь только сообразилъ, что всѣ наши передвиженія производились по отрывочнымъ и какъ-то лѣниво произносимымъ словамъ этого человѣка, спокойно стоящаго и какъ будто скучающаго подъ пулями. Но самое главное то, что я самъ сталъ чувствовать себя легко и спо-

койно: все, что поражало мои нервы, было подавлено, уничтожено этимъ удивительнымъ окружающимъ меня спокойствіемъ.

Для обезпеченія лѣваго фланга были посланы влѣво отъ Кизиль-Тапы двѣ роты подъ командою Егора Егоровича. Онъ расположилъ ихъ скрытно въ маленькой лощинѣ, выставивъ впередъ на пригорокъ небольшую стрѣлковую цѣпь. Любопытство разбирало меня, и я отправился наверхъ, къ цѣпи, чтобы видѣть, что дѣлается впереди. Выстрѣлы гремѣли по всей линіи. Массы турецкой кавалеріи, какъ черныя тучи, ползущія по землѣ, подавались въ это время назадъ, отстрѣливаясь и собираясь въ порядокъ, чтобы снова атаковать. Одна атака была уже отражена залпами ротъ, занимавшихъ ночной постъ на Кизиль-Тапѣ, и быстро прибывшими подкрѣпленіями.

Все поле было затянуто дымомъ, и хотя трудно было разсмотрѣть, но я все-таки видѣлъ, какъ черныя массы кавалеріи повернули впередъ и стали къ намъ быстро приближаться. Уже я слышу конскій топотъ и пронзительный визгъ турецкихъ всадниковъ: кавалерія несется прямо на нашу цѣпь. Какъ всякій неопытный офицеръ, я теперь только схватился и сталъ думать о томъ, что въ этомъ случаѣ нужно предпринять, какія приказанія нужно отдавать цѣпи, которая находилась въ это время подъ моею командою. Я инстинктивно обернулся назадъ и увидѣлъ тутъ-же Егора Егоровича. Капитанъ стоялъ въ истинно величественной позѣ, которую навѣрно бы укралъ художникъ: лѣвая рука его закрывала отъ солнца глаза, правая сжимала рукоять обнаженной шашки; глаза горѣли страстью, которой я никакъ въ немъ не подозрѣвалъ, и были устремлены на непріятеля. Вдругъ шашка блеснула въ воздухѣ, и по этому условному знаку обѣ роты, лежавшія въ оврагѣ, въ одинъ мигъ очутились на бугрѣ. Раздалось три залпа, и когда дымъ разсѣялся, то я уже кавалеріи турецкой не

видѣлъ: — видѣлъ только валявшіеся трупы лошадей да раненыхъ и убитыхъ турецкихъ всадниковъ.

Капитанъ, какъ оказалось впоследствии, нарочно заманилъ турокъ маленькой цѣпью, которую легко было атаковать на доступномъ для кавалеріи бугрѣ; а скрытыя въ оврагѣ двѣ роты специально предназначались для залповъ.

Черезъ полчаса стрѣльба прекратилась совсѣмъ. Роты спустились внизъ, оставивъ ту-же цѣпь на бугрѣ. Я продолжалъ стоять наверху и наблюдать за непріателемъ, который уже совсѣмъ скрылся.

— Алексѣй Петровичъ! раздался добродушный голосъ изъ оврага: — чего вы тамъ стоите? ужъ все кончилось; пожалуйста закусить.

Здѣсь только я очнулся отъ впечатлѣній боя и посмотрѣлъ внизъ. Тамъ увидѣлъ я мирно отдыхающаго капитана и стоящаго передъ нимъ на колѣняхъ деньщика съ какимъ-то узелкомъ, наполненнымъ закусками.

Я весело побѣждалъ внизъ, почувствовавъ конецъ боя и сопряженное съ первымъ боевымъ дебютомъ почти дѣтски-радостное настроеніе духа. Капитанъ шутилъ съ легко ранеными двумя солдатами и угощалъ ихъ водкою.

— До свадьбы заживетъ, говорилъ капитанъ, — а если нѣтъ, то за такихъ молодцовъ всякая выйдетъ. Раненые пили водку и улыбались.

Я думалъ, что капитанъ заговоритъ о только что совершенномъ подвигѣ, но ничуть не бывало, — онъ преспокойно ѣлъ курицу и былъ уже совершенно такимъ, какимъ я его видѣлъ вчера.

— Эхъ, Алексѣй Петровичъ! вотъ бѣда-то, батюшка, въ чемъ: форельки нѣтъ въ этихъ мѣстахъ... пріѣхали-бы вы мѣсяцемъ раньше, я бы васъ такой форелькою попотчивалъ, какой ни въ Питерѣ, ни въ Москвѣ, да пожалуй что и нигдѣ не найдете. Да вотъ, можетъ быть, Богъ приве-

детъ у Аракса стоять... Ты смотри, Галыгинъ, не зѣвай... Что, у насъ сѣти въ порядкѣ?

— Вчера съ маркитантъ привезъ новую, отвѣчалъ деньщикъ.

— Ну, вотъ, — не все-же здѣсь будемъ стоять, — когда-нибудь и рыбки свѣженькой наловимъ. А форель-то здѣсь важная, Алексѣй Петровичъ, — какъ разварить, знаете, ее, да съ картофелемъ, да съ лучкомъ, да съ перчикомъ, — объѣденіе просто!... А ту, которая лучше, да побольше жиркомъ подернута, ту можно привалить на солнцѣ; на балыкъ, батюшка, смотрѣть не захотите, какъ покушаете вяленой форели.

Меня просто досада разбирала: какъ это человѣкъ можетъ въ такую торжественную минуту толковать о какой-то форели. Я рѣшился заговорить первый о сегодняшней стычкѣ.

— Однако, турокъ свалили порядочно, сказалъ я.

— А не знаю, батюшка, я не смотрѣлъ... фельдфебель сосчитаетъ и доложитъ, на случай, если спроситъ начальство.

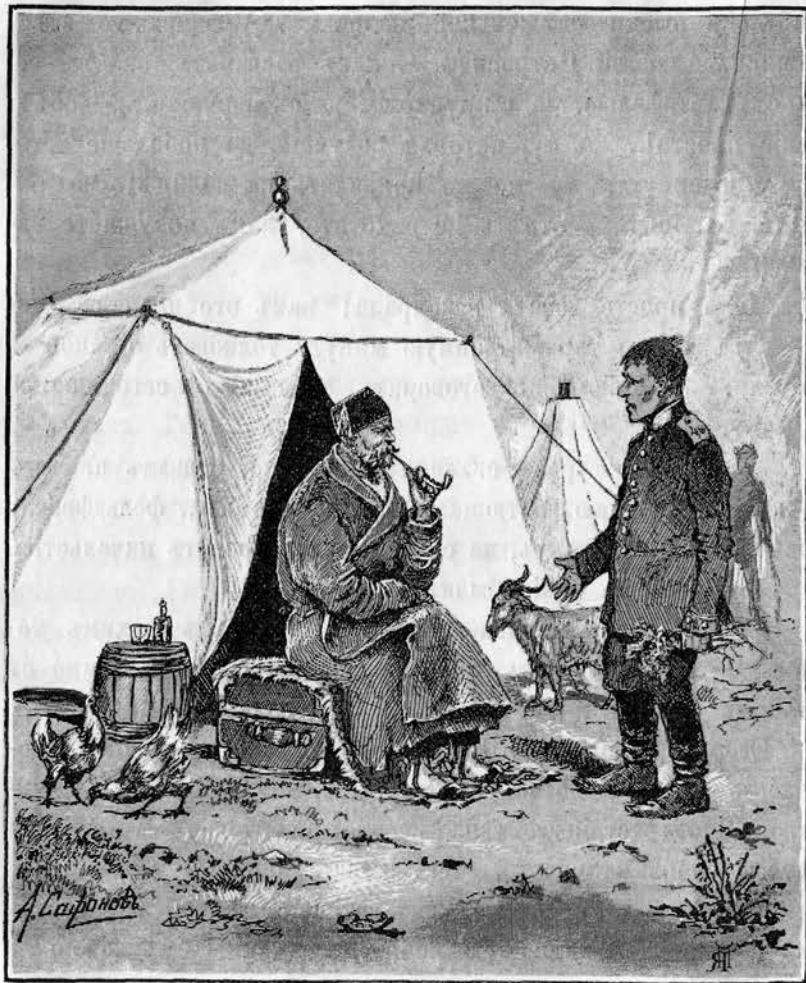
— Залпы-то какіе были, — прелесть!

— Что вы, батюшка, отвѣчалъ капитанъ сухимъ тономъ, — я хотѣлъ дать пять залповъ, да развѣ можно съ такими тюленями...

Егоръ Егоровичъ былъ совершенно чистосердечно доволенъ своими дѣйствіями. Это было, можно сказать, упрямство. Впоследствии я узналъ, что онъ человѣкъ въ этомъ случаѣ очень капризный: онъ имѣлъ, на примѣръ, Георгіевскій крестъ за то, что первымъ вскочилъ въ одно изъ укрѣпленій Карса въ прошлую войну, но всякій разъ говорилъ, что носить крестъ даромъ, ибо могъ занять это укрѣпленіе получасомъ раньше, „и чортъ его знаетъ, отчего это такъ вышло!“

Все утихло и войска заняли прежнія позиціи. Капитанъ опять надѣлъ шлафрокъ и ермолку, и мы усѣлись за борщъ,

отлично приготовленный Галыгинымъ. Егоръ Егоровичъ былъ похожъ въ это время вовсе не на героя, а скорѣе на какого-нибудь отставного чиновника, вышедшаго въ домашнемъ костюмѣ на улицу посидѣть на скамеечкѣ, нарочно



для этого устроенной у воротъ его маленькаго деревяннаго домика. „Дѣло—такъ дѣло, говаривалъ обыкновенно капитанъ,— а нѣтъ дѣла, такъ о чемъ же тутъ хлопотать!“ И

дѣйствительно, нѣтъ дѣла капитанъ хлопоталъ только о своемъ домашнемъ comfortѣ и преимущественно насчетъ желудка.

Однако добрый Егоръ Егорычъ ничуть не подозрѣвалъ, что его солдаты, какъ мнѣ казалось, не особенно любили: отдаваясь всецѣло домашней жизни, онъ нисколько не входилъ въ нужды солдатъ и даже не зналъ ихъ по фамиліямъ; а для солдата крайне оскорбительно, если начальство, напримеръ, не знаетъ, что его зовутъ Ивановымъ и что онъ по поведенію лучше Петрова, и когда Ивановъ знаетъ, что если имъ обоимъ придется въ чемъ-нибудь провиниться, то ихъ вздуютъ огуломъ, не разбирая кто изъ нихъ заслуживаетъ снисхожденія. Мнѣ было даже досадно видѣть, что любимцемъ капитана былъ не фельдфебель и не унтеръ-офицеръ, а какой-то сомнительной нравственности рядовой, родомъ изъ приволжскихъ губерній, который отлично умѣлъ закидывать съ Галыгинымъ сѣти и ловить для Егора Егорыча форель.

Тихо и мирно жили мы съ Егоромъ Егоровичемъ до 6-го августа. Пришлось одинъ разъ побывать въ ночномъ посту на Кизиль-Тапѣ, а остальное время только ѣли да разговаривали. Съѣздили раза два на Курюкдаринскій базаръ покупать закуски и десертъ. Нужно было видѣть, съ какимъ увлеченіемъ расхаживалъ капитанъ по базару и дѣлалъ закупки.

— Алексѣй Петровичъ! Алексѣй Петровичъ! да взгляните же, батюшка: вѣдь этого вы не найдете нигдѣ! восхищался онъ, увидѣвъ, напримеръ, консервы съ тономъ (маринованная рыба, очень любимая турками), и когда я отвѣчалъ, что этимъ очень хорошо закусывать водку, онъ изображалъ на лицѣ серьезность и съ значительнымъ видомъ говорилъ: „да, да! вѣрно, вѣрно!... ей-Богу правда“...

Между тѣмъ въ лагерѣ происходили перемѣны. Въ концѣ іюля стала прибывать вызванная на Кавказъ 40-я пѣхотная дивизія, и войска нѣсколько оживились, ожидая чего-то новаго. Въ отрядѣ разнесся слухъ, что противъ турокъ гото-

вятся энергическія дѣйствія и что въ штабѣ всѣ такого мнѣнія, что первымъ не мѣшало бы попробовать генералу Тергукасову, счастливая звѣзда котораго, быть можетъ, и здѣсь не оставить его, и что если ему повезетъ противъ Измаила, то Мухтара разбить будетъ вдвое легче. Эти слухи отчасти подтверждались отсылкою подкрѣпленій генералу Тергукасову изъ отряда, расположеннаго при развалинахъ г. Ани, который въ свою очередь пополнялся смѣненными 40-й дивизіей башкадыкларскими войсками. Въ концѣ іюля и въ началѣ августа три полка 39-й дивизіи, Бакинскій, Дербентскій и Кубинскій, отправились одинъ за другимъ въ Эриванскій отрядъ,—и всѣ съ напряженнымъ нетерпѣніемъ ждали извѣстій отъ генерала Тергукасова, въ распоряженіи котораго находилось уже до двадцати пяти баталіоновъ.

Между тѣмъ турки не зѣвали: лазутчики донесли, что Мухтаръ знаетъ о всѣхъ нашихъ передвиженіяхъ, не взирая на то, что они производились съ сохраненіемъ полнѣйшей тишины и преимущественно въ ночное время, и всѣ въ одинъ голосъ утверждали, что Мухтаръ намѣренъ послать Измаилу значительныя подкрѣпленія. Чтобы воспрепятствовать этому, генераль-адъютантъ Лорисъ-Меликовъ рѣшился произвести ложную атаку на Аладжинскія высоты; а чтобы извлечь изъ нея другую выгоду, приказано было лѣвой башкадыкларской колоннѣ подъ командою генерала Девеля занять, если окажется возможнымъ, высоту Инахтапасси, сильно укрѣпленную и вооруженную горными орудіями, съ занятіемъ которой можно было дѣйствовать по передовымъ Аладжинскимъ позиціямъ.

Наступленіе было произведено 6-го августа по всей линіи. Правымъ флангомъ командовалъ генералъ Комаровъ, а всѣмъ лѣвымъ крыломъ генералъ Девель. Войска генерала Девеля выступили съ 5-го на 6-е ночью и были раздѣлены на три колонны; изъ нихъ лѣвая, въ которой находился N-й полкъ, была направлена къ селенію Джала, съ цѣлью обойти Инах-

тапасси. Войска лѣвой колонны вступили въ дѣло часовъ въ семь утра, открывъ артиллерійскій огонь по Инахтапасси и вмѣстѣ съ тѣмъ отражая сильныя натиски турецкой кавалеріи.

Въ N-мъ полку водилось обыкновеніе ставить въ голову полка всѣ батальоны поочередно; 6-го какъ разъ пришлась очередь 2-му батальону, а такъ какъ 5-я рота шла впереди, то насъ съ Егоромъ Егоровичемъ послали въ цѣпь, и мы первые вошли въ сферу огня. Опять пришлось имѣть дѣло съ кавалеріею, которая сначала завязала съ нами перестрѣлку. Гранаты, пускаемыя съ Инахтапасси, ложились относительно насъ нѣсколько сбоку; какъ теперь, слышу ихъ пронзительное жужжанье и вижу какъ онѣ шлепаются и взрываютъ кремнистую почву, звеня осколками мимо нашихъ ушей. На пули въ это время не обращаешь вниманія; развѣ только стонъ раненаго сосѣда напоминаетъ о нихъ—и тогда начинаешь прислушиваться, какъ онѣ свистятъ на разные голоса, и видишь, какъ проводятъ онѣ черточки по землѣ, и какъ-то не хочется вѣрить, что стой я на одинъ шагъ правѣе—я былъ бы уже раненъ, а можетъ быть и убитъ... Не чувство страха, а какая-то тяжелая тоска наполняетъ въ это время душу... Но вотъ тронулись, побѣжали впередъ—и все какъ рукою сняло: тоску смѣняетъ другое чувство,—чувство восторга при видѣ преимущества надъ врагомъ, хотя бы этого преимущества въ сущности даже и не было, и тогда положительно не вѣрится, что находишься въ опасности... Идти подъ пулями впередъ несравненно легче чѣмъ стоять въ огнѣ, а особенно когда стоишь долго и не видишь этому конца. Бывали случаи, что солдаты сами, безъ приказанія, кидались на непріятельское укрѣпленіе и занимали его. Я остался на правомъ флангѣ цѣпи и разошелся съ Егоромъ Егоровичемъ, который въ бою не обращалъ на меня ровно никакого вниманія и былъ непривѣтливъ въ такой степени, что мнѣ это показалось нѣсколько страннымъ. Я рѣшился догнать Егора

Егоровича въ то время, когда онъ ходилъ вдоль цѣпи, чтобы просить его указать мнѣ какую-нибудь цѣль, назначить дѣло; но Егоръ Егоровичъ только махнулъ рукою.

— Не мѣшайте, пожалуйста: ваше дѣло теперь при-
сматриваться... не послѣдняя перестрѣлка,—дойдетъ очередь и до васъ; а теперь вы только солдата засуетите.

Я понималъ, что Егоръ Егоровичъ былъ правъ, но мнѣ все-таки было обидно и я хотѣлъ что-то возразить; но онъ не слушалъ меня и продолжалъ ходить по цѣпи, успокаивая солдатъ.

— Ишь вѣдь какіе! и чего горячку пороть? словно впервые пришлось... Первое дѣло: старики молодежь придержи-
вай, чтобъ зря не стрѣляли. Капитана провожалъ старый унтеръ-офицеръ, ходившій за жалонера, который тоже вставлялъ свои замѣчанія, и я замѣтилъ, что Егоръ Егоровичъ относился къ нему съ уваженіемъ, какъ къ настоящему боевому товарищу.

— На восемьсотъ мало будетъ, Егоръ Егорычъ... эта зря только пули пущать, говорилъ старый унтеръ-офицеръ съ видомъ знатока.

— Да, да! вѣрно, вѣрно!... Ей-Богу, правда, Фроловичъ... отвѣчалъ Егоръ Егоровичъ, и тотчасъ же приказывалъ подымать прицѣлы на девятьсотъ шаговъ.

— А я, Егоръ Егорычъ, на лѣвый хвланокъ схожу.... сказалъ унтеръ-офицеръ.

— Сходи, Иванъ Фроловичъ, сходи; да тамъ потихоньку плечо подай,—вишь они какъ завалили...

Фроловичъ отправлялся на лѣвый флангъ и тихо, не суетясь, водворялъ тамъ порядокъ.

— Перейди, молодцы, тихонько; никто не бѣгай... вотъ такъ, вотъ такъ!.... да смотри, если „онъ“, значить, ползетъ на васъ, сразу прицѣлы поставь на двѣсти и жди... первое дѣло жди... Подпусти его что ни на есть поближе...

— Иванъ Фроловичъ! ужъ „онъ“ собирается, скоро на насъ пустится!...

— Лежи, лежи смирно! нишкни! я скажу, когда стрѣлять. Солдаты вѣрили старику и слушались его: онъ не разъ уже ими руководилъ, и я потомъ увидѣлъ, что въ этомъ унтеръ-офицерѣ Егоръ Егоровичъ имѣлъ лучшаго помощника.

— Пали, молодцы! пали! командовалъ Фроловичъ, подпустивъ кавалерію шаговъ на сто.

То же самое продѣлывалъ въ серединѣ цѣпи Егоръ Егоровичъ, а на другомъ флангѣ фельдфебель.

Меня крайне бѣсило мое бездѣйствіе, и я замѣтилъ, что Егоръ Егоровичъ слѣдилъ за мною, кидая украдкою на меня взгляды.

— Да вы идите, вы идите... теперь я вижу, что и вы можете... я вѣдь только такъ сказалъ... обратился вдругъ ко мнѣ Егоръ Егоровичъ, и мнѣ показалось, что онъ былъ въ это время взволнованъ.

— Куда идти? спросилъ я въ недоумѣніи.

— На правый флангъ идите, Алексѣй Петровичъ: теперь я вижу, что мнѣ можно быть спокойнымъ, когда вы будете тамъ.

Я понялъ все: старику понравилось, что я стоялъ довольно небрежно подъ пулями, раздосадованный его замѣчаніемъ, и онъ очень былъ радъ, что могъ загладить нанесенную мнѣ неприятность. Я отлично понималъ, что моя роль, какъ офицера, мало знакомаго съ боемъ, кромѣ личнаго примѣра, заключалась развѣ только въ самомъ осторожномъ отданіи приказаній солдатамъ, изъ которыхъ каждый былъ вдесятеро меня опытнѣе. Я не скрываю, что я былъ горячъ, и мою горячность сумѣлъ такъ ловко обдать холоднымъ словомъ этотъ простой человекъ, казавшійся внѣ дѣла довольно ограниченнымъ малымъ и чужакомъ.

Не успѣлъ я дойти до праваго фланга роты, какъ въ серединѣ цѣпи разыгралась слѣдующая сцена: подѣхалъ на

минутку къ нашей ротѣ баталіонный командиръ, чтобы раз-
смотрѣть въ бинокль расположеніе непріятеля. Онъ никогда
не мѣшался въ распоряженія Егора Егоровича, исключая
впрочемъ тѣхъ случаевъ, когда необходимо было согласовать
дѣйствія нѣсколькихъ ротъ. Подъѣхавъ къ цѣпи, онъ даже
не замѣтилъ Егора Егоровича, какъ вдругъ старикъ подо-
шелъ къ маіору и довольно хладнокровно сказалъ:

— Мнѣ, Петръ Ѳедоровичъ, на часокъ нужно уйти от-
сюда...

— Что вы говорите? переспросилъ маіоръ, не отрывая
глазъ отъ бинокля.

— Уйти отсюда хочу.

— Христосъ съ вами! опомнитесь! что вы за вздоръ
несете...

Старикъ, не говоря ни слова, повернулся къ нему бо-
комъ, и маіоръ съ ужасомъ увидѣлъ, что весь рукавъ Егора
Егоровича былъ въ крови. Онъ былъ раненъ выше локтя съ
раздробленіемъ кости.

— Господи! да вы бы такъ и сказали... сказалъ маіоръ
и сталъ просить Егора Егоровича поскорѣе отправиться на
перевязочный пунктъ.

Я видѣлъ какъ старикъ пошелъ назадъ и сразу со-
образилъ, что онъ раненъ. Огорченный его несчастіемъ, я
все-таки былъ въ восторгѣ, что команду въ бою роту. Я
зорко слѣдилъ за каждымъ солдатомъ, стараясь ободрить его
словомъ, если представится надобность, но надобности не
представлялось: рота такъ стойко держалась подъ огнемъ и
встрѣчала натиски кавалеріи, что мнѣ только приходилось
удивляться тому, дѣйствительно замѣчательному боевому обу-
ченію, которое сумѣлъ преподать своей ротѣ Егоръ Его-
ровичъ.

Маіоръ, командовавшій нашимъ батальономъ, все вертѣлся
около моей роты, чего при Егорѣ Егоровичѣ не бывало ни-
когда; онъ очевидно считалъ меня неопытнымъ и былъ на-

сторожѣ. Иванъ Фроловичъ, ливншійся неожиданно ко мнѣ,
безъ всякой церемоніи дернулъ меня за руку и втащилъ въ
середину бучки, когда черкесы атаквали нашу цѣпь.

Словомъ, при самомъ страстномъ желаніи командовать
ротою, я командовалъ ею только номинально. Однако въ
слѣдующихъ бояхъ я возымѣлъ о себѣ болѣе высокое мнѣ-
ніе, хотя до Егора Егоровича было далеко.

Къ полудню бой сталъ умолкать, а къ вечеру мы уже
были въ своемъ лагерѣ.

Оставивъ роту, я пустился бѣгомъ къ палаткѣ Егора
Егоровича. Грустная картина представилась моимъ глазамъ:
Егоръ Егоровичъ лежалъ на кровати блѣдный какъ мертвецъ,
и, размахивая здоровой рукою, что-то неистово кричалъ. Два
полковыхъ врача стояли у его изголовья.

— Ни за что!... ни за что! Это вы напрасно думаете,
что я отсюда уѣду... не нужно мнѣ и докторовъ, когда
такъ...

— Но вѣдь вы же опасно ранены; за вами нуженъ
уходъ; вамъ покой нуженъ... послѣ опять приѣдете... сказалъ
одинъ изъ докторовъ.

— Коли лѣнь лечить, такъ не приходите,—я не прошу...
Слышишь, Галыгинъ,—не зови ко мнѣ больше докторовъ, я
и самъ вылечусь...

Оба доктора пожали плечами и вышли изъ палатки. Ста-
рикъ замѣтилъ меня.

— Алексѣй Петровичъ! голубчикъ ты мой! ну что? какъ?
я ужъ соскучился безъ васъ... Вамъ покушать надо... это
мы сейчасъ все устроимъ. Галыгинъ! Галыгинъ! подай тамъ
все, что осталось...

Я просилъ его ради Бога не беспокоиться и спросилъ о
докторѣхъ.

— Ничего,—ѣлъ сегодня, отвѣчалъ Егоръ Егоровичъ.

Черезъ четверть часа пришелъ къ Егору Егоровичу
командиръ полка въ сопровожденіи тѣхъ же докторовъ.

— Ну, что? какъ вы себя чувствуете? спросилъ полковникъ съ участіемъ.

— Ничего... слава Богу... поправляюсь... засуетился Егоръ Егоровичъ, очень не любившій разговаривать съ начальствомъ.

— Гмм... сказалъ командиръ полка: — поправляться-то здѣсь не совсѣмъ удобно. Вамъ нужно отправиться въ госпиталь.

— И вы меня гоните, полковникъ?... конечно, я уже въ полку человѣкъ ненужный... сказалъ съ грустью старикъ.

— Помилуйте, Егоръ Егоровичъ,—я желаю вамъ всего лучшаго; я хочу, чтобы вы поскорѣй поправились и вернулись въ полкъ здоровымъ...

— Да вы мнѣ приказываете или только такъ говорите?

— Положительно приказываю.

— Слушаю-съ, г. полковникъ, отвѣчалъ Егоръ Егоровичъ, нахмурившись.

Противъ дисциплины онъ не шелъ никогда.

Пожавъ нехотя протянутую руку командира полка, Егоръ Егоровичъ приказалъ Галыгину укладывать вещи, а самъ все время ворчалъ:

— Вотъ, Алексѣй Петровичъ, — вы сами видѣли, какъ со мной несправедливы... Что имъ стоитъ обидѣть человѣка...

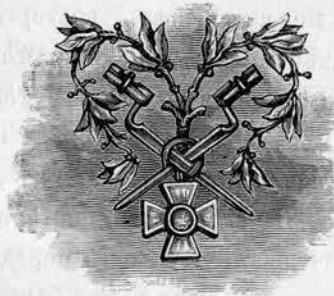
Я ничего не возражалъ, зная что это будетъ бесполезно; но я не могъ понять, отчего старику такъ не хотѣлось уѣзжать изъ полка.

Когда все было уложено и Егора Егоровича вынесли на носилкахъ изъ палатки, солдаты обступили носилки.

— Прощайте, братцы! не поминайте лихомъ... Былъ я можетъ быть для васъ и не отцомъ, да за то же рядышкомъ съ вами и дрался, какъ самый простой вашъ товарищъ... и если бъ не приказъ начальства, не уѣхалъ бы я отъ васъ, а здѣсь бы... здѣсь бы и померъ... обратился онъ къ солдатамъ—и голосъ его дрожалъ и нижняя губа какъ-то стар-

чески отвисла и шевелилась. И здѣсь въ первый разъ замѣтилъ я слезы, катившіяся по его блѣдному морщинистому лицу.

Долго стоялъ я въ раздумѣ, глядя вслѣдъ лазаретному фургону, увозившему Егора Егоровича. „Чего искалъ этотъ человѣкъ въ жизни? откуда выработался въ немъ такой характеръ? Было ли въ его жизни хоть что-нибудь дорогое въ сторонѣ отъ арміи?“—вопросы, которые до сихъ поръ остаются для меня загадкою.



МАЮРЪ ГАЙДУКОВЪ.

(Разсказъ офицера).



Страдное было времячко, говорили солдаты, вспоминая первый періодъ нашей кампаніи. Нельзя было иначе и говорить объ этомъ времени: оно было не такъ тяжело физически, какъ нравственно. Дратся храбро, выходить съ честью изъ боя, — и не видѣть удачи, не чувствовать восторга, охватывающаго армію послѣ успѣха! — все это болѣе чѣмъ тяжело.

Но были и исключенія на обоихъ театрахъ войны. На Кавказѣ мы можемъ указать на генерала Тергукасова, счастливая звѣзда котораго сопровождала чуть ли не во все время похода его отрядъ. Баязетъ былъ настоящимъ праздникомъ для Эриванскихъ героевъ. Незадолго передъ этимъ Эриванцы отступили; а отступление, даже самое блистательное, никогда не кажется солдатамъ успѣхомъ. Говорятъ, генералъ Тергукасовъ отступалъ какъ левъ; но и львиный шагъ, если онъ сдѣланъ только назадъ, ведетъ къ унынію, а если начальникъ не популяренъ, то и къ недовѣрію.

Таково было приблизительное настроеніе въ Эриванскомъ отрядѣ въ то время, когда генералъ Тергукасовъ повернулъ къ Баязету, съ твердымъ намѣреніемъ освободить умирающихъ голодною смертію нашихъ осажденныхъ.

Было около пяти часовъ пополудни. Отрядъ отдыхалъ въ одномъ переходѣ отъ Баязета. Утомленные почти недѣльнымъ

боемъ съ втрое сильнѣйшимъ противникомъ, изнуренные недостаткомъ провіанта, солдаты вынимали изъ сумокъ послѣднія крохи сухарей, размачивали ихъ въ ключевой водѣ, поспѣшно ѣли и ложились въ изнеможеніи отдыхать по обѣимъ сторонамъ дороги, оставляя проѣздъ для отставшихъ и подтягиваемыхъ къ мѣсту привала орудій и патронныхъ выюковъ. Офицеры сидѣли небольшими кучками на барабанахъ; другіе лежали подъ наскоро устроенными навѣсами изъ ружейныхъ козелъ и бурокъ; третьи безнадежно смотрѣли въ тылъ, ожидая своихъ выюковъ, гдѣ было жареное мясо и галеты, а у болѣе запасливыхъ бутылка кахетинскаго и весьма плохая виноградная водка.

— Ваше благородіе! Можетъ быть, кушать хотите? Не угодно ли сухарика? обращается одинъ изъ солдатъ къ офицеру.

— Да вѣдь тебѣ ничего не останется: ты что же послѣдній предлагаешь?

— Ничего, ваше благородіе, мы привычны.

— Ну, пожалуй, только потомъ напомни, чтобы тебѣ отдали.

Сухарь берется и сѣдается съ аппетитомъ чловѣка, не ѣвшаго сутки. Это была ужасно трудная дорога, и выюки, не имѣвшіе права опережать орудій, остались далеко за артиллерією.

Солдаты подѣлились съ офицерами и другъ съ другомъ чѣмъ могли, и всякъ, кто поѣлъ, спѣшилъ поскорѣе улечься, чтобы хотя немного вознаградить прошлую, проведенную въ дорогѣ ночь.

Чего только ни натерпѣлись солдаты во время этихъ форсированныхъ маршей. Хорошо было тѣмъ, кто имѣлъ по двѣ пары сапогъ; у другихъ же сапоги избились, уничтожились или, какъ выражаются солдаты, „кончились“, и тогда приходилось идти по острымъ камнямъ не въ сапогахъ, а въ тряпкахъ, и на камняхъ оставался кровавой слѣдъ.

Отставать считается между солдатами большим срамомъ, и самолюбивый солдатъ не отстанетъ ни за что, развѣ окончательно занеможетъ. Считается даже срамомъ останавливаться и переобуваться на дорогѣ. Когда Георгіевскій крестъ дается по приговору роты, то солдаты берутъ во вниманіе не только храбрость, но и выносливость во время похода; солдата, который гдѣ бы ни было отсталъ, ни за что не приговорятъ къ награжденію военнымъ орденомъ. За то же удивляться надо, насколько солдатъ бываетъ терпѣливъ во время похода. Я знаю, на примѣръ, что одному изъ фельдфебелей, у котораго „кончились“ сапоги, во время перехода попалъ въ сапогъ гвоздь, который вырѣзалъ въ ногѣ цѣлую рану. Фельдфебель шелъ съ этимъ гвоздемъ двадцать верстъ и даже не смѣлъ подумать о томъ, чтобы остановиться и переобуться: кромѣ самолюбія, его еще удерживало то, что онъ не хотѣлъ подать дурной примѣръ подчиненнымъ.

Среди этого молодецкаго, но выбившагося изъ силъ отряда, въ сторонѣ отъ дороги стояло нѣсколько офицеровъ въ разнокалиберныхъ мундирахъ, и всѣ они съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдили за высокимъ сѣдымъ генераломъ, ожидая важныхъ приказаній. Но генераль не обращалъ ни на кого вниманія: съ опущенной головою ходилъ онъ взадъ и впередъ, судорожно покручивая сѣдые усы и, казалось, что-то соображалъ.

Изъ кучки офицеровъ выдѣлился одинъ въ формѣ генеральнаго штаба, и, нерѣшительно подступивъ къ генералу, сказалъ:

— Ваше превосходительство! диспозиція на завтрашнее число...

— Диспозиція... диспозиція... сказалъ нараспѣвъ генераль (это была всегдашняя его привычка въ то время, когда онъ бывалъ чѣмъ-нибудь озабоченъ), — и по взгляду, который генераль бросилъ на офицера, видно было, что онъ думалъ совсѣмъ о другомъ.

— Прикажете написать?

— Да, да, напишите.

Отпустивъ офицера, генераль снова опустилъ голову и задумался. Вдругъ онъ быстро повернулся кругомъ въ ту сторону, гдѣ конюхи держали размундштученныхъ лошадей, и громко приказалъ подать коня.

Мнѣ нравился въ такихъ случаяхъ живой взглядъ генерала: онъ изображалъ могучую энергію и рѣшимость опытнаго начальника. Не было въ этомъ взглядѣ пылости личнаго храбреца, но было что-то серьезное, обдуманное, разсчитанное. Офицеры переглянулись. „Куда онъ ѣдетъ? къ солдатамъ? — Ну, значитъ, къ бою готовься!“

— Встать! закричалъ одинъ изъ баталіонныхъ командировъ, рябой майоръ, къ которому подъѣхалъ генераль Тергукасовъ. Появленію отряднаго командира среди рядовъ майоръ придавалъ большое значеніе: ломтикъ ветчины и галета — вещи очень драгоцѣнныя — были уронены прямо на землю, и быстро вытертая о подкладку мундира рука въ одно мгновеніе очутилась подъ козырькомъ. Ближайшіе солдаты вскочили и вытянулись.

— Хватить сухарей до завтрашняго вечера? спросилъ генераль, подозвавъ майора любезнымъ жестомъ.

— Обойдутся, ваше превосходительство.

— Слава Богу! Славу Богу, сказалъ генераль какъ бы про себя, и поѣхалъ туда, гдѣ люди лежали покурить.

Солдаты вставали и вытягивались. Они знали, что „отрядный“ не станетъ даромъ ѣздить по рядамъ, и всѣ ожидали чего-то важнаго. По мѣрѣ того, какъ генераль подавался впередъ, его окружала цѣлая куча народу и двигалась за его лошадыю.

— Братцы! произнесъ онъ вдругъ громкимъ голосомъ, и приподнялся на стременахъ.

Подобно разрушенному муравейнику, въ одно мгновеніе закопошился весь отрядъ; офицеры и солдаты повалили масками къ командиру, и вскорѣ онъ стоялъ окруженный всѣмъ

отрядомъ, а сзади него красовался на лошадяхъ весь его штабъ. Генераль опустился и снова поднялся на стремянахъ. Тишина была мертвая, только издали доносилось дребезжаніе отставшихъ орудій.

— Братцы! повторилъ генераль:—нашихъ морятъ голодомъ, наши мучатся и умираютъ въ Байзетѣ! Не хочу послѣ этого жить! самъ хочу умереть! Идемъ умирать вмѣстѣ съ ними!

Точно бурная волна пронеслась по всему отряду. „Въ ружье!“ закричалъ тотъ самый маіоръ, что разговаривалъ съ генераломъ. „Въ ружье! Въ ружье!“ повторили другіе, поднимая надъ головою шапки, — и всѣ кинулись къ оружію.

— Молодцы! Герои! сказалъ генераль, прослезившись. — Да, съ такими молодцами мы скоро съ туркою расправимся!

Раздалось то дикое, потрясающее „ура“, которое слышится во время атаки; оно не похоже на „ура“ мирное. Казалось, кремнистыя горы содрогнулись отъ этихъ могучихъ криковъ маленькаго, но храбраго и крѣпкаго духомъ отряда.

Рябой маіоръ прежде всѣхъ выстроилъ свой баталіонъ и пошелъ въ авангардѣ. Вскорѣ вытянулся весь отрядъ. Обгоняя баталіонъ, генераль пожалъ руку маіору. Многіе офицеры и солдаты были сильно взволнованы.

Цѣлую ночь двигался отрядъ съ ужасными препятствіями. Орудія и патронныя ящики были вывозимы командами людей, сдавшихъ ружья своимъ товарищамъ. Казаки были посланы далеко впередъ, и всѣ заботились о сохраненіи тишины.

Заря занималась надъ высотами Закавказья въ то время, какъ голова колонны достигла глубокой лощины, гдѣ велѣно было остановиться. По обѣимъ сторонамъ лощины рѣзко выдавались и блестѣли скалы сосѣднихъ горъ, а вдали красовалась окутанная розовымъ свѣтомъ бѣлая маковка Арарата. Но не до того было солдатамъ, чтобы любоваться этимъ

прекраснымъ видомъ: — каждый спѣшилъ отдохнуть, и какъ можно скорѣе отдохнуть, ибо казаки донесли, что турки близко и что Байзетъ уже виденъ съ сосѣдней горы.

Предположено было дать маленькій отдыхъ, стянуть орудія и затѣмъ напасть внезапно.

Не прошло и четверти часа, какъ изнеможенный отрядъ уже спалъ въ растяжку; очень немногіе могли видѣть, какъ неутомимый старикъ-генераль взбирался по крутому скату сосѣдней горы, цѣпляясь руками за острые камни и колючія растенія. За нимъ шелъ его штабъ и казачій полковникъ, назначенный на развѣдку. Они подошли или, вѣрнѣе сказать, подползли къ самому гребню горы, и оттуда увидѣли не совсѣмъ бдительную турецкую кавалерійскую цѣпь, крѣпость, осажденную турками, и бѣлую полосу конусообразныхъ палатокъ.

— Казаки готовы, ваше превосходительство, — прикажите сбить цѣпь.

— Нѣтъ, нѣтъ, не трогайте, отвѣчалъ генераль: — лучше ударить сразу. Капитанъ! обратился онъ къ одному изъ ординарцевъ: — вотъ туда, ниже, взведите четыре орудія, да пусть шрапнели захватятъ... Начнете стрѣлять, когда выйдутъ казаки, а до тѣхъ поръ держитесь за гребнемъ. Сначала бейте по лагерю обыкновенными гранатами, а затѣмъ мы выманимъ турокъ и подставимъ подъ шрапнель.

— Слушаю-сь, отвѣчалъ офицеръ, и пошелъ распоряжаться.

Черезъ часъ орудія подтянулись и отрядъ изготавился къ бою. Первыми сѣли на коней казаки и, раздѣлившись на нѣсколько партій, выѣхали впередъ. Рябой маіоръ Гайдуковъ, шедшій въ авангардѣ, долженъ былъ двинуться съ баталіономъ N-го полка на поддержку развѣдчиковъ. Казаки тихонько обогнули гору, сомкнулись, и сразу кинулись на турецкіе пикеты. Въ это самое время слышались съ горы четыре выстрѣла и четыре гранаты полетѣли въ турецкій

лагерь. Турки немножко раньше стали въ ружье; должно быть одинъ изъ ихъ развѣздовъ замѣтилъ русскихъ. Далеко скакали наши казаки, преслѣдуя турецкую цѣпь, но были отражены пѣхотнымъ огнемъ и отступили.

Настала очередь N-му полку; казаки, отступивъ, очистили ему фронтъ. Впереди былъ баталіонъ маіора Гайдукова. Оглянувшись назадъ и увидѣвъ, что другіе баталіоны идутъ недалеко, маіоръ разсыпалъ весь баталіонъ въ цѣпь и занялъ позицію шириною въ добрую версту. Турки сразу сообразили опасность маіора, оставшагося на нѣсколько минутъ безъ резервовъ, и выслали на нашу цѣпь сотенъ шесть черкесовъ.

Здѣсь произошло маленькое недоразумѣніе между маіоромъ и генераломъ Тергукасовымъ — недоразумѣніе, часто встрѣчавшееся въ эту войну и интересное, быть можетъ, для однихъ военныхъ: маіоръ зналъ отлично, какъ боевой офицеръ, что при скорострѣльномъ оружій стрѣлать кавалерійскую атаку лежачей цѣпью въ десять разъ выгоднѣе, чѣмъ собирать цѣпь въ кучи и стрѣлать по командѣ, какъ это слѣдовало по уставу. Вы только не трогайте цѣпи, не суетите ее, и она осыплетъ кавалерію такой массою свинца, что развѣ только половина всадниковъ доскачетъ цѣльми до линіи огня. Затѣмъ уже солдаты сами инстинктивно вспрыгнутъ и скучатся по нѣсколькимъ человѣкамъ для встрѣчи атакующихъ штыками. Нѣтъ сомнѣнія, что генераль, такъ же какъ и маіоръ, отлично понималъ выгоду встрѣчи кавалеріи свободнымъ огнемъ; но онъ, какъ всякій начальникъ дивизіи, требовалъ отъ маіора еще въ мирное время правильнаго рассыпного строя, и маіору почему-то казалось, что строгость устава слѣдуетъ соблюдать и въ военное время, для того, чтобы начальство не заругало. Въ этомъ вы не могли разубѣдить маіора ничѣмъ: такова сила привычки быть исправнымъ на глазахъ у начальства.

Увидавъ непріятельскую кавалерію, маіоръ уже намѣревался было успокоить цѣпь и подтвердить, чтобы люди стрѣ-

ляли не суетясь, какъ вдругъ, оглянувшись назадъ, увидалъ стоявшаго на пригоркѣ генерала, и сразу измѣнилъ свое намѣреніе, рѣшившись во что бы то ни стало выстроить уставныя кучки.

— Кучки! Помни кучки, кричалъ маіоръ, несясь въ карьеръ вдоль цѣпи. — Да въ порядкѣ, смотри, у меня... Зря не кидайся!

Кучки, конечно, построились неудачно, но все-таки черкесы были отражены, благодаря хладнокровію опытныхъ ротныхъ командировъ.

— Экое мужичье! Ну, кто васъ такъ училъ кучки строить: не въ пять шеренгъ, а въ двѣ... Что генераль подумаетъ? Скажетъ: учились въ мирное время такъ, а пришлось — и не умѣютъ... сердился маіоръ, обращаясь къ солдатамъ.

Лишь только черкесы отступили, турки замѣтили, что на позиціи, гдѣ дѣйствовалъ маіоръ Гайдуковъ, стоялъ только одинъ N-й полкъ и часть кавалеріи (другія войска были направлены въ обходъ и главный ударъ предстоялъ вовсе не въ томъ мѣстѣ, гдѣ его ждали турки). Солдаты говорятъ, что генераль любитъ щипнуть турокъ съ нѣсколькихъ сторонъ, и ударить тамъ, гдѣ имъ и не снится. Замѣтивъ слабость нашей позиціи, турки вышли изъ лагеря и сдѣлали попытку перейти въ наступленіе. Вотъ здѣсь-то они и подставили себя подъ шрапнель, какъ заранѣе предсказывалъ генераль.

Мѣткіе выстрѣлы нашей артиллеріи и ружейный огонь приостановили на время наступленіе непріятеля.

Турки приблизились на ружейный выстрѣлъ, и залегли, открывъ огонь по N-му полку. Завязалась горячая перестрѣлка.

— Убилъ, убилъ! Ей-Богу убилъ! радостно вскричалъ молодой солдатикъ, которому дѣйствительно удалось попасть въ турка.

- Врешь! отозвался товарищъ.
- Право-слово, дяденька, не хвастаю.
- Братцы! дай платочка руку перевязать... Вонъ, куды угодила, проклятая, слышалось въ другомъ мѣстѣ.
- Кликни санитаръ, вонъ санитары лежатъ.
- Да ништо, кость цѣла; я еще пострѣлю.
- Эй! Кто патроны извелъ? Давайте покуримъ, раздался голосъ изъ-за большого камня.
- Ишь, чернорылый, за экую стѣну залѣзъ!
- Да ну-те-жь, дайте огонька кто-нибудь, — можетъ въ послѣдній доведется...
- Пророчъ, пророчъ! Вонъ Семенову напророчили....
- Нешто убить?
- А вотъ погляди.



Шагахъ въ десяти лежалъ солдатъ съ пробитымъ лицомъ и ужъ не шевелившійся.

— И вправду убили... Славный солдатъ былъ... А сапоги-то ужъ сняли: — эхъ, народецъ!

— Ладно! Ноги закровенишь, такъ и у брата родного снимешь.

Между тѣмъ маіоръ уже не ѣздилъ, а ходилъ вдоль цѣпи, — очень разстроенный, и все ворчалъ и ругался: „Вотъ и взялъ въ походъ дорогую лошадь... Глупо! Самъ себѣ говорилъ что глупо, и зачѣмъ было брать?“

Прекрасная лошадь, на которой ѣздилъ маіоръ, лежала въ это время убитою, и бѣдный маіоръ до того былъ разстроенъ этой потерей, что не замѣтилъ даже, какъ турки стали заходить во флангъ, и когда адъютантъ прискакалъ къ нему съ приказаніемъ перемѣнить фронтъ, онъ, прежде чѣмъ исполнить это приказаніе, спросилъ: дадутъ ли ему изъ казны деньги за убитую лошадь?

Скупость добраго маіора обратилась въ отрядъ въ половицу, и была до такой степени сильна, что иногда брала верхъ надъ его военнымъ увлеченіемъ. Онъ на минуту забылъ и объ отрядномъ командирѣ, и о томъ, что около его ушей свистятъ пули, и думалъ только объ одномъ, что у него была лошадь, которая стоила четыреста рублей, а теперь нѣтъ этой лошади, и даже некому снять сѣдла, за которое тоже заплачены деньги.

У него было два деньщика-малоросса — Савченко и Захарченко, одинъ былъ приличный на видъ, и маіоръ называлъ его „чистымъ человѣкомъ;“ онъ ходилъ за лошадью. Другой, похожій на Чичиковскаго Петрушку, ухаживалъ за самимъ маіоромъ и носилъ названіе „грязнаго.“ Такъ его всѣ и звали: „Грязный!“ — и онъ являлся на зовъ. Когда офицеры смѣялись, почему „чистый человѣкъ“ ходитъ за лошадью, а „грязный“ за самимъ маіоромъ, онъ совершенно серьезно объяснялъ, что лошадь ему стоила большихъ денегъ, а самъ себѣ онъ ничего не стоитъ.

Кстати приведу еще одинъ примѣръ скупости добраго маіора: при бомбардировкѣ одной изъ крѣпостей, когда никто не смѣлъ высунуться изъ-за бруствера осадной батареи,

боясь остаться безъ головы, маіоръ преспокойно разгуливалъ по брустверу, собирая свинцовыя оболочки со снарядовъ, и, собравъ порядочную кучу свинцу, продалъ его за восемнадцать рублей какому-то армянину.

Очнувшись, маіоръ быстро пошелъ исполнять приказанія полкового командира, не позабывъ заботиться адъютанту, что ему за лошадь давали въ Тифлисѣ пятьсотъ пятьдесятъ рублей, и что онъ доволенъ останется, если казна выдастъ хоть триста.

Кто повѣритъ, что всѣ эти разговоры велись подъ ружейнымъ огнемъ. „Лошадь убили, такъ ужъ чего же тутъ жалѣть себя“... думалъ маіоръ, и не ложился, а все время стоялъ подъ пулями, дѣлая это какъ бы въ отмщеніе несправедливой судьбы.

Храбрость маіора составляетъ, конечно, исключеніе. Не мудрено, что старый воинъ, отличавшійся еще подъ Гунибомъ, можетъ относиться совершенно равнодушно къ свисту пуль; но совѣмъ не то храбрость человѣка молодого, недавно ознакомившагося съ огнемъ: молодой, можно сказать, живетъ всѣмъ тѣмъ, что вокругъ него происходитъ во время боя, и глубоко чувствуетъ каждый его моментъ, а для стараго человѣка свистъ пуль все равно, что для бывалаго матроса морская бездна въ то время, когда онъ ходитъ по борту и спокойно куритъ свою трубку. Мы говоримъ, конечно, о храбрецахъ: людьми нехрабрыми руководятъ инныя чувства.

Но есть что-то общее для всѣхъ въ бою: въ первомъ дѣлѣ человѣкъ чувствуетъ себя крайне тяжело; какая-то тоска наполняетъ душу, тоска о прошломъ, о всемъ дорогомъ, оставленномъ на родинѣ, которое можетъ пропасть для человѣка въ одну минуту. Но выйдя изъ боя, чувствуешь себя до такой степени освѣженнымъ нравственно, что хочется вновь побывать въ бою, чтобы снова испытать это прекрасное чувство, и во второмъ дѣлѣ уже менѣе тя-

жело, а въ третьемъ бываешь недоволенъ, почему не ведутъ впередъ.

Въ то время, когда маіоръ перемѣнялъ фронтъ, къ цѣпи подѣхалъ верхомъ молодой офицеръ въ блестящей формѣ.

— Смотрите, фазанъ ѣдетъ: должно быть васъ ищетъ, сказалъ маіору одинъ изъ офицеровъ, указывая на вновь прибывшаго.

Офицеръ всталъ съ лошади, отдалъ поводъ одному изъ горнистовъ и подошелъ къ маіору, приложивъ руку къ козырьку. Видно было, что онъ, какъ всякій небывшій въ дѣлѣ, былъ блѣденъ и немножко рисовался своей храбростью.

— Генераль прикомандировалъ меня къ N-му полку. Честь имѣю явиться: подпоручикъ Смѣловъ.

— Вонъ командиръ полка, отвѣчалъ маіоръ сухо, и повернулся къ солдатамъ, подумавъ: „очень намъ нужно этого добра, — для награды пріѣзжаете.“

— Я уже являлся командиру полка, онъ послалъ меня въ вашу баталіонъ.

— Ну, такъ ложитесь: вы слышите пули летаютъ.

— Я пришелъ сюда не лежать, г-нъ маіоръ, сказалъ офицеръ, весь вспыхнувъ.

Маіоръ теперь только очнулся, что говорилъ безъ всякаго повода грубости человѣку, совершенно ему неизвѣстному. Онъ всегда былъ грубъ, если бывалъ на что-нибудь средить, но въ душѣ онъ былъ человѣкъ очень добрый и всегда раскаивался въ этомъ.

— А! коли такъ, такъ покорно прошу... Идите на лѣвый флангъ къ капитану Агалову, у него нѣтъ субалтернъ-офицера; а если я обидѣлъ васъ, то простите пожалуйста: вы видите, у меня лошадь убили...

Маіоръ принесъ хотя странное, но совершенно чисто-сердечное оправданіе.

Черезъ полчаса произошла схватка. Маіоръ вскочилъ на попавшуюся подъ руки лошадь вновь прибывшаго офицера —

и прежняя энергія снова вернулась къ нему. Онъ даже забылъ, что сидѣлъ не на своей лошади. Проскакавъ съ одного фланга на другой, онъ привелъ въ порядокъ баталіонъ и приготовился встрѣтить атаку. Сильно выдвинушіеся впередъ турецкіе таборы были съ успѣхомъ опрокинуты N-мъ полкомъ, и въ особенности баталіономъ Гайдукова; другіе раньше повернули назадъ, замѣтивъ обходъ; а черезъ часъ турки были разбиты, и наши вступили въ крѣпость, освободивъ осажденныхъ.

Генераль расцѣловалъ маіора за молодецкое дѣло, и Гайдуковъ былъ такъ радъ, что забылъ, что сидитъ на чужой лошади.

— „Чистый“! возьми коня! сказалъ весело маіоръ, слѣзая съ лошади, и когда Савченко посмотрѣлъ на него съ изумленіемъ, тогда только онъ догадался, что сидѣлъ на чужой лошади.

— Ахъ, да, это не наша... сказалъ Гайдуковъ, и снова нахмурился.

Не успѣлъ маіоръ войти къ себѣ въ палатку, какъ ему доложили, что принесли раненаго вновь прибывшаго офицера. Онъ обнялъ его, пригласилъ къ себѣ въ палатку и разсыпался въ извиненіяхъ.

— Я видѣлъ, какъ вы бѣжали впереди; я всему обязанъ вамъ и Агалову, и не такъ Агалову, какъ вамъ... Простите меня, что я осмѣлился огорчить васъ, нашего новаго героя... Я счелъ долгомъ доложить о васъ генералу.

Легко раненый Смѣловъ былъ въ восторгѣ отъ своего перваго дебюта; онъ готовъ былъ цѣловать и маіора, и тѣхъ офицеровъ, которые сочли обязанностью придти выразить ему свое одобреніе, и даже коряваго Захарченка, который ему прислуживалъ.

Маіоръ снова заговорилъ о своей лошади, и до того былъ разстроенъ, что Смѣлову сдѣлалось жаль его и онъ рѣшился помочь ему.

— Вамъ нравится моя лошадь? спросилъ вдругъ Смѣловъ.

— Отличный конь. Если бы не онъ, такъ что бы я сегодня могъ сдѣлать?

— Знаете что? Возьмите его себѣ...

Маіоръ на минуту остолебѣлъ.

— То есть какъ это... возьмите...

— Да такъ, просто, — возьмите, да и кончено.

— Позвольте... Я немножко васъ не понимаю... Сколько вы за нее хотите?

— Ничего не хочу.

— Вы шутите?

— Увѣряю васъ, что нѣтъ.

— Да полно же, развѣ можно такую лошадь дарить: вѣдь она рублей триста стоитъ.

— Да хоть бы четыреста... Я хочу вамъ подарить. У меня другая есть, съ деньщикомъ придетъ, а третья выучная.

— Нѣтъ, — ей-Богу, вы не шутите?

— Ей-Богу, не шучу.

У маіора даже судороги сдѣлались отъ радости: онъ вышелъ изъ палатки и крикнулъ Савченка. Потомъ опять вернулся и еще разъ спросилъ: не шутитъ ли Смѣловъ, и затѣмъ уже приказалъ „чистому“ взять коня и кормить его не очень мало — чтобы онъ не былъ худъ, и не очень много — чтобы не дорого стоилъ фуражъ.

Гайдуковъ не вѣрилъ своему счастью. Онъ вернулся въ палатку веселый и велѣлъ „грязному“ подать погребецъ съ съѣстными припасами, гдѣ лежало нѣсколько сыру и другихъ закусокъ, купленныхъ Богъ знаетъ когда и расходующихъ въ самыхъ маленькихъ дозахъ. Ему хотѣлось попотчевать Смѣлова за сдѣланный подарокъ. Нашлась и водка въ металлической флягѣ, которую онъ поставилъ вмѣстѣ съ рюмкою передъ раненымъ гостемъ. Смѣловъ не ѣлъ съ самаго утра, и по простотѣ душевной выпилъ сразу двѣ рюмки

водки и захватили большой кусок чего-то съѣстного. Маіоръ пришелъ въ ужасъ отъ такой, по его мнѣнію, безцеремонности и, набравъ для себя какихъ-то крохъ, поскорѣе заперъ погребецъ. Смѣловъ былъ изумленъ такой скупостью добраго маіора; но впослѣдствіи онъ увидѣлъ, что маіоръ составляетъ исключеніе изъ цѣлаго отряда, и что нигдѣ нѣтъ такого радушія и гостепріимства, какъ въ кавказской арміи. Въ одномъ полку было, напримѣръ, обыкновеніе предлагать всякому вновь прибывшему не только чай и столъ, но даже и кровать, если онъ еще не обзавелся; а предложившій спалъ въ это время на землѣ.

Наступилъ лунный вечеръ. Маленькій водопадъ шумѣлъ гдѣ-то вблизи; изъ сосѣднихъ палатокъ доносился рѣзвый говоръ игроковъ; на бивуакѣ шумѣли отдохнувшіе послѣ боя солдаты. Маіоръ вышелъ изъ палатки и велъ съ Савченкой какіе-то расчеты; только и слышалось: „прибереги; не изводи; выдавай мало, но такъ, чтобы и не очень мало“... А раненый Смѣловъ лежалъ въ это время въ палаткѣ, и много мыслей свѣтлыхъ, чарующихъ, возбужденныхъ первымъ боевымъ дебютомъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ грустныхъ, ложились ему на душу. Размышленія были прерваны входомъ въ палатку Гайдукова. Смѣловъ взглянулъ на его не то доброе, не то суровое лицо, и ему почему-то сдѣлалось жаль маіора...

Намъ остается еще сказать о грустномъ событіи, которое произошло черезъ два мѣсяца. Въ это время Эриванскій отрядъ стоялъ въ Игдырѣ и въ Гулюджахъ противъ Измаила-паши, занимавшаго Каравансарайскій перевалъ. Счастливо выходилъ маіоръ изъ всѣхъ боевъ, которые ему приходилось выдерживать въ жизни; но небольшая стычка подъ Игдыремъ положила конецъ боевымъ подвигамъ маіора. Онъ былъ раненъ смертельно. Грустно было видѣть, когда

санитары принесли его въ полубезсознательномъ состояніи въ палатку.

У маіора не было родныхъ, и все свое маленькое состояніе онъ завѣщалъ своимъ деньщикамъ.

— „Чистый“, „чистенькій“, говорилъ маіоръ, умирая: — тамъ у меня деньги въ шкатулкѣ, тысяча семьсотъ рублей; — себѣ возьми тысячу и „грязному“ выдай семьсотъ... Лошадокъ тоже подѣлите... Да если кто про меня спроситъ, такъ скажите, что умеръ честно за Государя, что былъ въ двадцати двухъ сраженіяхъ и нигдѣ не струсилъ...

Эти слова звучали такою нѣжностью, что посторонній челоѣкъ не могъ не прослезиться, слушая завѣщаніе маіора.

Гайдуковъ закрылъ глаза на рукахъ своихъ деньщиковъ, которые оба плакали, но потомъ снова раскрылъ ихъ и просилъ снести себя къ баталіону; но у палатки толпились уже солдаты и собрались офицеры.

— Дѣтки, вы, мои милые, обратился маіоръ къ солдатамъ: — простите, если въ чемъ былъ несправедливъ... Потомъ что-то хотѣлъ сказать офицерамъ, но голосъ его оборвался и онъ закрылъ глаза, и больше не открывалъ ихъ.



РЯДОВОЙ ИВАНЪ ПАВЛОВЪ.

(Этюдъ).



огда я вспоминаю о прошломъ походѣ, всякій разъ передо мною встаетъ симпатичный образъ нашего солдата, про котораго теперь уже безпристрастно можно сказать, что онъ не только не уронилъ, но даже поднялъ славу своихъ предковъ. Я вижу его, какъ теперь, то карабкающимся

по крутому скату горы съ крикомъ „ура“, то угрюмо стоящимъ на часахъ въ аванпостной цѣпи, то мирно отдыхающимъ на бивуакѣ и раскуривающимъ, за неимѣніемъ табаку, сухіе древесные листья. И холодъ, и голодъ, сопровождавшіе солдата въ эту войну, переносились имъ съ такимъ же самоотверженіемъ, какъ и боевая опасность. Я не могу забыть, какъ много разъ на аванпостахъ приходилось видѣть сгорбленную фигуру часового, одѣтаго въ ветхой и прожженной шинели съ накинутымъ сверху полотнищемъ переносной палатки; на ногахъ у него изорванные сапоги. Стоитъ онъ, понутивъ голову и покачиваясь съ ноги на ногу; мятель заноситъ его и вѣтеръ валитъ съ ногъ.

— Кто-то насъ пожалѣетъ?... произносить часовой сдержаннымъ голосомъ, и выпускаетъ тяжелый вздохъ.

Слова эти ужасны: они до сихъ поръ отзываются острою болью въ моей душѣ.

Произнося эти слова, солдатъ не ропталъ на начальника, — да роптать не въ характерѣ русскаго солдата; онъ, кромѣ того, зналъ, что строевой начальникъ самъ зябнулъ и голодалъ, и былъ безсиленъ помочь не только ему, но даже и себѣ. Чѣмъ виновать, напримѣръ, командиръ части, что сухари опаздывали; что полшубки пришли не зимою, а весною, когда и шинели уже составляли обузу; что сапогъ не было цѣлую зиму, а потомъ вдругъ пришло по двѣ пары, и пришло тогда, когда солдаты стояли по деревнямъ и многіе обзавелись на собственный счетъ.

Но замѣчательно, что солдатъ никогда не вспоминаетъ дурно о прошломъ походѣ; онъ забываетъ все дурное и помнитъ только одно хорошее и вполне доволенъ тѣмъ, что Богъ его вынесъ здоровымъ и невредимымъ изъ всѣхъ пердирягъ и опасностей, и что теперь уже онъ человѣкъ бывалый, который можетъ много рассказать о жаркихъ дѣлахъ, въ которыхъ ему приходилось участвовать; а о томъ, что онъ зябнулъ и голодалъ, онъ упомянетъ только вскользь и преимущественно въ такихъ выраженіяхъ: „да, трудненько было... оно бы и ничего, только больно — тяжело...“ и эти слова никогда не звучатъ у него жалобою; напротивъ, — онъ даже гордится тѣмъ, что ему было трудненько да тяжеленько и, пожалуй, даже прибавитъ: „что бы это было за походъ, если бы этого не было“.

Кстати о походѣ. Какъ походъ ни труденъ, но побывать въ немъ пріятно, — пріятно потому, что онъ какъ-то освѣжаетъ человѣка и особенно благотворно дѣйствуетъ на тѣхъ, кто чувствуетъ призваніе къ войнѣ. Такому человѣку и въ голову не приходитъ, что ему того-то не додали, тѣмъ-то обидѣли: онъ радъ, что почувствовалъ себя въ той сферѣ, о которой всегда мечталъ; онъ всей своей пылкой душою привязывается къ боевымъ товарищамъ. Никогда не бываетъ

такой душевной бесѣды въ товарищескомъ кружкѣ, никогда чарка вина не имѣетъ такого значенія въ веселой компаніи, какъ передъ дѣломъ, въ которомъ какъ нельзя больше осуществляется великая идея братства, выражающаяся во взаимной выручкѣ другъ друга цѣною жизни. Здѣсь мелкіе интересы обыденной жизни, въ которыхъ такъ много бываетъ пошлаго, не имѣютъ мѣста, и каждый испытываетъ какое-то необычайно высокое чувство, полное очарованія и естественно-вызванной любви... Можно-ли встрѣтить что-нибудь подобное въ обыденныхъ пирушкахъ людей, несвязанныхъ никакимъ общественнымъ дѣломъ — въ ихъ кислыхъ, скучающихъ фізіономіяхъ?

Недаромъ солдаты, вспоминая про походъ, поютъ:

Взвейся соколъ — соколъ сизокрылый!

Полно, братцы, горе горевать, —

То-ль не радость и веселье —

Въ полѣ лагерьмъ стоять!

Лагерь городъ — городъ полотняный,

День и ночь тамъ улицы шумятъ;

Позолочены — румяны

Мѣдны маковки горятъ.

Много приходилось видѣть намъ солдатъ, въ которыхъ добродушіе русскаго простолюдина соединено съ необыкновеннымъ геройскимъ самоотверженіемъ. Не могу забыть одного изъ нихъ, котораго звали Иванъ Павловъ. Солдатикъ маленькій, худенькій, слабый по фронту, вообще говоря, неудачный, вдругъ какъ будто выросъ, выпрямился и сталъ смотрѣть молодцомъ, когда ему объявили, что онъ идетъ въ походъ. Давно нечищенное ружье, за которое ему много разъ доставалось, вдругъ заблестѣло какъ игрушка. Павловъ началъ прыгать отъ радости; а когда пошли большими переходами, и нѣкоторые изъ солдатъ, бывшіе исправными на маневрахъ, падали въ изнеможеніи, онъ только посмѣивался надъ ними и помогалъ то одному, то другому нести вещи.

„И откуда здоровье берется у этого человѣка? вся силенка-то, кажись, не больше куриной...“ удивлялись солдаты.

Жутко было стоять на горахъ, когда морозъ доходилъ до 20°. Разобьютъ солдаты палатку на шесть человѣкъ изъ шести маленькихъ полотнищъ, выгребутъ изнутри снѣгъ, подстелютъ подъ себя на мерзлую землю мундиры, прикроются ветхими шинелями да прижмутся поплотнѣ другъ къ другу; но сонъ не беретъ: зубъ на зубъ не попадаетъ, а пуще всего зябнуть ноги. Полежатъ минутъ съ двадцать и уже бѣгутъ къ костру грѣться, подставляя къ огню то одну, то другую ногу.

Сапоги трескаются и рвутся, а обогрѣтыя ноги простуживаются и болятъ. Еще бѣда неотразимая: негдѣ выстирать бѣлья, у кого оно еще не износилось, а въ рубашкѣ кипитъ міриады насѣкомыхъ, и не то, чтобы они больно кусались, а покою не дадутъ ни на одну минуту, — то и знай, что почесывайся...

Подбѣгаетъ къ кучкѣ грѣющихся солдатъ Иванъ Павловъ и хохочетъ, до упаду хохочетъ, глядя на сгорбленные фигуры озябшихъ товарищей. „Эхъ вы, бабы хохлацкія, а не солдаты! ну, кто васъ учить такъ грѣться? — Снѣгомъ нужно грѣться, а не огнемъ“. И тутъ же Иванъ Павловъ затѣваетъ игру въ снѣжки, раззадориваетъ товарищей, и все кончается общей свалкою и веселымъ хохотомъ.

Нѣкоторые изъ солдатъ полагали, что Иванъ Павловъ „что-то знаетъ“, что не суждено знать каждому. Подъ словомъ „что-то“ разумѣлось либо колдовство, либо хитрость, доступная немногимъ; другіе же находили, что онъ просто молодчина и — ничего больше, и только удивлялись тому, что какъ это жиденькій, маленькій, совсѣмъ чахоточный человѣчекъ оказался такимъ молодцомъ.

Иванъ Павловъ никогда не спалъ съ товарищами въ палаткѣ: онъ умудрялся стирать въ запасномъ котелѣ бѣлье, былъ очень чистоплотенъ и боялся прилюдныхъ гостей.

Жилищемъ ему служилъ либо шалашъ изъ вѣтвей, прикрытый хворостомъ и снѣгомъ, либо просто вырытая имъ самимъ нора наподобіе лисьей. Его изобрѣтеніе быстро вошло въ моду. Солдаты узнали простую вещь, что чѣмъ глубже подрыться, тѣмъ теплѣе; а работать въ холодную пору хорошо, и костровъ на это время не нужно раскладывать, — такъ жарко дѣлается послѣ работы.

Въ бою Иванъ Павловъ всегда бывалъ впереди и сохранялъ ту же веселость. „Ничего, братцы, ничего! это пчелки летаютъ“, говорилъ онъ про пули; „а это Марья Ивановна къ намъ въ гости ѣдетъ; она добрая, не ушибетъ“... при вѣтствованіи онъ гранату, и только раненные товарищи заставляли его на минуту смущаться, но онъ быстро оправлялся и снова начиналъ шутить.

Здѣсь не мѣшаетъ замѣтить, что присутствіе въ боевой массѣ человѣка, смѣющагося надъ опасностью, до такой степени отрезвляетъ эту массу, что каждый потерявшійся человѣкъ сразу приходитъ въ себя и чувствуетъ себя какъ бы пристыженнымъ. Русскія войска богаты смѣющимися надъ опасностью людьми, и это есть лучшее ихъ достоинство. „Разступись, N-я рота! дай дорогу нашей!“ кричитъ Иванъ Павловъ, идя въ атаку, и N-я рота ни за что не разступается и дороги не даетъ: онъ задѣваетъ ея самолюбіе...

Ничѣмъ нельзя было такъ огорчить Ивана Павлова, какъ отказомъ идти въ какое-нибудь опасное предпріятіе. Однажды, для осмотра затянутого туманомъ турецкаго редута, понадобилось вызвать изъ каждой роты по четыре охотника. Фельдфебель, будучи за что-то золъ на Ивана Павлова, старался устранить его.

— Ваше благородіе, помилосердствуйте! За что же это? Развѣ ужъ я никуда не гожусь?... я первымъ вызвался... Лучше велите наказать меня другимъ манеромъ, если я въ чемъ провинился... жаловался онъ ротному командиру и, конечно, получалъ позволеніе.

Охотники всегда выбирали Ивана Павлова за старшаго, не взирая на то, что между ними бывали и унтеръ-офицеры.

Любопытнѣе всего были отношенія Ивана Павлова къ непріятелю: колоть турокъ было для него величайшимъ наслажденіемъ; иногда онъ съ неудовольствіемъ осматривалъ послѣ боя штыкъ, не замѣчая на немъ крови. За то никто такъ сердечно не относился къ беззащитному, безоружному, а тѣмъ болѣе къ больному непріятелю, какъ Иванъ Павловъ. Случалось иногда, послѣ занятія какой-нибудь турецкой деревни, въ которой нашъ отрядъ останавливался на ночлегъ, встрѣчать не успѣвшія бѣжать цѣлыя турецкія семейства, состоящія изъ стариковъ, женщинъ и дѣтей. Къ нимъ-то Иванъ Павловъ обращалъ свое доброе сердце и не только не грабилъ ихъ, но готовъ былъ отдать умирающимъ съ голоду послѣднія крохи, оставшіяся у него въ сумкѣ.

Случалось иногда видѣть такія картины: въ отворенную настежь дверь турецкой избы вваливается кучка солдатъ и съ ними Иванъ Павловъ; у очажка, гдѣ тлѣютъ щепки, сидитъ больная турецкая женщина съ полумертвымъ ребенкомъ на рукахъ; лицо у женщины синее и худое; смотреть она безчувственной идиоткою; ребенокъ склонилъ голову и какъ будто готовится умереть. Голодные солдаты обыскиваютъ всѣ лари, находятъ нѣсколько горстей пшеничной муки и, не обращая вниманія на женщину, начинаютъ печь лепешки; но Иванъ Павловъ участія въ этомъ не принимаетъ: онъ сидитъ, понуривъ голову, грустно смотритъ на хозяевъ, и слезы навертываются у него на глазахъ.

— Братцы, оставьте!... вѣдь это у нихъ послѣдняя... обращается онъ къ товарищамъ въ то время, какъ тѣ уже начинаютъ печь вкусныя бѣлыя лепешки, и произноситъ эти слова съ такимъ глубокимъ чувствомъ, что у солдатъ вываливаются лепешки изъ рукъ и обстановка во всемъ ужасѣ кидается имъ въ глаза.

— Вотъ у нихъ хозяйство здѣсь было, продолжаетъ онъ

грустнымъ тономъ,—дѣтки были рѣзвые да красивые, а теперь раззоръ пошелъ... Не трогайте, братцы, чужого хлѣба: мы уйдемъ отсюда, а имъ еще зиму надо кормиться...

Только послѣ словъ Ивана Павлова начинаютъ солдаты приходить въ себя и чувствовать ту ужасную обстановку, которая въ суетѣ не была даже замѣчена, и каждый изъ нихъ понимаетъ, что эта обстановка гораздо ужаснѣе крови, пролитой на позиціяхъ.

Тронутые словами Ивана Павлова, солдаты предлагаютъ лепешки больной турчанкѣ, напаиваютъ ее и ребенка, нянчатся съ ребенкомъ,—и на сердцѣ у каждого становится весело.

Но были въ Иванѣ Павловѣ и странныя черты, которыя до сихъ поръ остаются для меня загадкою. Я не могу вспомнить безъ ужаса одного случая со шпиономъ въ нашемъ отрядѣ: привели на заставу худенькаго, маленькаго человѣка, болгарина, почти такого же по виду, какъ и Иванъ Павловъ, и сказали, что этотъ человѣкъ осматривалъ наши позиціи и былъ пойманъ по дорогѣ къ туркамъ.

— А, братушка, попался! обратился къ нему извѣтельно Иванъ Павловъ. — Что съ нимъ долго толковать! давайте, братцы, повѣсимъ его... вотъ и ремень у меня важный есть... И Павловъ началъ примѣрять ремень къ шеѣ болгарина съ какимъ-то дикимъ наслажденіемъ, которое совсѣмъ не шло къ его симпатичному, добродушному лицу.

Унтеръ-офицеръ, командовавшій заставою, воспротивился этому и приказалъ отвести шпиона подъ конвоемъ къ начальству; но Иванъ Павловъ долго съ нимъ спорилъ, утѣряя, что начальство похвалитъ ихъ за самовольную расправу съ обманщикомъ. Когда же его назначили въ конвой, онъ все шутилъ и глумился надъ преступникомъ, предлагая другому конвойному сыграть веселую штуку: выпустить шпиона какъ бы на волю, увидѣть какъ онъ обрадуется, а потомъ вдругъ пристрѣлить...

Это была единственная черта въ Иванѣ Павловѣ, къ которой я чувствовалъ отвращеніе и которая до сихъ поръ



остается для меня загадкою. Мы уже сказали, что непріятель, лишенный оружія, переставалъ быть для Ивана Павлова непріателемъ, и онъ сразу начиналъ чувствовать къ нему расположеніе, какъ къ человѣку: но, строго-честный, онъ былъ неумолимъ къ обманщикамъ, и даже искра чувства не проглядывала въ немъ въ этихъ случаяхъ.

Однако не надолго оставался Иванъ Павловъ въ такомъ настроеніи; зная его характеръ, я рисовалъ себѣ такую картину: положимъ, казнь надъ шпиономъ совершилась и преступникъ повалился бездыханнымъ на бѣлый снѣгъ, и

красныя дорожки пошли отъ его трупа... Я увѣренъ, что Иванъ Павловъ первый подошелъ бы къ покойнику и дрожащимъ отъ волненія голосомъ сказалъ бы: „Нужно его похоронить, братцы: теперь ужъ не намъ судить его, а Господу...“ и первый вынулъ бы лопату и началъ бы рыть могилу.

Неизмѣннымъ оставался Иванъ Павловъ до конца похода: всегда бодрый, всегда веселый и неутомимый, шелъ онъ, заломивъ шапку на бокъ и лихо подтянувъ тяжелую ношу, въ самые трудные переходы, и иногда въ то время, когда никому и въ голову не приходило пѣть, вдругъ затягивалъ свою любимую пѣсню:

Полковникъ, нашъ начальникъ,
По фронту проѣзжалъ;
«Ребята, не робѣйте!»
Солдатамъ онъ сказалъ.

А пѣсенники собирались вокругъ него и уже хоромъ продолжали:

Балканскія вершины,
Увижу-ль я васъ вновь?
Софійскія долины,
Бладище удалцовъ!

Но лишь только кончился походъ и войска тронулись на родину, — Ивана Павлова нельзя было узнать: грустный садился онъ на корабль, грустный ступилъ на Русскую землю и казался въ это время какъ будто больнымъ; но въ дорогъ бывали минуты, когда Иванъ Павловъ и развеселялся: ничѣмъ его нельзя было такъ раззадорить, какъ боевыми пѣснями. Сидитъ, бывало, Иванъ Павловъ, насупившись, въ вагонѣ желѣзной дороги и грустно смотритъ въ окно; ничего не замѣчаетъ онъ изъ разостланной передъ глазами мирной русской природы; ему грезятся снѣжные Балканы

съ темными ущельями и слышанными тамъ глухими выстрѣлами, Софія и Филиппополь съ высоко выдающимися минаретами, и онъ такъ груститъ по этимъ мѣстамъ, какъ будто бы тамъ остались его привязанности. Взглядъ его похожъ былъ въ это время на взглядъ ребенка, потерявшаго единственную и любимую игрушку; вдругъ игрушка находится — и ребенокъ летитъ къ ней съ блестящими отъ радости глазами. Такъ и Иванъ Павловъ летѣлъ на призывный къ бою звукъ, выраженный въ солдатскихъ пѣсняхъ.

Войска вернулись на родину, — и солдаты загуляли: кто пошелъ выпить водочки съ пріятелями, кто къ знакомымъ землячкамъ. Дана была цѣлая недѣля отдыха, и въ это время каждый солдатъ жилъ въ свое удовольствіе. Бывали въ это время интересныя сцены: идетъ, напримѣръ, пьяный солдатъ и размахиваетъ руками: „вотъ теперь бы въ атаку! вотъ когда бы подрался!“ вскрикиваетъ онъ совершенно чисто-сердечно.

Одинъ только Иванъ Павловъ никуда не хотѣлъ идти и все сидѣлъ въ ротѣ да тосковалъ. Ухаживали за нимъ товарищи и ничего не могли сдѣлать, — даже къ пѣснямъ сталъ неохочъ. Скоро онъ началъ жаловаться грудью; цѣлый мѣсяцъ пробылъ въ слабосильной командѣ, и наконецъ доктора нашли, что у него скоротечная чахотка.

Отправили Ивана Павлова въ госпиталь, и тамъ онъ умеръ черезъ полтора мѣсяца. Говорятъ, передъ самой смертью онъ сталъ веселъ, все куда-то рвался и чего-то хотѣлъ, но не въ силахъ былъ встать съ постели, а только поднималъ руки вверхъ и произносилъ несвязныя слова.

Я посѣтилъ его недѣли за двѣ до смерти. Что это было за превращеніе! Изъ героя, изъ веселаго и неутомимаго, онъ превратился въ слабаго духомъ, безчувственнаго и вялаго человѣка съ погасающимъ остаткомъ жизни. Тотъ-ли это Иванъ Павловъ? думалось мнѣ; но честныя и симпатичныя черты открытаго русскаго лица, въ которыхъ свѣтилась еще

не совсѣмъ угасшая душа этого замѣчательнаго простолюдина, напомнили мнѣ прежняго Ивана Павлова, и мнѣ стало невыразимо жаль его.

„Быль у насъ Иванъ Павловъ, говорятъ солдаты, вспоминая умершаго товарища,— и какое, братцы, диво! некажистъ собою, а молодчина на всѣ руки... и такого другого, вѣрно, уже никогда больше не будетъ!“



УНТЕРЬ-ОФИЦЕРЪ БОБИНЪ И РЯДОВОЙ КОЗЛОВЪ.

(Этюды).



„Антонъ Матвѣичъ! одолжите бруска топоръ выточить; одолжите бритвы; одолжите веревочки!“ постоянно обращались къ нему солдаты. Бобинъ никогда не отказывалъ, но, прежде чѣмъ дать, дѣлалъ просившему внушеніе: „Отчего, молъ, самъ не носишь...“ а затѣмъ приказывалъ приносить топоръ къ себѣ и точилъ самъ, а просившаго заставлялъ смотрѣть и учиться.

Кто побывалъ нѣсколько разъ въ бою, тотъ не могъ не замѣтить, что во всякой кучкѣ солдатъ, твердо держащейся подъ огнемъ, есть непременно свой нравственный центръ, если такъ можно выразиться,— есть одинъ или нѣсколько людей, не ищущихъ нравственной опоры, а твердо надѣющихся на самихъ себя. Такіе люди первыми выбѣгаютъ въ критическую минуту впередъ и группируютъ около себя остальныхъ; глаза ихъ блещутъ отвагою, а отрывистыя экспромтныя рѣчи, остроты и насмѣшки исполнены естественности и вдохновенія. Слова, произносимыя въ критическую минуту такими людьми, бываютъ въ большинствѣ случаевъ знаменательны: въ нихъ звучитъ скры-

тая въ обыкновенное время и никогда почти не замѣчаемая нами въ простолюдинѣ сила народнаго духа.

Не всѣ солдаты герои, но однако-же всѣ идутъ умирать: одни рвутся впередъ и кричатъ „разступись!“ другіе держатся за полы ихъ мундировъ; но есть что-то среднее между первыми и вторыми, есть люди съ твердымъ характеромъ, не поддающіеся вліянію и мало имѣющіе вліянія на другихъ, — это сухіе, холодные, но тѣмъ не менѣе хорошіе исполнители своего долга, или, такъ сказать, чернорабочіе въ дѣлѣ войны. Къ такимъ именно натурамъ принадлежалъ унтеръ-офицеръ Бобинъ.

Въ тонѣ его голоса и въ манерахъ было что-то дѣловое; онъ никогда не стоялъ сложа руки и задумавшись, а непремѣнно что-нибудь мастерилъ либо у себя въ палаткѣ, либо около. Онъ умудрялся носить съ собою много вещей, вовсе не полагающихся солдатамъ.

Больше всего занимался Бобинъ починкою сапогъ и амуниціи; иногда онъ починалъ вещи, которыя вовсе не требовали починки, но ему казалось, что еще нужно пристегнуть раза два, чтобы крѣпче держалось. Починялъ Бобинъ и другимъ солдатамъ вещи, и ничего за это не бралъ, а только ругалъ обратившагося съ просьбою, называя его сорванцомъ и разгильдяемъ, и если послѣдній молчалъ, то Бобинъ постепенно переходилъ въ мягкій тонъ и наконецъ, отдавая починенную вещь, говорилъ уже совершенно ласково: „Возьми, молодецъ, да смотри — носи хорошенько“.

Казалось, Бобинъ былъ радъ всякой работѣ, которая подвертывалась подъ руку. Во время мятели, когда палатки заносило большими сугробами, всѣ солдаты прятались поглубже и жались другъ къ другу, выжидая погоды; даже Иванъ Павловъ только изрѣдка выглядывалъ съ трубкою изъ своей норы и, кивая головою, сплевывалъ на-сторону; а Бобинъ и тутъ находилъ себѣ работу: онъ черезъ каждые полчаса вылѣзалъ изъ палатки и расчищалъ снѣжные наметы.

— Тоже вѣдь солдаты, — прости Господи! ворчалъ Бобинъ: — ихъ хоть заживо похорони, только не замай, такъ они все тебѣ будутъ лежать.

— Экъ его носить, стараго непосѣду! слышалось изъ другихъ палатокъ, куда доносилась хрипая руготня Бобина, заглушаемая визгливымъ вѣтромъ.

Починка обуви, расчистка снѣгу, тщательная отдѣлка стоекъ къ палаткамъ, растирка остатковъ табаку съ добытыми изъ-подъ снѣга и высушенными листьями и другія мелкія занятія наполняли досугъ Бобина въ промежуткахъ между нарядами на службу. Это было ничто въ сравненіи съ занятіями служебными; послѣднія начинались съ самаго выхода роты въ строй. Солдаты выстроятся, обопрутъ на ружья и ждутъ выхода начальника. Одинъ стоитъ, меланхолически повѣсивъ голову и о чемъ-то глубоко задумавшись; другой, повидимому лихой, подтапливаетъ локтемъ товарища и о чемъ-то, смѣясь, ему рассказываетъ; третій указываетъ пальцемъ на турку, дѣлая разныя соображенія насчетъ военныхъ операцій, въ родѣ того, что „войное орудіе сюда не хватаетъ, а наше и хватило-бы, да не велятъ стрѣлять, — все ждутъ какого-то генерала, который зайдетъ ему (непріятелю) въ тылъ, а мы напредъ отсюда“ и т. д.

Вообще-же всѣ скучаютъ и начинаютъ кашлять. Бобинъ и здѣсь находитъ дѣло: онъ подойдетъ то къ одному, то къ другому солдату, осмотритъ у него ружье, покачаетъ укоризненно головою, замѣтивъ ржавчину; пожуритъ за шинель, прожженную у костра; научитъ какъ оборачивать овчинною ноги, у кого износились сапоги, да посоветуетъ, какъ стоять на посту, чтобы не обморозиться.

Но вотъ вышелъ начальникъ и роту повели. Заставятъ-ли рыть укрѣпленія или вязать фашины — это для Бобина чистая радость. „А ну-ка, молодцы, заходи!“ командуетъ онъ весело солдатамъ; а самъ засучиваетъ рукава и плюетъ на руки. „Тамъ Бобинъ за старшаго? спрашиваетъ начальникъ. —

Ну, тамъ не нужно и приглядывать: у Бобина все будетъ сдѣлано“.

Работа горить; кто выкинетъ одну лопату земли, а Бобинъ пять. Онъ только изрѣдка останавливается, да и то затѣмъ, чтобы кого-нибудь подбодрить или выругать. „Ишь, косоглазый! ну, скажи ты мнѣ на милость: куда ты кидаешь? замѣчаетъ онъ солдату, небрежно кидаящему землю, — небось, ложки мимо рта не пронесешь... Эхъ! солдаты, — прости Господи! канавы вамъ рыть, а не батареи!..“

Вообще Бобинъ былъ человѣкъ нетерпѣливый безпорядка, и начальство его цѣнило за это; но иногда его аккуратность доходила до мелочности: послѣ боя, на примѣръ, онъ очень любилъ считать убитыхъ турокъ и складывать ихъ рядами; любилъ также хоронить ихъ и наблюдать, чтобы все это дѣлалось аккуратно, — чтобы поровну было въ каждой могилѣ и чтобы могилы были ровныя. Если изъ сосчитанныхъ труповъ который-нибудь обнаруживалъ признаки жизни, Бобинъ ворчалъ на него: „И что за человѣкъ, въ самомъ дѣлѣ, — либо живи, либо умирай, — только со счету сбиваешь... Подыми его, молодцы, — можетъ отойдетъ...“

На аванпостѣхъ никогда Бобинъ не спалъ и былъ большой охотникъ проверять посты, что было на-руку другимъ унтеръ-офицерамъ, которые уступали ему свою очередь.

— Что, молодцы, — ничего не видать? спрашивалъ онъ, подходя къ посту.

— Ничего, Антонъ Матвѣичъ, — все, какъ есть, тихо...

— А вы не зѣвайте, стойте хорошенько... говорилъ обыкновенно Бобинъ, и переходилъ къ слѣдующему посту.

Если же на посту сообщали ему что-нибудь въ родѣ того, что „по лѣсу ровно что-й-то ходить...“ онъ останавливался и прислушивался.

— Вралъ-бы поменьше... говорилъ Бобинъ часовому, не замѣчая шума, и отправлялся дальше.

Бобинъ былъ храбръ, но какъ-то странно: въ немъ не

было того огня, что дѣлаетъ изъ человѣка героя, подобнаго Ивану Павлову. Вѣрнѣе сказать, — Бобинъ былъ храбръ для порядка. Никогда, на примѣръ, не вызывался онъ въ охотники, но и не отказывался идти. Разъ какъ-то случилась надобность отправить въ ночное время небольшую партію охотниковъ для осмотра турецкой позиціи. „Хорошо было бы, кабы Бобинъ пошелъ за старшаго“, сказалъ ротный командиръ фельдфебелю. „Что-жъ, — коли нужно, такъ и пойду...“ сказалъ Бобинъ совершенно хладнокровно, и повелъ партію. Вернувшись назадъ, онъ цѣлый день плевалъ и ругался, говоря, что охотники не войско, а ватага глупыхъ бабъ, для которыхъ какой строй ни придумаешь, все равно разлѣзутся въ разныя стороны, куда кто гораздъ, и что этакъ только турокъ насмѣшить можно, а воевать такъ — никто не воюетъ, и что это только одно баловство — ходить въ охотники.

Для Бобина въ бою играла роль не только суть, но и форма: солдатъ, вытѣшій изъ своей части впередъ, былъ въ его глазахъ почти настолько же виноватъ, какъ и отставшій; и тому и другому отъ Бобина всегда доставалось. „Ты куда прешь? останавливалъ Бобинъ вытѣшнаго впередъ. — Ишь, одурѣлый какой! такъ вотъ самъ редутъ и возьмешь!.. Подожди, братъ, вмѣстѣ полѣземъ“. А на отставшаго Бобинъ, кромѣ того, замахивался прикладомъ.

Но интереснѣе всего былъ взглядъ Бобина на непріятеля: въ этомъ Бобинъ высказывался весь: непріятель въ его глазахъ былъ чѣмъ-то такимъ, во что приказываетъ стрѣлять начальство; самъ-же онъ ровно ничего не имѣлъ противъ турокъ и никогда надъ тѣмъ не задумывался, за что ихъ бьютъ. Слыхалъ онъ, правда, еще дома, что турокъ нехристь и что онъ обижаютъ болгаръ; но къ болгарамъ особенныхъ чувствъ Бобинъ не питалъ, а къ турецкой религіи относился равнодушно; надъ политикою же онъ не задумывался никогда, считая ее дѣломъ начальства, и если бы ему сказали, что уже довольно бить турокъ, а пора приниматься за болгаръ,

его бы нисколько не удивил такой пассажъ. Потомъ уже, послѣ боя, онъ бы на досугѣ разсудилъ такъ, что начальство лучше насъ знаетъ—кого и когда бить и за что бить.

Бобинъ былъ человѣкъ суевѣрный и вѣрилъ по-своему въ предопредѣленіе: онъ нисколько не сердился, подобно другимъ, на турокъ за смерть своихъ товарищей. „Ему такъ на роду было написано“, говорилъ онъ про убитаго; а про того, надъ которымъ турки совершили звѣрство, Бобинъ говорилъ, что ему, вѣрно, за тяжкіе грѣхи вышли такіа муки.

Разъ какъ-то нашли въ нашемъ убитомъ осколки разрывной турецкой пули, отъ которой рана приняла видъ воронки. Всѣ пришли въ ужасъ отъ такого звѣрства, а Бобинъ совершенно хладнокровно посмотрѣлъ и сказалъ: „гмм! ишь какъ ловко придумано...“

Бобина въ ротѣ уважали, какъ службиста, но не любили за его сухость, хотя, впрочемъ, безусловной сухости въ немъ не было. Какъ-то странно проявлялось чувство въ этомъ человѣкѣ: то онъ былъ черствъ и скупъ до-нельзя, то вдругъ отдавалъ товарищу въ критическую минуту послѣдній сухарь; а къ одному, очень смиренному солдатику своего взвода онъ даже питалъ нѣчто въ родѣ отеческой нѣжности.

Случилось какъ-то, что этотъ самый солдатикъ вдругъ вышелъ во время большого перехода изъ фронта и съ словами: „ой, не могу!“ разсѣлся на краю дороги.

— Эй, малышъ, подымайся! закричалъ Бобинъ сердито и подошелъ къ отставшему.

Солдатъ ничего не отвѣчалъ и не шевелился.

— Слышь, Козловъ, — тебѣ, что-ли, говорю!

Солдатъ сидѣлъ въ прежнемъ положеніи и молчалъ.

— Эй, не дури! ей-Богу ремнемъ вытяну!

— Ноженьки мои, ноженьки... простоналъ Козловъ и взглянулъ исподлобья на Бобина. Тяжелое страданіе было въ этомъ взглядѣ.

— Э-ге-ге, малышъ, — да вѣдь у тебя того... сказала Бобинъ, увидавъ окровавленные ноги Козлова.

— Еще третева-дни стеръ, дяденька... моченьки моей нѣтъ.

Бобинъ покачалъ головою и, вынувъ изъ-за пазухи двѣ овчинки, началъ оборачивать ими ноги Козлову.

— Ты можетъ быть того... сердись... ты не сердись... я вѣдь только такъ, для порядку, обругалъ тебя... Ну, что легче теперь? говорилъ Бобинъ Козлову, догоняя роту.

— Ничего... теперь не рѣжетъ...

Съ того самаго случая Бобинъ почувствовалъ симпатію къ Козлову. Жаль-ли ему сдѣлалось Козлова или просто это была естественная потребность приложить къ кому-нибудь свои заботы — потребность, часто являющаяся у одинокихъ пожилыхъ людей и нерѣдко переходящая въ чувство, — только многіе стали замѣчать, что Бобинъ не на шутку привязался къ этому солдатику и взялъ его къ себѣ въ палатку.

Очень нравилось Бобину, что Козловъ подражалъ ему въ образѣ жизни и былъ трудолюбивъ. Начнетъ, бывало, Бобинъ что-нибудь дѣлать, сейчасъ же и Козловъ придетъ помогать; приходилось даже его останавливать.

— И чего суешься? занеможешь, — тогда что я буду съ тобой дѣлать? Ишь вѣдь худой какой, а тоже лѣзешь работать... Отдыхалъ бы себѣ... останавливалъ Бобинъ Козлова, и въ словахъ этихъ звучала нѣжность, которая со-всѣмъ не шла къ суровой наружности Бобина.

Козловъ былъ слабый духомъ солдатикъ, меланхоликъ, и принадлежалъ именно къ тѣмъ натурамъ, которыя на себя не надѣются, а всегда стараются опереться на другихъ. Онъ не отличался крѣпкимъ здоровьемъ и былъ слаонервенъ и впечатлителенъ. Все окружающее производило на него тяжелое впечатлѣніе; особенно тосковалъ онъ съ рекрутства, когда пришлось попасть изъ семейства въ среду грубыхъ и

часто необузданных товарищей. Для Козлова казарменная жизнь была жизнью переходной и пахла военщиной, какъ для человѣка не военного въ душѣ. Онъ не наслаждался этой жизнью подобно другимъ своимъ товарищамъ, умѣвшимъ устроить въ казенныхъ помѣщеніяхъ свои уютные уголки; онъ сидѣлъ въ казармахъ на своей холодной койкѣ, какъ проѣзжающій сидитъ на пыльномъ клеенчатомъ диванѣ почтовой станціи, и думалъ о своей родинѣ, о томъ блаженномъ днѣ, когда ему позволятъ туда вернуться.

Походъ нѣсколько поднялъ Козлова, но характеръ его остался такимъ же; постоянно ходилъ онъ задумчивымъ и разсѣяннымъ и всегда вздрагивалъ, когда кто-нибудь произносилъ его фамилію. Козлову всегда казалось, что его презираютъ, что надъ нимъ смѣются; иногда его фантазія доходила до того, что онъ думалъ, что съ нимъ непременно случится великое несчастье, что его, напримѣръ, товарищи когда-нибудь подведутъ, выставятъ за себя отвѣтчикомъ, впутаютъ въ какое-нибудь преступленіе и тѣмъ отымутъ возможность вернуться на милую родину. „Господи! спаси меня отъ этого“... произносилъ онъ во время молитвы, и иногда ночью, когда казарменные лампы пригашивались и какой-то фантастическій полусвѣтъ ложился полосами на стройные ряды кроватей, Козловъ плакалъ, завернувшись въ казенное одѣяло...

Между десятками рекрутъ, назначаемыхъ каждый годъ въ роту, всегда найдется человѣка два—три подобныхъ Козлову. Они страдаютъ безмолвно, часто отказываются отъ пищи и иногда серьезно заболѣваютъ, кончая жизнь въ госпиталѣ. Эти люди нуждаются въ нравственной поддержкѣ со стороны своихъ ближайшихъ начальниковъ.

Никогда Козловъ не отличался личною храбростью, никогда не вызывался въ охотники; но однако онъ всегда былъ на своемъ мѣстѣ или, другими словами, входилъ въ составъ той массы, которая одерживала рядъ побѣдъ надъ турками.

— Страшно тебѣ было, Козловъ? спрашивали его иногда послѣ боя.

— И... и... бѣда какъ страшно!... Да вѣдь всѣ идутъ... куда мнѣ дѣваться?

И тутъ же Козловъ начиналъ рассказывать, сколько тамъ нашихъ убили, какъ граната пролетѣла надъ его головою, какъ пули свистали мимо его ушей и какъ онъ самъ не чаялъ выйти живымъ изъ боя.

Много было солдатъ подобныхъ Козлову, которые шли впередъ, потому что идутъ всѣ; отстать отъ другихъ для нихъ было дѣломъ немыслимымъ, и если это случалось, то большею частію вслѣдствіе ошибокъ, недоразумѣній или общей путаницы, происходившей отъ неопытности начальства. Отставшій, не видя около себя товарищей, чувствовалъ себя крайне безпомощнымъ, хотя бы даже находился внѣ сферы выстрѣловъ: ему казалось, что его тутъ именно и убьютъ.

Козловъ, какъ впечатлительный меланхоликъ, былъ очень недоувѣрчивъ; онъ вообще ни съ кѣмъ не сходилъ и питалъ какую-то брезгливость ко всѣмъ окружающимъ: однихъ онъ не любилъ за ихъ цинизмъ и вообще за то, что они не такъ чувствовали, какъ онъ; другихъ, подобныхъ себѣ, онъ находилъ скучными, нагоняющими тоску.

Ничто Козлова въ солдатскихъ забавахъ не интересовало; только однѣ пѣсни слушалъ онъ съ нѣкоторымъ удовольствіемъ, да и то потому, что въ этихъ пѣсняхъ воспѣвались подвиги всѣхъ солдатъ вообще, не исключая и его. Подъ звуки нѣкоторыхъ пѣсенъ онъ даже воодушевлялся и подтягивалъ тоненькимъ голоскомъ. Въ слѣдующей, напримѣръ, пѣснѣ его манилъ симпатичный образъ „убитаго гусарика“. Пѣсня эта передѣлана солдатами со старинной русской.

Ой во полѣ-полѣ стояла ракита (bis);

А подъ этой подъ ракитой гусарикъ убитый.

Онъ убить, принакрыть черною китайкой...
 Приходила къ нему пава-жена молодая,
 Китаечку открывала, въ лицо признавала...
 Ты возстань-возстань, мой милый, гусарикъ убитый!
 Твой конь вороной по лужкамъ гуляетъ;
 Тебя молода жена домой ожидать (bis).

Не смотря на то, что Козловъ ни къ кому не привязывался, имѣть на него вліяніе было дѣломъ болѣе чѣмъ легкимъ: не надѣясь на себя, онъ всегда готовъ былъ послушаться товарища, если при этомъ довѣріе брало верхъ надъ подозрѣніемъ. Бобина Козловъ тоже не любилъ, но питалъ къ нему нѣчто въ родѣ уваженія и страха; ему казалось, что этотъ человѣкъ посланъ ему судьбою, чтобы вывести его здоровымъ и невредимымъ изъ всѣхъ бѣдъ, а потому онъ вполне довѣрился Бобину.

Съ тѣхъ поръ, какъ Бобинъ сошелся съ Козловымъ, всѣ стали замѣчать въ немъ перемѣну: онъ сдѣлался нѣсколько мягче и веселѣе, и иногда даже шутилъ, чего прежде никогда съ нимъ не бывало. Но не долго продолжалась эта дружба: скоро непредвидѣнный случай совершенно измѣнилъ обстоятельства.

Разъ какъ-то случилось, что рота ушла на аванпосты, а Козловъ остался дневальнымъ при палаткахъ. Одѣвъ амуницію, онъ сталъ гулять по бивуаку; онъ какъ-то свободнѣе себя чувствовалъ, когда оставался одинъ: никто не кричалъ его фамилію, никто не заглядывалъ иронически ему въ глаза, никто не дразнилъ его любимцемъ „взводнаго“. Въ такія минуты онъ свободно предавался мечтамъ о родинѣ, о концѣ войны, объ отпускѣ. „Вотъ кабы отсюда по болѣзни, да прямо домой“... думалъ Козловъ.— „Нѣтъ не хорошо,— надо дотянуть до конца... за это и дома никто не похвалитъ“.

Проходя мимо своей палатки, Козловъ замѣтилъ висѣвшую тамъ сухарную сумку Бобина. „Вотъ тебѣ и разъ! какъ же это Антонъ Матвѣевичъ сухари забылъ? вотъ вѣдь грѣхъ“.

какой“, подумалъ Козловъ. Онъ хорошо зналъ, что Бобинъ будетъ голодать цѣлыя сутки, а ни за что не попроситъ у товарища сухарей; ему захотѣлось во что бы то ни стало сослужить Бобину службу, и онъ рѣшился, смѣнившись съ дневальства, снести сумку на аванпосты.

Отъ бивуака до аванпостовъ было болѣе версты и мѣстность была пересѣчена оврагами и лѣсомъ. Ночь стояла темная и туманная. Страшновато было Козлову идти одному, да еще въ ночное время, — того и гляди, попадешься къ туркамъ. Но онъ все-таки рѣшился и пошелъ. Сначала шелъ онъ по протоптанной дорожкѣ, а потомъ самъ не помнитъ, какъ свернулъ въ сторону.

Снѣгъ по самое колѣно глубиной, да большія деревья съ нависшими вѣтвями, съ которыхъ обламывалась и падала гололедица—вотъ все, что Козловъ видѣлъ вокругъ себя. Сначала было страшно и онъ нѣсколько разъ ворочался назадъ, но тропинки не было и слѣда. Наконецъ физическая усталость превозмогла страхъ, и Козловъ сѣлъ отдохнуть подъ большимъ деревомъ, опершись на него спиною. Сидѣлъ онъ въ глубокомъ снѣгу, продавивъ подъ собой яму, и его вспотѣвшее тѣло чувствовало прохладу. „Не пора ли идти?“ думаетъ Козловъ; но какая-то сладкая нѣга его удерживаетъ, и ему все кажется, что и здѣсь, какъ на привалѣ, непременно кто-нибудь прикажетъ встать и идти; а его собственная воля, постоянно подчиняемая волѣ другихъ, давно уже потеряла способность ворочать усталымъ тѣломъ.

Сначала Козловъ чувствовалъ пріятную прохладу, а затѣмъ лихорадочный ознобъ, перешедшій черезъ нѣсколько времени въ жаръ. Онъ все ближе подвигался къ дереву, сжимая колѣни и оборачивая ихъ полами шинели. Наконецъ все это перешло въ сладкую дремоту, клонившую внизъ его голову... И чувствуетъ Козловъ, что по его жиламъ ровно огонекъ проходитъ и такъ любо щекочетъ все тѣло, а на сердцѣ такая радость, словно съ родными повидался, или,

не жвши несколько дней, выпил вина... Грубый шумъ ледянистыхъ вѣтвей обращается для его ушей въ дивную мелодію, а полужакрытые глаза видятъ что-то чудесное... А вотъ и мать стоитъ... такъ и есть! да это его родина, деревня, изба; а напротивъ — изба сосѣда, и оттуда бѣжитъ къ нему навстрѣчу та самая дѣвушка, по которой онъ тосковалъ, будучи рекрутомъ... „Господи! думаетъ Козловъ, — за что такое счастье! Тамъ вши заѣдали, холодно было да голодно; смерть носилась надъ головою, а здѣсь мать съ протянутыми къ сыну руками; невѣста, бѣгущая навстрѣчу къ своему вернувшемуся герою; сады зеленые, нивы родныя... Но гдѣ же товарищи? что это я одинъ вернулся на родину? Э! да это не законъ! Надо было тянуть до конца и вернуться со всѣми вмѣстѣ, чтобъ не совѣстно было людямъ въ глаза смотрѣть...“ И кажется Козлову, что мать и невѣста, узнавъ, что онъ вернулся одинъ, уже не такъ на него смотрятъ, какъ при встрѣчѣ, и вдругъ все передъ нимъ смѣшалось, — онъ не разберетъ гдѣ мать, гдѣ невѣста, — и все это исчезаетъ, а вмѣсто этого висятъ надъ нимъ вѣтви какого-то большого дерева, и оттуда потянулись щетки, которыя начали растирать его тѣло; тѣлу-то сладко, а душа болитъ и сердце замираетъ, и Козловъ чувствуетъ, что у него никогда не бывало такъ тяжело на душѣ. Наконецъ сердце стукнуло разъ, остановилось, еще стукнуло и замерло...

Последнее, что представилось сонному мозгу Козлова, было чѣмъ-то темнымъ и пустымъ. „Господи помилуй!“ прошепталъ Козловъ и погрузился въ другой сонъ, безъ грѣзъ и сновидѣній...

На другой день, возвращаясь съ аванпоста, рота наткнулась на свернутый калачикомъ трупъ Козлова. Сидѣлъ онъ, горемычный, прислонясь къ дереву, весь облѣпленный снѣгомъ; голова была опущена на поджатые къ самой груди колѣни; фуражка спустилась на лобъ, и давно нестрижен-

ные русые волосы разметались красивыми прядями по его блѣдному, мертвому лицу.

Бобинъ растолкалъ любопытныхъ солдатъ и молча, съ выраженіемъ какой-то особенной суровости, взялъ мертвого товарища на руки и понесъ на бивуакъ. Только густыя морщины на лбу да влажность въ глазахъ показывали, что этотъ человѣкъ переживалъ въ это время горькую минуту, и эта горечь казалась такой странной, такъ неидущей къ Бобину.



Всю дорогу Бобинъ молчалъ; придя на бивуакъ, онъ положилъ мертваго товарища въ палатку, на то самое мѣсто, гдѣ онъ всегда спалъ, и сталъ суетиться около костра.

Любопытные снова собрались у палатки.

— И какъ это, братцы, его угодило?... разсуждали они между собою.

— Негожій былъ... все только хныкалъ...

— Ну, ты радъ и мертваго вылаять!.. Что теперь съ него взыщешь?..

— Я не лаюсь, я только говорю, что не военный онъ былъ, не военную и смерть принялъ.

— А все-жъ, братцы, жалко: тоже вѣдь человѣкъ... Опять же дома родные у него есть...

Другіе стояли молча, съ любопытствомъ заглядывая въ палатку, и только задумчиво вздыхали.

— Нехристи! хоть бы за дровами кто-нибудь сходилъ... Бога не боитесь!.. сказалъ укоризненно Бобинъ собравшимся товарищамъ.

И здѣсь Бобинъ остался вѣренъ своему характеру. Ему хотѣлось, чтобы все было сдѣлано въ порядкѣ; отогрѣвъ мертваго товарища у костра, онъ старался насколько возможно расправить ему руки и ноги; а затѣмъ, когда начальство разрѣшило похоронить Козлова, Бобинъ срубилъ большое сухое дерево и при помощи одного топора сколотилъ нѣкоторое подобіе гроба. Уложивъ въ гробъ мертваго товарища, онъ положилъ туда всѣ его вещи, не исключая сухарей, кисета и трубки, даже своего подсыпалъ табаку, потому что въ кисетѣ ничего не оставалось. На могилѣ поставилъ Бобинъ крестъ и самъ сдѣлалъ надпись: „Рядовой Осипъ Козловъ. Замерзъ 5-го декабря 1877 года“.

Послѣ того Бобинъ ходилъ мрачный, не отвѣчалъ на вопросы товарищей; а если кто-нибудь просилъ бруска топоръ поточить, Бобинъ съ строгимъ жестомъ передавалъ брусокъ, приговаривая: „у... у! сорванецъ!“

Не суждено было Бобину вернуться изъ похода домой. Въ маленькой перестрѣлкѣ у Арабоконака онъ былъ смертельно раненъ и похороненъ на томъ же бивакѣ, гдѣ и Козловъ. Подхватившіе Бобина санитары уже стали совѣ-

щаться между собой, чтобы выбросить его изъ носилокъ, какъ мертваго, и идти къ другимъ раненымъ; но вдругъ Бобинъ открылъ глаза, строго посмотрѣлъ на нихъ и сдѣлалъ послѣднее въ своей жизни начальническое замѣчаніе: „въ ногу идите!.. О... чортъ!!“

Фигура Бобина глубоко запечатлѣлась въ моей памяти. Съ вишней стороны — я вижу рябое энергичное лицо, широкія плечи и толстыя, выносливыя ноги, одѣтыя въ единственные во всей ротѣ цѣлые сапоги, которые Бобинъ оборачивалъ овчинкой, въ то время какъ другіе люди оборачивали ея собственную кожу; съ внутренней стороны я вижу въ Бобинѣ активнаго русскаго человѣка, готоваго отдать не только здоровье, но даже и жизнь „для порядка“, нужнаго для какой-то высшей цѣли, о содержаніи которой Бобинъ никогда не думалъ, предоставляя эти размышленія поставленному Царемъ начальству.



ДЕНЬЩИКЪ МОРОЗКА.

(Разсказъ).

«Господи - Владыко! произнесъ Са
вельичъ, — пропадетъ барское дитя!»
Пушкинъ («Капитанская дочка»).



В то время какъ васъ одолѣваетъ капризная, лѣнивая и не всегда честная вольнонаемная прислуга, которая вмѣсто заботъ о нашемъ спокойствіи занимается разстройствомъ нашихъ нервовъ, — въ военномъ быту процвѣтаетъ типъ деньщика, достойный стать на ряду съ лучшими представителями слугъ стараго времени. Такой деньщикъ выходитъ преимущественно изъ людей не вкусившихъ отъ городской культуры, т. е. не прошедшихъ черезъ заводъ, фабрику, лавку или барскую переднюю, гдѣ нравственность простолюдина слабѣетъ замѣчательно скоро, особенно та часть ея, которая заключается въ умѣніи отличать свое отъ чужого. Конечно, люди взятые изъ-за плуга недостаточно ловки въ качествѣ лакеевъ и въ первое время разобьютъ у васъ нѣсколько стакановъ, закоптятъ лампу, смѣшаютъ сапожную щетку съ платяной, разогрѣютъ вмѣстѣ съ обѣдомъ мороженое; но гдѣ и за какія деньги найдете вы человѣка, который, какъ днемъ, такъ и ночью, весело бѣжалъ бы на каждый вашъ зовъ со словами „радъ стараться!“ на устахъ, готовыми вылиться при малѣйшемъ съ вашей стороны одобреніи? Кто станетъ такъ бережно и такъ старательно чистить

цѣлую коллекцію вашихъ сапогъ и вашего платья, съ такимъ усердіемъ дуть въ вашъ самоваръ, съ такимъ удовольствіемъ и проворствомъ бѣгать для васъ въ лавочку, съ такой привѣтливостью встрѣчать ваше возвращеніе съ ночныхъ экскурсій и наконецъ съ такой аккуратностью, настойчивостью и даже нѣкоторой строгостью будить васъ утромъ, чтобы вы не опоздали на ученіе? Все это объясняется не только простодушіемъ нрава, но и полною рѣшимостью переносить всѣ тяжести службы — этимъ драгоцѣннымъ качествомъ нашего простого солдата. Въ данномъ случаѣ вы (офицеръ) являетесь для него единственнымъ предметомъ служебныхъ заботъ, отцомъ и начальникомъ, а иногда и дѣтищемъ, за которымъ нужно присмотрѣть, чтобы оно не вышло на улицу не по формѣ одѣтымъ, не опоздало на ученіе, не забыло принять лѣкарство, надѣть фуфайку въ большой морозъ и т. д. Вы сами не замѣчаете, какъ вы избаловываетесь въ рукахъ у такого человѣка, какимъ становитесь бариномъ, капризничая въ постели, когда васъ будятъ на ученіе, или думая о приключеніяхъ вчерашняго дня и не замѣчая, какъ въ это время чьи-то заботливыя руки обдергиваютъ вамъ мундиръ, пристегиваютъ пашку, прячутъ ушки въ сапогахъ, и какъ наконецъ васъ провожаютъ словами: „пожалуйте, ваше высокоблагородіе, — все готово“.

Иногда такія заботы бываютъ чрезвычайно трогательны; такъ, напримѣръ, мы слышали отъ одного офицера, который имѣетъ привычку съѣзжать головой съ подушки во время сна, какъ деньщикъ, по своей собственной охотѣ, вставалъ по нѣсколько разъ въ ночь, чтобы поправить голову своему барину; а кто не знаетъ извѣстнаго разсказа о деньщикѣ, который въ послѣднюю войну, съ терпѣніемъ и выносливостью негра, тащилъ на спинѣ чемоданъ своего барина, долженствовавшій быть выброшеннымъ за убылью лошадей въ обозѣ? Были и такіе, которые выносили своихъ раненыхъ офицеровъ изъ огня и сами платились болѣе или

менѣ тяжкими ранами, и все это дѣлалось безъ всякаго ожиданія выгодъ, а просто за доброе слово, за ласковое обращеніе, которымъ можно довести деньщика до удивительной преданности. Такіе деньщики нерѣдко остаются у своихъ господъ и по окончаніи службы, отказываясь отъ выгодныхъ мѣстъ на сторонѣ.

Для большей наглядности, приведемъ характеристику одного деньщика, который соединялъ въ себѣ многія черты современной офицерской прислуги. Звали этого человѣка — Иванъ Морозовъ, а солдаты переименовали его въ „Морозку“. По росту и по развитію корпуса ему надлежало бы служить въ гвардіи, но онъ попалъ въ армейскій полкъ, потому что былъ, какъ выражаются солдаты, „косолапый“, что однако не мѣшало ему шустро бѣгать, не стѣсняясь пространствомъ, при чемъ, возвращаясь съ дальнихъ посылокъ, онъ никогда не обнаруживалъ болѣзненной усталости, а только дышалъ часто и здѣрово, какъ дышатъ добрые кони послѣ быстрого аллюра. Нѣкоторая ненормальность въ строеніи ногъ, по свидѣтельству самого Морозки, объяснялась не болѣзнью, а особой породой людей въ одномъ изъ уѣздовъ Пермской губерніи. Широкое, здоровое и слегка рябое лицо Морозки, бѣлые зубы, чистые глаза, твердые мускулы, — все это (вопреки мнѣнію ученыхъ, пишущихъ трактаты о бѣлкѣ) свидѣтельствовало о необычайной питательности доброй краюхи чернаго хлѣба и пустыхъ щей, которыми этотъ человѣкъ кормился дома. Кисти рукъ Морозки были до того велики, что тарелка, поставленная на ладонь, казалась блюдечкомъ; пальцы были тупые и мясистые, что ставило его въ затрудненіе при подыманіи съ пола маленькихъ предметовъ; такъ, напримѣръ, подымая иголку, онъ захватывалъ ее не ногтями, а налѣпливалъ на большой палецъ, снабдивъ его достаточнымъ количествомъ слюны.

Будучи новобранцемъ, Морозка занимался старательно, но наука ему не давалась, особенно такъ-называемая „словесность“; достаточно было видѣть, какъ этотъ сильный человѣкъ потѣлъ и вздыхалъ надъ этой словесностью, чтобы вывести заключеніе, что для него гораздо легче выгрузить цѣлый транспортъ съ мукой, чѣмъ усвоить понятіе о „знамени“, „дисциплинѣ“ и тому подобныхъ вещахъ. Гимнастика тоже не шла гладко, и не потому, чтобы у Морозки не было силы или размаха въ движеніяхъ, — напротивъ, онъ могъ прыгать гораздо шире своихъ товарищей, — но какъ-то грузно наваливался на машины, заставляя ихъ трещать, а главное — руки у него всегда оказывались не туда выброшенными, куда указывалъ дядька, и ничего онъ съ этими руками не могъ подѣлать, несмотря на то, что думалъ о нихъ даже по ночамъ. По грамотности Морозка выучилъ преимущественно тѣ буквы, которыя входятъ въ составъ его фамиліи, но и тѣ писалъ сбивчиво, и хотя часто практиковался, но все-таки у него выходило не „Морозовъ“, а „МОРОСОУФЪ“. Словомъ, успѣхъ по службѣ Морозки былъ неваженъ, и новобранецъ значительно похудѣлъ, несмотря на то, что перешелъ отъ пустыхъ щей къ полуфунтовой дачкѣ говядины. Не худѣлъ онъ такъ дома даже и въ голодные годы, когда мякина возводится на степень продукта. Скучно стало Морозкѣ.

„Не быть мнѣ солдатомъ, не выучиться!“ думалъ онъ иногда по вечерамъ.

Но его выручилъ ротный командиръ, которому понадобился деньщикъ. По традиціямъ, капитанъ всегда въ такихъ случаяхъ совѣтовался съ фельдфебелемъ.

— Вотъ что, Егорычъ, мнѣ бы того... деньщика... ну такого, чтобы честный былъ, расторопный, и все такое..

— Такъ что, ваше в-діе, осмѣлюсь вамъ доложить, возьмите Морозку.

— Глуповать немного.

— Никакъ нѣтъ... это онъ только по словесности, а въ работѣ онъ человѣкъ съ понятіемъ... Очинно дюже стараться будетъ... и опять же я приду подшустрить маленько.

— А позови-ка его сюда!

— Шши! зашишѣлъ фельдфебель. — Морозку къ капитану!

И нѣсколько шустрыхъ „посылочныхъ ефрейторовъ“ „духомъ“ бросились за Морозкой.

Недоумѣвающая и слегка испуганная фizioномія новобранца предстала предъ капитаномъ.

— Я хочу тебя взять въ деньщики послѣ лагерей, а а пока вѣстовымъ побудешь... желаешь?

— Не могу знать, ваше в-діе, воля ваша.

— Ну, если не можешь знать, то говори „хочу“, когда спросятъ.

— Слушаю, ваше в-діе!

Такимъ образомъ Морозка попалъ въ деньщики. На квартиру къ капитану онъ былъ приведенъ фельдфебелемъ, который сдалъ ему всѣ вещи: самоваръ, сапоги, платье, щетки, посуду и т. д. Особенную симпатію почувствовалъ Морозка къ самовару и къ лакированнымъ сапогамъ; мундировъ же нѣсколько боялся, услыхавъ отъ фельдфебеля, что къ нимъ нельзя прикасаться, не помывъ руки съ мыломъ; онъ старался держать мундиръ элегантно, двумя пальцами, и чистилъ осторожно, какъ стеклянную вещь; по лакированнымъ голенищамъ, не знаячи, мазнулъ ваксой, за что и получилъ отъ „дяди“ Ивана Егорыча (такъ звали солдаты фельдфебеля) трепокъ за носъ и нисколько на это не обидѣлся, потому что такой же трепокъ практиковался Егорычемъ и по отношенію къ учителямъ, когда они притѣсняли новобранцевъ. Этотъ приѣмъ изобрѣтенъ былъ „дядей“ не такъ давно, а именно, когда лопнувшая барабанная перепонка въ ухѣ одного солдата была поводомъ къ привлеченію одного изъ фельдфебелей къ суду.

Вообще первое время Егорычъ нѣсколько суетилъ деньщика, и Морозка, неопытный въ обращеніи съ барскими вещами, только тогда чувствовалъ свою стихію, когда посылалъ былъ за дровами, которыя приносилъ огромными охапками, нисколько при этомъ не уставая; при вытираніи же стакановъ руки его дрожали и потъ градомъ катился съ лица отъ волненія при обращеніи съ хрупкими вещами; онъ какъ-то выскользали изъ его толстыхъ пальцевъ, больше привыкшихъ обращаться съ полѣньями и вообще грубыми и крупными предметами.

Въ первый же день Морозка отличился, насмѣшивъ своего капитана и другого офицера, бывшаго у него въ гостяхъ. Дѣло въ томъ, что онъ получилъ приказаніе принести два обѣда по полтиннику отъ какого-то Андреева, не зная ни расположенія города, ни улицы, въ которой этотъ Андреевъ живетъ; несмотря на это, онъ справился весьма быстро, направляемый прохожими, которыхъ онъ останавливалъ вѣжливымъ вопросомъ:

— Скажите пожалуйста, землячокъ, игдѣ здѣсь будетъ этотъ самый Андреевъ, что пищу зготовляетъ для господъ?

Обѣдъ начался рядомъ неудачъ: во-первыхъ, Морозка разогрѣлъ компотъ и маіонезъ; а подавая господамъ жаркое, хотѣлъ поровну между ними раздѣлить и для этого запустилъ уже пальцы въ судокъ, вытаскивая за ножку цыпленка, но былъ во-время остановленъ капитаномъ. Все это было сопряжено съ большимъ волненіемъ для Морозки, а крупныя капли пота на лицѣ, мокрая рубашка на тѣлѣ и ежеминутная потребность сморкаться, выражаемая энергичнымъ фырканьемъ, свидѣтельствовали о томъ избыткѣ старанія, далѣе котораго человѣкъ уже не можетъ идти. Въ концѣ обѣда, въ видѣ заключительнаго акта, Морозка выложилъ передъ капитаномъ два пятака и такъ былъ радъ благополучному окончанію перваго своего дебюта, что позволилъ себѣ высморкаться по-солдатски, т. е. на полъ. Капитанъ,

озадаченный выложенными пятаками, не обратил даже вниманія на это неприличіе.

— Что это за деньги?

— Издача, ваше в-діе.

— Какая сдача? Вѣдь обѣды стоятъ по полтиннику?

— Такъ что, ваше в-діе, дядя Иванъ Егорычъ наказывали во всякомъ продуктѣ торговаться. Насилу выторговаль, просиль-просиль — ничего не вступаютъ!

Офицеры разсмѣялись и стали ему объяснять, что нѣкоторые предметы имѣютъ опредѣленную цѣну; но Морозка долго этого не понималъ и, наставляемый Егорычемъ, торговался во всемъ. Разъ онъ до того упрашивалъ лавочника, что тотъ сжалился и продалъ ему марку копѣйкой дешевле ея стоимости, при чемъ Морозка взялъ грѣха на душу, сказавъ, что марку покупаетъ не для капитана, а для себя.

Черезъ мѣсяцъ Морозка вполнѣ вошелъ въ свою роль. На кухнѣ, гдѣ онъ помѣщался, образовался уютный уголъ. Кровать съ выслужившимъ срокъ барскимъ матрасомъ, сундучокъ, табуретъ и разная мелочь для солдатскаго обихода, составляли обстановку этого угла и распространяли особый, жилой запахъ, въ которомъ сильнѣе всего чувствовалось присутствіе чернаго сапожнаго товара.

Морозка никогда не сидѣлъ сложа руки, а все что-нибудь мылъ или чистилъ. Особенное усердіе и, можно сказать, ласковые приемы, употребляемые имъ при чисткѣ самоара, свидѣтельствовали о его симпатіи и уваженіи къ этому предмету. На первыхъ же порахъ, Морозка очень пристрастился къ чаю и любилъ распивать его съ нѣкоторой важностью, сидя на табуретѣ и положивъ ногу-на-ногу. Онъ, какъ говорится, смаковалъ чай въ разныхъ видахъ: то нальетъ въ блюдечко и пьетъ въ прикуску, обмакивая кусочекъ сахара и наблюдая, какъ съ каждымъ глоткомъ очи-

щается рисунокъ на днѣ блюдечка; то прямо пьетъ изъ стакана, распустивъ тамъ кусочекъ сахара; пилъ по шести стакановъ и больше; но разъ попробовалъ сдѣлать опытъ — положилъ всѣ три куска, каждый разъ жалующие ему капитаномъ, въ одинъ стаканъ и съ тѣхъ поръ постоянно уже пилъ въ накладку, какъ большинство деньщиковъ.

Капитанъ мало занимался съ Морозкой, почти не училъ его, предоставляя всю науку Егорычу; онъ всегда бывалъ озабоченъ то службой, то какими-то частными дѣлами. Въ послѣднее же время сердце его занято было одной дѣвицей, семья которой ежемѣсячно приглашалась на раутъ къ нему, а мѣсто хозяйки занимала въ этихъ случаяхъ его тетка. Морозка къ такимъ раутамъ приготовлялся за нѣсколько дней: стригся, ходилъ въ баню, растягивалъ нитяныя перчатки, не налѣзавшія на его пальцы, и нѣсколько разъ передѣлывалъ подаренный съ барскаго плеча сюртукъ, въ которомъ были уже распущены всѣ запасы. Въ виду важности случая, капитанъ самъ дѣлалъ ему репетицію поднесенія барынямъ яблокъ, но всѣхъ неловкостей деньщика онъ, конечно, не могъ предусмотрѣть. Были у Морозки и глубоко вкоренившіяся выраженія, которыхъ никакъ нельзя было передѣлать; такъ, напримѣръ, предлагая капитану чаю, онъ всегда спрашивалъ: „ваше в-діе, чай будешь пить?“, а о собакѣ даже въ третьемъ лицѣ говорилъ: „они гуляютъ“.

Полагая, что къ такимъ недостаткамъ деньщика читатель отнесется снисходительно; но у Морозки были и другіе недостатки, можно сказать скверные. Но кто знаетъ натуру русскаго простолюдина и характеръ его домашняго воспитанія, тотъ способенъ допустить нѣкоторые компромиссы въ оцѣнкѣ его нравственности. Морозка (прошу читателя не удивляться) былъ воръ, но воръ безвредный и даже, можно сказать, симпатичный. Это воровство не шло дальше трехъ кусковъ сахара, одной или двухъ папиросъ, кусочка какого-нибудь лакомства и т. д. Сахаръ требовался

для лишняго стакана чаю; папиросы были необходимы для того, чтобы, одѣвшись въ подаренный бариномъ сюртукъ и лихо подбоченясь, пофигитить передъ другими деньщиками съ папироской въ зубахъ, въ то время, когда господа уходять на ученіе; въ сладкомъ же является болѣзненная потребность у каждаго человѣка, вкусившаго отъ барскаго стола. вмѣстѣ съ тѣмъ Морозка былъ и мошенникъ, но опять же въ такой легкой степени, какъ и воръ: дайте вы ему какого-нибудь матеріала для починки, непременно частица этого матеріала, иногда совершенно ему ненужная, очутится у него въ сундукѣ: кусочекъ кожи, тряпка, часть выданныхъ нитокъ и т. д. Подробный анализъ этого явленія занялъ бы много мѣста; поэтому мы ограничимся краткимъ разъясненіемъ. Дѣло въ томъ, что русскій простолюдинъ, даже въ богобоязненной семьѣ, руководится въ воспитаніи своихъ дѣтей особымъ кодексомъ нравственности: на примѣръ, мать, посылающая дѣтей воровать луковицу у сосѣда, будетъ ихъ сѣчь съ ожесточеніемъ, если они украдутъ копѣйку, вещь или, какъ говорятъ въ простонародьи, „штуку“. Такимъ образомъ отвращеніе, питаемое простолюдиномъ къ воровству денегъ и „штукъ“, всасывается съ молокомъ матери и пріобрѣтаетъ силу желѣзной привычки. У людей рано попавшихъ на заводъ, на фабрику или въ развращенную господскую переднюю, эта привычка иногда притупляется; но бываютъ стойкія натуры, которыя выдерживаютъ всякую обстановку. Обстановка же деньщика, при малѣйшемъ вниманіи къ нему со стороны офицера, не можетъ подавать поводовъ къ притупленію такой привычки, и если есть деньщики, обворовывающіе своихъ офицеровъ, то смѣло можно сказать, что все это люди имѣвшіе раньше къ тому задатки. Предположеніе, что отъ трехъ кусковъ сахару — прямой переходъ къ настоящему воровству, на нашъ взглядъ представляется грубымъ непониманіемъ народныхъ привычекъ; а потому на всякія опасенія относительно нравственности

Морозки, даже капитанъ, который въ сущности мало его зналъ, могъ бы отвѣчать только иронической улыбкой. А опытный и мудрый Егорычъ, великій знатокъ солдатской натуры, могъ бы даже присягой засвидѣтельствовать, что этого никогда не случится.

Капитанъ — человѣкъ добродушный и снисходительный — никогда не вдумывался въ поведеніе Морозки, но отлично понималъ, что это не воровство, а какая-то стихійная привычка простого народа полакомиться кусочкомъ чего-нибудь барскаго. Ему было какъ-то неловко дѣлать на этотъ счетъ замѣчаніе: во-первыхъ, онъ не былъ, какъ говорится, скопидомомъ; во-вторыхъ, онъ сознавалъ, что всякій упрекъ въ воровствѣ глубоко оскорбляетъ простолюдина и внушаетъ ему брезгливое чувство къ барину, которому жалко какого-нибудь кусочка сахара. Именно въ такомъ смыслѣ Морозка понималъ бы упрекъ капитана.

Чтобы обходнымъ путемъ противоdѣйствовать привычкамъ Морозки, капитанъ попробовалъ выдавать ему сахаръ въ видѣ мѣсячной дачки; но дачку пряталъ Морозка въ сундукъ вмѣстѣ съ кусочками кожи, сломаннымъ барскимъ пожикомъ, подареннымъ бѣльемъ и т. д., и въ свободное время любовался этими предметами, раскладывая ихъ на койкѣ; сахаръ же иногда ѣлъ послѣ обѣда, бойко и съ шумомъ разрушая его своими бѣлыми зубами, а потомъ сталъ продавать его. Но классическіе три кусочка продолжали пропадать попрежнему, и потому капитанъ счелъ за благо выдавать Морозкѣ вмѣсто сахару денегъ.

Однажды капитанъ проигрался въ карты и, поужинавъ на послѣдніе пять рублей, вернулся домой безъ копѣйки.

— Морозка! сказалъ онъ на другой день, — ты сегодня пойдеши за обѣдомъ, такъ скажи, что послѣ заплатишь... у меня сейчасъ нѣтъ денегъ...

— Ваше в-діе, сказалъ Морозка съ безпокойствомъ, — у меня есть, извольте...

И онъ принесъ капитану всѣ имѣвшіяся у него деньги.

— Зачѣмъ, зачѣмъ! сказалъ капитанъ отстраняя. — А вотъ насчетъ папиросъ, — не знаю, есть-ли у меня тамъ въ коробкѣ?

— И папиросы есть... тамъ остались... сказалъ Морозка, и принесъ всѣ папиросы, похищенные въ разное время у барина и хранившіяся въ сундучкѣ.

По лицу Морозки было видно, что ему отъ души жаль барина, и что онъ готовъ отдать все имущество, чтобы только баринъ не бѣдствовалъ.

Капитанъ всегда бывалъ тронутъ такимъ поведеніемъ деньщика, и со своей стороны обдумывалъ, что бы ему такое



подарить. Въ данномъ случаѣ онъ остановился на второй

парѣ или, какъ выражался Морозка, на „второмъ срокѣ“ лакированныхъ сапогъ, которые уже были достаточно изношенными. Прежде чѣмъ судить о значеніи такого подарка, необходимо замѣтить, что сапожное ремесло Морозка уважалъ чрезвычайно и уже сталъ было въ ротѣ приучаться сапожничать, когда былъ взятъ въ деньщики. Онъ и теперь постоянно возился съ шиломъ и дратвой, но однако, кромѣ подобія туфель, выкроенныхъ изъ старыхъ голенищъ, до сихъ поръ ничего не могъ сдѣлать. Если бы кто-нибудь спросилъ Морозку, что онъ считаетъ самымъ красивымъ въ человѣческомъ убранствѣ, то онъ, не задумываясь, назвалъ бы французскіе лакированные сапоги.

Какова же была его радость, когда капитанъ поднесъ ему этотъ подарокъ! Онъ былъ такъ счастливъ, что не вѣрилъ мысли о томъ, что онъ дѣйствительный владѣлецъ этихъ сапогъ, и думалъ, что это сонъ. Онъ ихъ то снималъ съ колодокъ, то опять одѣвалъ, подносилъ къ огню, любовался, и сладкую минуту — увидѣть эти сапоги на своихъ ногахъ — какъ будто старался отдалить. „А вдругъ не придутся?“ подумалъ онъ, и его бросило въ жаръ. Нервно, дрожащими отъ волненія руками, онъ сталъ быстро стаскивать свои дегтярные сапоги и попробовалъ надѣть подаренные. Но, ужасъ! Его ноги по отношенію къ этимъ сапогамъ оказались такими же, какъ бичевка по отношенію къ игольному ушку. На минуту Морозка какъ бы одурѣлъ и сталъ съ остервенѣніемъ тащить за сапожныя ушки, но они стали трещать, и Морозка, весь мокрый отъ волненія, готовъ былъ плакать надъ своимъ разочарованіемъ.

Мысль о томъ, что если сапоги и не припились на ноги, то они во всякомъ случаѣ „штука“, которую можно обратить въ деньги, пришла Морозкѣ только къ вечеру, а утромъ на другой день всѣ деньщики, а слѣдовательно и вся улица, знали, что капитанскій деньщикъ продаетъ настоящіе сапоги французскаго лаку, и лѣстница, ведущая въ капитанскую

квартиру, сбѣлалась черезъ это чрезвычайно оживленной, похожей на аукціонный залъ. На ней толпились люди разныхъ профессій: человекъ шесть деньщиковъ, два татарина, сидѣльцы изъ мясной и изъ табачной лавокъ и одинъ на-стоящій лакей съ окуркомъ сигары въ зубахъ, очевидно принадлежащій по крайней мѣрѣ къ третьему поколѣнію передней, судя по его маленькимъ, выродившимся ногамъ, на которыя могли бы прійтись всякіе барскіе сапоги. Въ то время, какъ другіе съ жаромъ торговались, онъ только про-низировалъ и для пущей важности не выпускалъ окурка изъ зубовъ, несмотря на то, что онъ жегъ уже его губы. Однако и онъ не прочь былъ сорвать сапоги за три рубля.

Морозка стоялъ на пятнадцати и не шелъ ниже ни на одну копѣйку, и если аукціонъ затягивался, то только по-тому, что обѣимъ сторонамъ нравился процессъ торговли.

— Ты хочешь продать сапоги? спросилъ капитанъ, уви-давъ расходившуюся съ лѣстницы компанію.

— Никакъ нѣтъ, ваше в-діе! Кому тутъ продавать? Развѣ это народъ образованный?.. Что-жъ они понимаютъ, когда всего три рубля даютъ.

Такимъ образомъ эпизодъ съ сапогами закончился. Они были сняты съ колодокъ, безжалостно свернуты въ трубки и положены въ почетный уголъ въ сундукъ, гдѣ и храни-лись, какъ любимѣйшая изящная вещь у собирателя рѣд-костей.

Мало-по-малу между Морозкой и капитаномъ установи-лись самыя хорошія отношенія. Капитанъ былъ человекъ сдержанный, не допускалъ лишнихъ разговоровъ съ солда-тами, но со стороны Морозки не только допускалъ, но даже и любилъ нѣкоторыя фамильярности, въ которыхъ чув-ствовалась любовная жилка деньщика къ своему барину. Если Морозка замѣчалъ, что баринъ начинаетъ скучать или

бываетъ чѣмъ-нибудь недоволенъ по службѣ, то считалъ, что чай въ этихъ случаяхъ можетъ служить большимъ утѣ-шеніемъ.

— Ваше в-діе, чай будешь пить?

— Не „будешь“, а „будете“, дуракъ!

— Такъ точно, ваше в-діе, виновать!

Подавъ чай, Морозка обыкновенно становился у дверей и, видя что баринъ разстроенъ, начиналъ утѣшать его или занимать какими-нибудь сплетнями. Однажды онъ узналъ, что командиръ сильно разнесъ капитана на ученіи. Капи-танъ въ такихъ случаяхъ всегда сердился и придирался къ Морозкѣ.

— Ну, что ты торчишь здѣсь?.. Что тебѣ нужно?

— Такъ что, ваше в-діе, „оны“ не сердятся: „оны“ только такъ кричатъ, для порядку... Давича въ третьей ротѣ на кухню зойшли и за „говядину“ страсть бранились...

— Кто „они“?.. Что ты такое мелешь?

— Командиръ, ваше в-діе.

— А я тебя объ этомъ спрашиваю?

— Такъ точно, ваше в-діе, виновать!

— Ступай себѣ.

Морозка повернулся.

— Стой! Что такое ты говоришь въ третьей ротѣ?..

— „Говядина“, почитай, что на половину не потянула. Порціи маленькія, страсть!..

— Ну, ладно, ступай! и не смѣй никогда сплетничать; ты знаешь, я этого не люблю.

Морозка опять повернулся.

— Стой! Когда же это было?

— Учerasь, ваше в-діе. Давича Иванъ Егорычъ ска-зывали.

— Вчера за обѣдомъ?

— Такъ точно!

— А позови-ка сюда Егорыча.

Такия сцены повторялись чуть не каждый день, и Морозка был не настолько глупъ, чтобы не понимать, что капитанъ любитъ, когда ему что-нибудь рассказываютъ.

Въ одномъ только Морозка не могъ угодить своему барину, а именно не умѣлъ будить его передъ ученьемъ, и постоянно подвергался за это выговорамъ. Ужъ онъ будилъ и деликатно, и строго, и даже грубо, и все-таки ничего не могъ подѣлать. Сцены, которыя при этомъ разыгрывались, были въ высшей степени комичны.

— Ваше в-діе! ваше в-діе! а ваше в-діе!

— Что тебѣ нужно?

— Семь часовъ.

— Слышу! ступай прочь!

Видя, что баринъ опять засыпаетъ, Морозка снова начинаетъ приставать.

— Ваше в-діе! ей-Богу, опоздаете... Не хорошо...

— Ну, чего ты орешь? вѣдь я слышалъ... Сейчасъ встаю.

— Ваше в-діе! Четверть восьмого... О, Господи! опять опоздаютъ,—ну, что я съ ними подѣлаю?

— Да убирайся же! Ну, чего ты ко мнѣ пристаешь? Вѣдь я тебѣ сказалъ, что я встаю.

Морозка начинаетъ шумѣть, двигать мебель въ комнатѣ, притворяясь, что убираетъ.

— Ну, чего ты тутъ разстучался? Спать не даешь... Пошелъ прочь!

— Ваше в-діе! куда-жъ спать, когда сейчасъ ученіе... Господи!

— Ахъ да, ученіе,—да! Сейчасъ встаю.

Капитанъ даже приподнялся немного, но вдругъ опять легъ и задремалъ. Пробило половина восьмого. До занятій оставалось всего полчаса.

— О, Господи! простоналъ Морозка и, вбѣжавъ въ спальню, крикнулъ громко и какъ будто съ испугомъ: — ваше в-діе! командиръ пойдутъ по казармамъ.

— Что? что? Командиръ?... Пошелъ по казармамъ?... вострепенулся капитанъ и спустилъ ноги съ постели.

— Такъ точно, ваше в-діе,— я такъ думаю, что пойдутъ.

— Глупости! сказалъ капитанъ съ неудовольствіемъ.— Ступай себѣ!.. А, впрочемъ, стой! давай одѣваться.

Однажды капитанъ нѣсколько ночей подъ-рядъ игралъ въ карты и подъ утро такъ сильно засыпалъ, что разбудить его не было никакой возможности. Морозка даже начиналъ плакать, но и это не помогало. Опаздывая на занятія, капитанъ имѣлъ серьезныя непріятности и каждый разъ набрасывался на Морозку:

— Это ты виноватъ! Ну, что ты за деньщикъ, если и разбудить, какъ слѣдуетъ, не умѣешь!.

— Ваше в-діе! сказалъ Морозка сквозь слезы,— всѣми силами стараюсь, а только не могу знать, какъ и быть...

— Не могу знать! передразнилъ капитанъ.— Отчего-жъ другіе деньщики знаютъ? Ну, если не встаю, тащи меня съ постели, ругай, наконецъ,—что хочешь дѣлай.

— Такъ что, ваше в-діе, я не смѣю.

— Я тебѣ приказываю.

— Слушаю, ваше в-діе.

На слѣдующій день повторяется прежняя сцена. Наконецъ Морозка выходитъ изъ терѣбія. Робко, съ бьющимся сердцемъ, начинаетъ онъ ругать барина.

— Вишь развалились, какъ корова, а съ меня взыскиваете...

— Что? что? что ты сказалъ?!

— Ничего не сказалъ... сами приказали ругаться.

Морозка опустилъ глаза и смотрѣлъ въ сторону; ему такъ стыдно стало, что онъ выругалъ барина. Эта любопытная сцена разсѣяла капитану сонъ.

— Спасибо! хорошо будишь! Только въ другой разъ уже не ругайся.

— Радъ стараться, ваше в-дѣ!... Миѣ и то стыдно стало, ей-Богу!

Только черезъ нѣсколько мѣсяцевъ изобрѣлъ Морозка вѣрный способъ будить капитана: онъ потихоньку сдергивалъ съ него одѣяло и, несмотря на крикъ барина, не отставалъ отъ него до тѣхъ поръ, пока онъ не начиналъ одѣваться.

Особенную заботливость проявлялъ Морозка, когда капитану приходилось чѣмъ-нибудь болѣть; въ серьезныхъ случаяхъ онъ переносилъ свой матрацъ къ дверямъ спальни своего барина, прислушивался ночью, не стонетъ-ли онъ, а если было нужно, то и вставалъ подавать лѣкарство. Невольно подумаешь, отчего онъ не проявлялъ и не способенъ былъ проявлять такой заботливости по отношенію къ отцу, матери, женѣ? Вѣдь и они же болѣли, подобно барину, а онъ себѣ преспокойно ходилъ въ это время работать, и на всякій вопросъ по этому поводу навѣрно бы отвѣтилъ: „Намъ некогда этими дѣлами заниматься“.

Будучи единственнымъ сторожемъ барской квартиры, Морозка чрезвычайно заботился, чтобы барина какъ-нибудь не обокрали. На ночь онъ всегда запираетъ дверь на ключъ и на крючокъ, который, для вѣрности, всегда приколачивалъ кулакомъ. Если ночью кто-нибудь звонилъ, то Морозка по нѣскольку разъ спрашивалъ, чтобы узнать голосъ, а въ сомнительныхъ случаяхъ чѣмъ-нибудь вооружался при отпирании двери. Ложась спать, онъ, какъ бы ненарочно, клалъ около кровати топоръ; спалъ чрезвычайно чутко и иногда пугался, когда баринъ зачѣмъ-нибудь вставалъ ночью, воображая, что это не баринъ, а злодѣй.

Однажды, часу въ третьемъ ночи, онъ услышалъ возню въ комнатѣ, сосѣдней со спальней.

„Э! да это не баринъ; ей-Богу, не баринъ!“ подумалъ онъ и побѣжалъ туда съ топоромъ.

— Эй, кто здѣсь, озовись! сказалъ онъ, занимая позицію у двери, ведущей въ спальню.

Отвѣта не было.

— Озовись, говорю... ей-Богу, худо будетъ!

Капитанъ тоже проснулся, зажегъ свѣчу и увидѣлъ слѣдующую картину: Морозка стоялъ у дверей съ занесеннымъ топоромъ, а у противоположной стѣны подъ стуломъ сидѣлъ огромный котъ, который тотчасъ же изогнулъ спину и въ одинъ прыжокъ очутился на окнѣ, откуда выпрыгнулъ въ форточку.

— Вишь, окаанный! Фу ты, Господи, какъ здорово напужалъ!..

Капитанъ сдѣлалъ выговоръ за открытую форточку, но съ тѣхъ поръ сталъ питать къ Морозкѣ чувство, которое люди питаютъ къ своимъ вѣрнымъ тѣлохранителямъ, и потому былъ очень радъ, когда походъ 1877 года пришлось совершать съ этимъ преданнымъ деньщикомъ.

Въ походѣ Морозка оказался золотымъ человѣкомъ; самоваръ носилъ за плечами, обхвативъ его продѣтымъ въ ушки большимъ кухоннымъ полотенцемъ, и, не доходя полверсты до привала, наполнялъ его водой и торжественно несъ передъ собою, заставляя другихъ деньщиковъ подкидывать уголья. Такимъ образомъ капитанъ и его ближайшіе товарищи всегда имѣли на привалѣ готовый чай и спокойно распивали его въ то время, какъ другіе офицеры ворчали на своихъ деньщиковъ.

Въ походѣ почти всѣ пѣхотные офицеры завели верховыхъ лошадей; но этихъ лошадей, въ зимнее время, часто постигала безкормица; особенно было трудно на одной позиціи, въ горахъ, гдѣ онѣ довольствовались вырытою солдатами изъ-подъ снѣга мерзлою травой, но больше стояли, понурия головы, или, какъ выражались солдаты, „читали газеты“. Каково же было общее удивленіе, когда у капитана оказалось сѣно не только для лошади, но и для подстилки въ палаткѣ!

Морозка доставалъ сѣно по ночамъ, совершая для этого таинственные и продолжительныя экскурсіи, которыхъ никому не удалось прослѣдить. Всѣ думали, что онъ воруетъ его у артиллеристовъ, но скоро обнаружилось, что онъ достаётъ у „ево“, т. е. у непріятеля.

Дѣйствительно, поблизости отъ непріятельскихъ аванпостовъ виднѣлся стожокъ, порядочно уже начатый; но кто бы могъ отважиться приблизиться къ этому стожку?

Однажды ночью на аванпостахъ поднялась перестрѣлка; стрѣляли и турки, и наши въ какую-то крупную фигуру, одѣтую въ полушубокъ, которая быстро бѣжала съ какою-то ношей.

— Вишь, обалдѣли! черти! Нѣшто не видите, что свои! кричалъ Морозка, скидывая съ плечъ вязанку сѣна и садясь на нее отдыхать.

— Морозка! лѣшій!.. Ну, голова!.. удивлялись обступившіе его солдаты.

Послѣ этого не только деньщики, но и офицеры стали смотрѣть на Морозку съ уваженіемъ. Впрочемъ, среди деньщиковъ Морозка еще раньше заручился нѣкоторымъ почтеніемъ, несмотря на то, что въ первое время похода надъ нимъ сильно подтрунивали. Дѣло вышло изъ-за капитанской щетки, которой хотѣлъ завладѣть одинъ изъ деньщиковъ.

— Куда тащишь? Это наша съ бариномъ щетка! закричалъ Морозка.

— Нѣтъ, наша! отвѣчалъ деньщикъ.

— Да что ты, обалдѣлый! Нѣшто я своихъ щетокъ не знаю?

— А не знаешь. Кабы зналъ — не шумѣлъ!

Морозка схватился за щетку, и между деньщиками завязалась борьба. Бились жестоко, при чемъ Морозка, поваливъ деньщика на-земь, сталъ душить его колѣнами. Солдаты бросились ихъ разнимать.

— Что ты, съ ума сошелъ? сказали выскочившіе изъ палатокъ офицеры, — вѣдь ты могъ убить его!

— Такъ точно, ваше в-діе, потому — щетка моего барина.

— Да вѣдь щетка пустяки; а ты могъ человѣка убить.

— Такъ точно, ваше в-діе, потому кабы я не зналъ, а то я гораздъ знаю, что щетка наша съ бариномъ, — вотъ и помѣтка есть.

Словомъ, Морозка не хотѣлъ понимать никакихъ разъясненій, и смыслъ его отвѣта былъ непоколебимъ: если щетка „наша съ бариномъ“, то онъ готовъ былъ стоять за нее не хуже любого часового.

Морозка былъ мастеръ промышлять и насчетъ провизіи, а потому у капитана иногда оказывалась на второе блюдо курица или утка, въ то время какъ другіе офицеры кромѣ говядины ничего не имѣли. Появилась и какая-то восточная посуда, и на вопросъ: „Что это за миска?“ Морозка отвѣчалъ: „Это болгарская“.

Во время сильныхъ холодовъ офицеры рѣшили изъ двухъ палатокъ составить одну, съ двойнымъ полотномъ. Такимъ образомъ въ одной палаткѣ тѣснилось нѣсколько человѣкъ, и каждому изъ нихъ прислуживалъ свой деньщикъ. Осторожно отодвигая уголь палатки, чтобы не напустить холода, и ползя на брюхѣ, деньщики подавали своимъ господамъ чай и кушанья; но неловкій Морозка, вваливаясь своей грузной фигурой, не только напускалъ холода, но и опрокидывалъ стоящую въ палаткѣ свѣчу. Офицеры подымали крикъ каждый разъ, когда онъ влѣзалъ. Опечаленный Морозка долго думалъ и наконецъ изобрѣлъ способъ, который потомъ былъ принятъ во всемъ отрядѣ: тихонько приподымая маленькій уголокъ палатки, онъ подавалъ чай своему барину на лопатѣ.

Ни съ кѣмъ изъ деньщиковъ Морозка особенно не сходился и даже не ночевалъ съ ними въ палаткѣ, гдѣ они грѣлись, плотно прижавшись другъ къ другу. Постелью для

Морозки служила овальная ямка, въ которую онъ насыпалъ горячихъ угольевъ передъ вечеромъ и выгребалъ ихъ передъ тѣмъ, какъ ложиться спать. Только одинъ деньщикъ изъ хохловъ пользовался покровительствомъ Морозки. Звали его Стасюкъ. Это было жалкое существо, совсѣмъ не военное; онъ смотрѣлъ на Морозку съ благоговѣніемъ, во всемъ его слушался и ночевалъ съ нимъ въ ямкѣ подъ общимъ брезентомъ, которымъ покрывались барскія вещи.

Стасюкъ былъ, такъ сказать, подручнымъ у Морозки. Такую роль всегда исполняетъ менѣе шустрый деньщикъ у болѣе шустрого, а тѣмъ болѣе въ походѣ, гдѣ бойкому деньщику частенько приходится отлучаться на разные промыслы; а потому является необходимость временно оставлять барскія вещи подъ присмотръ такого существа, которое, въ случаѣ надобности, можно поругать и побить. Шустрые деньщики не только берутъ подъ свое покровительство своихъ неповоротливыхъ товарищей, но и прислуживаютъ ихъ господамъ, надѣлая ихъ разными продуктами, добытыми въ непріятельской странѣ.

Стасюкъ до того раздражалъ своего барина, что онъ въ буквальный смыслъ жаловался на него Морозкѣ.

— Морозка! Ну, посмотри, что онъ съ мундиромъ дѣлаетъ! Онъ совсѣмъ не умѣетъ чистить... раздражался поручикъ.

— У! чортовъ хохоль! ворчалъ Морозка, подсакивая къ Стасюку, выхватывая у него щетку и дѣлалъ ею нѣсколько угрожающихъ движеній у его лица.

Иногда Морозка, снабдивъ вдоволь своего капитана разными продуктами, являлся къ поручику.

— Ваше в-дѣ! Такъ что у насъ съ капитаномъ нынче ракіи (водки) много достали; прикажете и вамъ отлить?

— Да, непременно... Получи же... сколько это стоитъ?

— Чего, ваше в-дѣ? съ удивленіемъ спрашиваетъ Морозка.

— Сколько стоитъ — я спрашиваю?

— Никакъ нѣтъ, ваше в-дѣ: это турецкая.

Самъ Морозка водки никогда не пилъ, но Стасюка разъ поймавъ на мѣстѣ преступленія и, схвативъ его за шиворотъ, долго смотрѣлъ ему въ лицо, мучая неизвѣстностью предстоящей за это расправы.

— Убью, если еще разъ замѣчу! сказалъ онъ грозно и энергичнымъ толчкомъ выпшвырнулъ его изъ палатки.

Вообще тайное лакомство продуктами, добываемыми въ походѣ для господъ — считается между деньщиками серьезною кражей.

Трудная стоянка въ горахъ, оставившая такъ много пріятныхъ товарищескихъ впечатлѣній, а также не мало и ревматизмовъ, закончилась рѣшительнымъ наступленіемъ противъ турокъ. Въ самый разгаръ дѣла, при атакѣ одного изъ укрѣпленій, обороняемого двумя таборами, три роты N-го полка, въ томъ числѣ и рота нашего капитана, слишкомъ зарвались впередъ. Попавъ въ ужасный огонь и потерявъ половину своихъ рядовъ, онъ залегли за бугромъ, ожидая подхода резервовъ. Сердце надрывалось отъ стона разбросанныхъ по полю раненыхъ, которыхъ непріятель добивалъ непрерывнымъ свинцовымъ градомъ; но всякая попытка подать имъ помощь оканчивалась разстрѣливаніемъ отваживавшихся на это дѣло храбрецовъ. Въ числѣ раненыхъ былъ и нашъ капитанъ.

Въ эту ужасную минуту, отъ куста къ кусту, перебѣгала какая-то большая, Богомъ хранимая, фигура и опрашивала всѣхъ раненыхъ: „братцы! голубчики! не видалъ ли кто моего барина? Господи! и зачѣмъ они на эту войну пошли?..“

— Морозка! слышался слабый голосъ изъ-за куста.

— Ваше в-дѣ! вскрикнулъ деньщикъ, захлебываясь отъ волненія. — О, Господи!

Онъ нѣжно наклонился къ своему барину, подложилъ ему шинель подъ голову и, всхлипывая, сталъ поправлять ему, какъ ребенку, спустившіеся на лобъ волосы. Онъ совершенно растерялся и только черезъ минуту разглядѣлъ, что у раненаго сочится кровь около колѣна, и сообразилъ, что рану надо перевязать.

— Болно? болно?... О, Господи! повторялъ онъ, завывая дрожащими руками косынку и содрогаясь при каждомъ стоѣ. Потъ градомъ лилъ съ его лица.

Наконецъ, кончивъ перевязку, онъ, съ особенною манерой, высморкался, что означало приготовленіе къ какому-то трудному и важному дѣлу. Въ эту минуту онъ уже окончательно пришелъ въ себя; лицо его выражало рѣшимость и увѣренность въ своихъ силахъ; онъ мощно встряхнулъ плечами и наклонился къ раненому.

— Держицця, ваше в-діе, за шею, дюжѣй хватайтесь! вотъ такъ! — сказалъ онъ строго, почти повелительно, и быстро понесъ своего барина, защищая его своей огромной спиной отъ непріятельскихъ пуль.

Гулъ сраженія не смолкалъ; пули шуршали по кустамъ и злоѣще взвизгивали у самыхъ ушей Морозки; а онъ все бѣжалъ со своей дорогой ношей и остановился отдыхать только въ безопасномъ мѣстѣ.

Черезъ полтора часа капитанъ лежалъ уже на чистой койкѣ подвижнаго госпиталя. Онъ страшно страдалъ, но не могъ не улыбнуться, видя, какъ Морозка устраниваетъ ихъ общее гнѣздо, располагаясь на полу у самой его койки. Въ палатѣ горѣлъ фонарь; сновали гладко причесанныя и опрятно одѣтыя сестры милосердія; слышался привѣтливый, успокоивающій говоръ, покрывающій стоны только-что принесенныхъ тяжело раненыхъ... Всѣ эти впечатлѣнія заставили капитана на минуту забыть свою боль, и онъ ласково посмотрѣлъ на Морозку, который все копошился и что-то для него готовялъ.

— Ваше в-діе! чай будешь пить?

— Буду, мой другъ, — вмѣстѣ съ тобою буду...

— Такъ что, ваше в-діе, тутъ казенный будетъ, а то можно и самоварчикъ. — Стасюкъ вещи привезъ...

— Самоварчикъ, непременно самоварчикъ!..

Морозка подаль чай и, получивъ разрѣшеніе сѣсть, помѣстился на табуреткѣ и положилъ, какъ всегда, ногу на ногу.

Въ первый разъ пришлось ему пить чай вмѣстѣ съ барининомъ.

— Я все думаю, Морозка, какъ это тебя не убили сегодня...

— Такъ что, ваше в-діе, это отъ Бога... и опять же, чего мнѣ жалѣть: у насъ всего три десятины на пять братьевъ, да скотины штукъ восемь; хлѣбъ когда рѣдить, а когда и нѣтъ; а у васъ достатокъ есть, и опять же что-нибудь заслужите отъ начальства...

— Морозка! сказалъ капитанъ.

— Чего изволите, ваше в-діе?

— Если, дастъ Богъ, благополучно вернемся отсюда, я тебя не оставляю.

— Покорнѣйше благодарю, ваше в-діе, я и посейчасъ всеѣмъ доволенъ, потому — я очинно привыкъ къ вамъ.

Конецъ нашего разсказа очень печальный. Вернувшись съ похода, Морозка долженъ былъ уйти въ запасъ и уже получилъ билетъ, чтобы ѣхать домой. Капитанъ ждалъ, что онъ самъ попросится остаться, но Морозка молчалъ, и трудно было рѣшить, что было у него на душѣ.

— А что, Морозка, не останешься ли у меня? спросилъ капитанъ, уже прощаясь съ нимъ.

— Не могу знать, ваше в-діе.

— Какъ не можешь знать, — вѣдь это твое дѣло.

— Такъ что, ваше в-діе, какъ прикажете, — воля ваша.

— А по женѣ не будешь скучать?

— Никакъ нѣтъ.

— Но вѣдь ты же любишь ее?

— Жану-то?.. Никакъ нѣтъ.

— Зачѣмъ же ты женился?

— Такъ что, ваше в-дѣ, у насъ жать некому было: мало бабъ и тѣ хворыя, ну, отецъ и жанилъ.

— Ну, а по мнѣ скучалъ бы, еслибъ уѣхалъ домой?

— Такъ точно, ваше в-дѣ: я васъ и посейчасъ все во снѣ вижу, потому — дюже привыкъ къ вамъ.

— Ну, и отлично; оставайся; я тебѣ жалованье назначу.

— Покорнѣйше благодаримъ, ваше в-дѣ; у меня и то уже есть отъ васъ деньги; давѣ отцу послалъ.

— Что же ты самъ не просился остаться? Я ужъ думалъ, что ты меня бросишь.

Морозка нѣсколько сконфузился.

— Такъ что, ваше в-дѣ, „соромно“ было...

Капитанъ не понялъ этого слова, но потомъ узналъ, что слово „соромно“ (отъ *соромъ*, *срамъ*) означаетъ „стыдно“ или „неловко“.

Такимъ образомъ Морозка остался у капитана, и его вольное положеніе нисколько не измѣнило ихъ прежнихъ отношеній; но служить пришлось не долго. Однажды, въ январѣ, въ жестокий холодъ, Морозка, по обыкновенію, пилил дрова на воздухъ, одѣтый въ одной нанковой блузѣ, и на этотъ разъ работалъ особенно настойчиво.

— Смотри — простудился, замѣтилъ капитанъ.

— Никакъ нѣтъ, ваше в-дѣ: мы привычны.

Однако къ вечеру онъ почувствовалъ ознобъ и кашель; а дней черезъ десять его нельзя уже было узнать: тотъ же мощный корпусъ, широкія кости, но мясо на щекахъ и на шеѣ какъ-то осѣло; кожа стала синевато-блѣдной, а суставы въ кистяхъ рукъ выдавались бѣлыми пятнами. Онъ работалъ попрежнему, но уже съ какой-то натугой; смотрѣлъ при-

вѣтливо, но мутно; ѣлъ мало и даже къ чаю сталъ неохочъ. Такіе солдаты бывають въ ротѣ, и опытные начальники знаютъ, что это люди уже потерянные для войска. Странно, что это случилось какъ-то сразу, а главное — съ человѣкомъ, который никогда ничѣмъ не болѣлъ.

Позванный капитаномъ докторъ нашелъ, что у Морозки сильнѣйшее и запущенное воспаленіе въ легкихъ, и что для него странно, какимъ образомъ этотъ человѣкъ до сихъ поръ не свалился, т. е. онъ удивляется силѣ воли и крѣпкой натурѣ Морозки. Капитанъ хотѣлъ лѣчить его на квартирѣ, но докторъ сказалъ, что это невозможно.

Болѣзнь Морозки перешла въ жестокую чахотку. Капитанъ навѣщалъ его въ госпиталѣ и приносилъ гостинцевъ. На лицѣ Морозки появлялась радостная дѣтская улыбка, когда капитанъ къ нему входилъ.

— Я тутъ лежу и думаю, говорилъ больной, — кто вамъ теперь самоварчикъ ставить?... и опять же сапоги французскіе, чтобы ваксой не испортили... Давѣ я, какъ поступилъ, то мазнулъ маленько... я ужъ вамъ не сказывалъ, чтобъ не осерчали.

Вообще Морозка былъ въ духѣ, собирался скоро выйти изъ госпиталя и хотя былъ страшно худъ, но казался выздоравливающимъ.

— Скажите, докторъ, спросилъ капитанъ, — ему лучше теперь? Онъ какъ будто поправляется?

— Кто? деньщикъ?

— Да.

— Фюю!!.. дня черезъ три долго жить прикажетъ.

У капитана замерло сердце. „Знаетъ ли этотъ докторъ, подумалъ онъ, — о какомъ человѣкѣ онъ выражается съ такой холодностью и съ такимъ пренебреженіемъ?“ И вспомнилось ему, какъ онъ хлопоталъ о Георгіѣ для Морозки и какъ ему отвѣтили: „ну, что вы? неужели деньщикамъ будетъ раздавать кресты?“

Похоронивъ Морозку, капитанъ въ грустномъ настроеніи вернулся въ свою квартиру. Вѣстового не было дома и кухня была пуста. Сундучокъ Морозки; зазубренный сапожный ножикъ, которымъ онъ нѣкогда перерѣзывалъ проволоки на пробкахъ, жалѣя барскіе ножи; шило, обрывки какой-то кожи, грубая, но опрятная постель — все было въ прежнемъ порядкѣ и отдавало тѣмъ, знакомымъ капитану, жилымъ запахомъ, который сразу напомнилъ ему симпатичный образъ ютившагося здѣсь существа. Въ грустномъ настроеніи смотрѣлъ онъ на этотъ опустѣвшій очагъ своей холостой жизни — и въ эту минуту, больше чѣмъ когда-нибудь, сознавалъ всю прелесть безкорыстныхъ жертвъ, принесенныхъ ему отъ безхитростнаго сердца неиспорченнаго русскаго простолюдина. И думалось капитану, что его Морозка былъ герой, но герой исключительный, который не искалъ ни подмоштовъ для своихъ подвиговъ, ни денегъ, ни славы, ни орденовъ... И откуда это взялось у него? какимъ вложено воспитаніемъ?.. И сталъ капитанъ замѣчать, что у каждаго простого солдата есть много достоинствъ Морозки, и съ тѣхъ поръ сталъ больше любить солдата и больше вѣрить во что-то необычайно прекрасное, живущее въ народныхъ нѣдрахъ нашего отечества.



ТУРЧАНКА ГАЛЯ.

(Разсказъ).

«Тече Марица окриваваѣна
«Плаче вдовица люто ранѣнна».
(Болгарская пѣсня).



Въ началѣ января 1878 года, изнуренные непрерывнымъ трехдневнымъ боемъ, мы вступили въ Филиппополь. Мы нашли его совершенно очищеннымъ турками: мирные мусульманскіе граждане, числомъ до восьми тысячъ, опасаясь насилія со стороны нашихъ войскъ, бѣжали изъ города вмѣстѣ со своей арміей, быстро отступавшей къ Адрианополу. Напрасно несчастные старики, женщины и дѣти надѣялись на покровительство своихъ солдатъ: суровый и безсердечный Сулейманъ-паша, замѣтивъ, что они стѣсняють движеніе войскъ, велѣлъ своротить ихъ обозъ съ дороги и оставилъ ихъ на произволъ судьбы. Бѣдные жители остались въ полѣ, незанятомъ войсками, и здѣсь разыгралась страшная кровавая драма: болгары мстили имъ за вѣковыя притѣсненія, — и отомстили дико, ужасно...

Рано утромъ мы выступили изъ Адрианополя въ погоню за отступавшими турками. Утро было ясное и морозное; первые лучи восходящаго солнца, показавшіеся изъ-за горъ, освѣтили блѣдныя, усталыя, но довольныя успѣхомъ лица солдатъ. Небольшой авангардъ, посланный впередъ за версту отъ полка, подъ начальствомъ опытнаго унтеръ-офицера Пронина, шелъ бодро и даже не прочь былъ затянуть пѣсню,

но предписывалось строгое молчаніе. Еще до перваго привала ужасная картина представилась взорамъ нашихъ солдатъ: гигантскій турецкій обозъ, раскиданный по сторонамъ дороги, представлялъ груды обломковъ; все пространство между обломками было усыяно трупами: большинство турокъ, бѣжавшихъ изъ Филиппополя, умерло отъ голода и замерзло, остальные были буквально перебиты нападшими на нихъ болгарами. Сердце содрогалось при видѣ распластанныхъ на дорогѣ труповъ женщинъ и дѣтей. Были еще живые; наши врачи подавали имъ помощь, а нѣкоторые изъ солдатъ, не разъ уже выдавшіе кровь въ бою, крестились при видѣ такого зрѣлища.

— Господи милостивый! говорилъ тронутымъ голосомъ Пронинъ. — Дѣтки-то маленькія... За что? за что?..

Авангардъ не смѣлъ останавливаться и все шель впередъ. Только изрѣдка выбѣгали солдаты изъ строя и раздавали раненымъ сухари. Вдругъ, шагахъ въ двадцати отъ дороги, послышался здоровый, но жалобный и берущій за сердце плачъ ребенка. Ничто на свѣтѣ, даже строгость дисциплины, не могло въ этомъ случаѣ удержать солдатъ. Всѣ кинулись къ телѣгѣ, изъ которой слышался плачъ. Первыми прибѣжалъ Пронинъ.

— Ахъ, ты, сердечная! сказалъ онъ, стараясь вынуть изъ телѣги красивую черненькую, лѣтъ шести дѣвочку; но ее трудно было взять на руки: она лежала обнявшись со своей мертвой матерью, крѣпко обхвативъ рученками ея шею. Еще не совсѣмъ остывшая кровь струилась изъ груди мертвой женщины, проколотой пикой.

Дѣвочка была совершенно здорова и не ранена. Долго она не рѣшалась взглянуть на русскихъ, нѣжно гладившихъ ее по головкѣ, но наконецъ дико взглянула на Пронина и — слезы ли старика ее тронули, или какое-то необъяснимое, инстинктивное чувство — вдругъ протянула къ нему свои дрожащія рученки и прижалась къ его груди.

— Бѣдная! повторяли солдаты, окутывая дѣвочку башлыками. Она дико озиралась по сторонамъ; ея ручки и завернутыя въ тряпицы ножки дрожали отъ холода и испуга.



Авангардъ снова выстроился на шоссе и скорымъ шагомъ двинулся впередъ. Пронинъ понесъ малютку, передавъ ружье одному изъ товарищей.

— Мама! сказала вдругъ дѣвочка по-турецки и, высовивъ посинѣвшую отъ холода рученку, указала на телѣгу; она не вполне еще сознавала свое сиротство. Солдаты старались развлечь ее.

— Братцы! сказалъ Пронинъ: — это мнѣ Господь дочку послалъ. У меня дочка была дома, Галичкой звали, — счоронилъ передъ самымъ походомъ... Одна только и была... Такъ вотъ пусть замѣсто дочки будетъ...

— Галя! Галя! сказали въ одинъ голосъ солдаты. — Такъ Галичкой будемъ и звать.

Молодой солдатикъ Ивановъ, болѣе другихъ веселый по случаю находки, все забѣгалъ впередъ, разсматривая дѣвочку.

— Красавица будетъ, Иванъ Осиповичъ, — право слово, красавица, — глазища-то какіе!..

Вдругъ дѣвочка нервно задрожала и потянулася къ Иванову: она увидала въ рукахъ у него сухарь.

— Ахъ, ты, сердечная! сказалъ, качая головой, Пронинъ. — Ну, и хороши-жъ мы съ вами! Никто по сю пору не догадался накормить.

Весь взводъ кинулся предлагать сухари. Ивановъ первый раскрылъ свою сумку, и самъ удивлялся своей недогадливости. Нашелся даже кусочекъ говядины, завернутый въ нѣсколькихъ бумажкахъ. Его предложилъ Семеновъ, извѣстный въ ротѣ своею скупостью.

— Ну, братцы, — коли Семеновъ раскошелился, значить — дѣло плохо! таперича бѣдную Галичку разорвутъ наши ребята, — очень ужъ ее всѣ полюбятъ... сказалъ Ивановъ.

— Шалишь! возразилъ Пронинъ: — я первый открылъ. моя и будетъ...

Семеновъ разрѣзалъ ножикомъ говядину и поднесъ дѣвочкѣ; она была такъ голодна, что глотала не разжевывая.

— Вотъ, братцы, и чайку немного осталось, съ Балканъ

берегу... Возьмите... сказалъ Семеновъ, подавая Пронину свертокъ.

Послѣдняя сцена тронула всѣхъ, и надъ Семеновымъ уже никто больше не смѣялся.

Замѣчательный скупецъ былъ этотъ Семеновъ: бывало, раздадутъ чай на Балканахъ во время большого мороза; солдаты просто прыгаютъ отъ удовольствія, вспоминая родину; чаепитіе идетъ форменное, — только блюдечекъ нѣтъ, чтобъ держать пятерней за донышко; и Семеновъ тоже радъ, но чаю не пьетъ, а приберегаетъ запасъ для будущаго. „Можетъ гдѣ-нибудь хуже придется... это еще что!“ отвѣчаетъ онъ на сыплющіяся со всѣхъ сторонъ остроты. Былъ и такой случай, что Семеновъ ознобился и, испугавшись болѣзни, сталъ быстро согрѣвать кипяткомъ, чтобы испить чайку, но, согрѣвъ, раздумалъ и выпилъ простую горячую воду. Однако при всей своей скупости, Семеновъ имѣлъ все же доброе сердце и предлагалъ чай раненымъ. Теперь же онъ отдалъ всѣ свои запасы бѣдной сироткѣ, и лицо его сіяло удовольствіемъ.

Скоро дошли до привала; нащепали растопки изъ телеграфнаго столба и сварили Галичкѣ чаю. Больше всѣхъ суетился Ивановъ; онъ стоялъ на корточкахъ и раздувалъ костеръ, изрѣдка посматривая на дѣвочку и приговаривая: „Сейчасъ, сейчасъ, Галичка!“ Поза его была до того комична (онъ вообще любилъ смѣшнить товарищей), что малютка невольно улыбнулась. Это несказанно обрадовало солдатъ.

Закутывая дѣвочкѣ ножки, Пронинъ замѣтилъ, что одна изъ нихъ была нѣсколько обморожена; онъ сталъ растирать ее полою шинели, даже вспотѣлъ стараясь.

Вспомнили, что у одного изъ людей, идущихъ позади, есть полущубокъ (въ зимней кампаніи полущубки были рѣдкостью: они запоздали и прибыли только въ мартѣ, при 15 град. тепла). Пронинъ тотчасъ же командировалъ Иванова и наказалъ „Христомъ-Богомъ“ выпросить полущубокъ

для Галички. Ивановъ, не взирая на болячки, натертые на ногахъ, все-таки побѣждалъ въ припрыжку и выпросилъ.

Въ это время проѣхалъ командиръ со свитой, поздоровался съ авангардомъ, замѣтилъ дѣвочку.

— Это что у васъ, ребята? сказалъ онъ, прищуривъ глаза—не то строго, не то шуточно.

— „Молоденецъ“, отвѣчали солдаты и нѣсколько струсили. „А вдругъ отымутъ?“ мелькнуло у каждаго въ душѣ.

— Гдѣ вы его взяли?

— Въ обозѣ турецкомъ нашли... Тамъ же и ейная мать лежитъ убитая.

— Молодцы! сказалъ полковникъ, улыбаясь. — Только смотрите—голодомъ ее не уморите—кормить нужно...

— Рады стараться, ваше высокоблагородіе.

Больше ничего не сказалъ.

Къ вечеру пришли на ночлегъ въ полуразрушенную болгарскую деревню и стали по избамъ. Авангардъ, подъ начальствомъ Пронина, присоединился къ своей ротѣ, которая вся собралась посмотрѣть на находку товарищей. Всѣ хвалили Галичку, любовались ея миловидностью, и многіе пожалѣли, что она принадлежала одному только Пронину; всѣмъ хотѣлось считать ее своей.

Въ полуразрушенномъ дворѣ, гдѣ остановились солдаты съ дѣвочкой, какимъ-то чудомъ уцѣлѣла корова. Всѣ засуетились, чтобы достать для малютки молока; но хозяйка даромъ ничего постояльцамъ не предлагала, а деньги были только у одного Семенова, у котораго онѣ не переводились.

— Семеновъ! а Семеновъ! одолжи, голубчикъ, мелочишки... Ей-Богу отдамъ полностью, какъ приплюнуть... сказалъ Пронинъ.

Семеновъ, ни слова не говоря, вынулъ кошелекъ и выложилъ на лавку серебряный рубль.

— Обиждаете, Иванъ Осиповичъ... нѣшто я жидъ какой... сказалъ онъ, нѣсколько помолчавъ, дрогнувшимъ голосомъ.

Черезъ нѣсколько времени показалась въ избѣ болгарка съ большой кринкой молока. Она на минуту остановилась передъ дѣвочкой и, покачавъ головой, сказала что-то по-турецки. Вспомнила-ли малютка при видѣ этой женщины свою мать, или въ обращенныхъ къ ней словахъ было что-нибудь трогательное, только при самомъ ея появленіи солдаты замѣтили, что дѣвочка немножко вздрогнула и вдругъ у нея задрожала нижняя губка, замигали глазенки, и все это перешло въ нервный порывистый плачъ. „Мама! мама!“ слышалось въ этомъ плачѣ, и дѣвочка указывала ручкой на груди то самое мѣсто, въ которое была ранена ея несчастная мать.

— Болгары! болгары! много болгаръ... и такіе злые... говорила она по-турецки, вѣроятно вспоминая стычку, происшедшую наканунѣ.

Солдаты мало понимали по-турецки и переводили ея фразы больше догадками.

Дѣвочка отказалась отъ молока и долго не могла успокоиться. Пронинъ и Ивановъ дежурили около нея поочередно; Семеновъ тоже хотѣлъ ухаживать, но онъ былъ застенчивъ, а потому нерѣшителенъ: ему казалось, что его услуги сочтутъ навязчивостью. Вообще-же солдаты были утомлены большимъ переходомъ, и почти всѣ спали, какъ убитые.

Пронинъ взялъ дѣвочку къ себѣ на колѣни и, чтобы разогнать сонъ, закурилъ трубку. Онъ сидѣлъ у самаго очажка. Всякій посторонній наблюдатель невольно-бы умилился передъ этой картиной: дѣвочка по временамъ переставала плакать и доверчиво глядѣла на Пронина; ея кругленькое личико съ черными, какъ уголь, глазками и ямочками на щекахъ, казалось особенно милымъ и симпатичнымъ въ этой обстановкѣ; черные съ синеватымъ отливомъ, выющіеся и не причесанные волосики были раскиданы въ беспорядкѣ по ея плечикамъ; въ выраженіи маленькаго смуглаго лица дѣ-

вочки свѣтилось вмѣстѣ съ неосвоенностью или, такъ сказать, дикостью пойманнаго звѣрка, ужасное чувство сиротской беззащитности, возбуждающее во всякомъ человѣкѣ, быть можетъ невольное, но всегда искреннее и иногда безграничное участіе. Еще болѣе трогательной казалась эта сцена при видѣ стараго солдата, Пронина, человѣка Богъ знаетъ откуда пришедшаго и ласкающаго эту чужую дѣвочку, какъ свою родную дочь.

— Не плачь, крошечка, — полно! вѣдь я-жъ тебѣ какъ родной буду; любить тебя буду, лелѣять... домой повезу... говорилъ онъ, касаясь своею огромною ладонью ея черныхъ, блестящихъ волосиковъ.

— Мама! мама! повторяла дѣвочка.

Пронинъ глубоко вздыхалъ и моталъ головой.

— Ахъ, ты, беззащитная! говорилъ онъ въ раздумьи.

Кто-то изъ солдатъ проснулся и взглянулъ сонный на дѣвочку.

— Эхъ, горе-горе! куда тутъ безъ матери?... сказалъ онъ, поворачиваясь на другую сторону.

Пронинъ самъ не понималъ, что его такъ влекло къ этой малюткѣ, но онъ чувствовалъ и особенно съ этого вечера, что этотъ ребенокъ ему дорогъ. Пронинъ былъ хорошій русскій человѣкъ, со всѣми его симпатичными чертами. Онъ былъ средняго роста, коренастый, русый, съ добрыми сѣрыми, немножко наивными глазами и съ пріятнымъ, грустно озабоченнымъ выраженіемъ лица. Лишь только разрѣшили носить солдатамъ бороды, лицо Пронина скоро представило рельефный типъ крестьянина среднихъ губерній. Пронинъ принадлежалъ къ числу людей, которые, гдѣ бы ни появились, повсюду вносятъ съ собою домовитость, или, такъ сказать, придаютъ всякой обстановкѣ уютность однимъ своимъ присутствіемъ. Съ Пронинымъ товарищамъ было не то чтобы весело (онъ не былъ острякомъ и каламбуристомъ, подобно Иванову), но какъ-то занятно и уютно. „Ей-Богу,

братцы, точно дома въ избѣ сидишь, — такъ это разговоришься и все“... говорили солдаты, стоявшіе съ нимъ въ палаткѣ. Пронинъ, какъ унтеръ-офицеръ, былъ начальникомъ; но въ его начальническихъ приемахъ было что-то отеческое, ни для кого изъ подчиненныхъ не обидное, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда приходилось употреблять въ дѣло строгость. Никогда онъ, бывало, не выругаетъ подчиненнаго обидными словами; а если кто-нибудь попадется, то старается отстоять, и развѣ уже потомъ, въ палаткѣ, спроситъ у провинившагося: „И гдѣ у тебя совѣсть? озорникъ! одно слово — озорникъ! совѣсти нѣту“...

У солдатъ не хватало духа дѣлать Пронину непріятности, и сами же подчиненные поддерживали его, выговаривая провинившемуся товарищу. Заботы Пронина о подчиненныхъ выражались во многомъ; онъ самъ, бывало, ни за что не сядетъ обѣдать — пока не соберетъ своего взвода, и не ложится спать — пока не уложитъ всю свою команду.

— Спите, спите, завтра переходъ большой; а, можетъ быть, Богъ приведетъ и въ дѣло попасть... говоритъ онъ, докуривая трубку.

Склонность къ привязанности была выдающейся чертой въ его характерѣ, и этимъ можно объяснить его нѣжныя заботы о чужой дѣвочкѣ, которую онъ полюбилъ съ перваго же дня.

Почти всю ночь, не взирая на сильную усталость и боль въ ногахъ, Пронинъ провелъ безъ сна. Только передъ самымъ утромъ онъ передалъ дѣвочку Иванову. Малютка немного успокоилась и прикуринула на соломѣ рядомъ съ Ивановымъ, который обнялъ рукою ея плечики и чувствовалъ, какъ она вздрагивала и вздыхала, вспоминая во снѣ свою несчастную мать.

Рано утромъ войска тронулись въ походъ. Пронинъ взялъ сонную дѣвочку на руки, укуталъ ее въ полушубокъ и понесъ.

Не доходя одного перехода до Адрианополя, наши войска были встрѣчены кучкой болгаръ, изъ которыхъ нѣкоторые были ранены. Болгары донесли, что вереть за пятнадцать въ сторону отъ шоссе свирѣпствуетъ вольная шайка башибузуковъ, которая разорила ихъ деревню, и что ихъ семейства находятся въ плѣну. Они стояли на колѣняхъ въ снѣгу передъ нашимъ начальникомъ отряда и, подымая руки къ небу, со слезами просили о помощи. Ихъ исхудалыя лица, рваная одежда и мѣстами просачивающаяся на ней кровь произвели на насъ впечатлѣніе, но однако не настолько глубокое, какъ бывало прежде, ибо, глядя на этихъ несчастныхъ, мы невольно въ душѣ обвиняли ихъ въ убійствахъ, слѣды которыхъ мы видѣли наканунѣ. Ужасное дѣло это — племенная ненависть!

— Вишь, сказалъ Ивановъ: — сами теперь плачете, а давеча что сдѣлали?... Хороши — нечего сказать!

Для выручки болгарской деревни былъ назначенъ нашъ батальонъ съ сотней казаковъ. Мы свернули съ шоссе и поехали по проселочной дорогѣ, предшествуемые болгарами. Пронинъ не согласился на предложеніе товарищей оставить дѣвочку въ обозѣ. „Знаю я этихъ обозныхъ, говорилъ онъ, раздражаясь: — бросятъ ребенка въ суматохѣ, — имъ что!“... Часа черезъ три отрядъ подошелъ къ деревнѣ и былъ встрѣченъ выстрѣлами; завязалась горячая перестрѣлка.

Много было Пронину заботы спрятать отъ выстрѣловъ малютку: онъ вырылъ для нея небольшой ровикъ и самъ легъ около, прикрывая ее отъ пуль своимъ корпусомъ. Съ каждымъ свистомъ пули онъ безпокойно оглядывался назадъ и какъ-то особенно нѣжно смотрѣлъ на свою дѣвочку, запрящая ей подымать головку.

Турки, пользуясь мѣстными закрытіями, подошли очень близко къ нашей цѣпи и стрѣляли почти въ упоръ. Надо было выбить ихъ изъ сосѣднихъ сараевъ.

— Охотники! охотники! кто желаетъ? выходи! про-

неслись вдругъ крики, и многіе изъ лежавшихъ подняли головы.

Галя тоже приподнялась въ своемъ ровикѣ и увидала въ кучкѣ собравшихся солдатъ худощавую и долговязую фигуру Иванова.

— Эй! кто со мною? выходи живѣй! пули не ждутъ!.. кричалъ онъ, молодцовато заломивъ шапку. Глаза его блестя; лицо казалось веселымъ, но безъ улыбки.

Десятка два солдатъ сгруппировалось около Иванова. Нѣкоторые изъ нихъ были въ видимомъ волненіи; другіе глядѣли наивно, — особенно одинъ молодой отличался: онъ какъ будто на ученіе выходилъ — все подбадривался и оправлялъ амуницію; но, бѣдный! онъ тутъ же былъ убитъ сразу двумя пулями, направленными непріателемъ противъ собиравшейся кучки.

— Ну, идемъ скорѣй! закричалъ Ивановъ. — Вотъ видите — дождались!.. указалъ онъ на упавшаго солдатика, котораго другіе подхватили подъ руки.

Партія тронулась.

— Прощайте, Иванъ Осиповичъ, кричали уходившіе Пронину. — Прощайте, братцы-голубчики! кивали они другимъ товарищамъ.

Но у Пронина въ это время была своя забота; оглянувшись назадъ, онъ съ ужасомъ увидѣлъ, что дѣвочки въ ровикѣ не было; она быстро оттуда выпрыгнула и съ дикой торопливостью кинулась съ протянутыми руками къ охотникамъ.

— Не ходи! не ходи! тебя убьютъ! кричала она по-турецки Иванову и, догнавъ партію, схватила его за рукавъ.

Пронинъ съ трудомъ оттащилъ ее и опять положилъ въ ровикъ; она была сильно взволнована, нервно дышала и все порывалась бѣжать; но онъ уже не спускалъ съ нея глазъ и, переставъ стрѣлять, держалъ ее за плечики.

Въ то время, какъ Пронинъ сидѣлъ наклонившись около

своей дѣвочки, произошло нѣчто ужасное, возможное только на войнѣ: онъ вдругъ зашатался, опустилъ голову на грудь и свалился въ ровикъ на ножки къ своей дѣвочкѣ. У него изъ-за уха показалась кровь...

Сосѣдніе солдаты подхватили Пронина подъ руки, но онъ уже не дышалъ; лицо его было блѣдно какъ воскъ, глаза закрыты; пряди русыхъ волосъ въ безпорядкѣ спускались на полъ, а въ рыжеватой бородѣ алѣла струя свѣжей, дымящейся крови... Въ выраженіи мертвѣго лица была все та-же озабоченность, но смѣшанная съ какой-то торжественной строгостью, присущей вообще лицамъ мертвецовъ... Ужасная картина! сейчасъ жилъ этотъ человѣкъ, разговаривалъ съ товарищами, заботился о своей сироткѣ, и вдругъ — отъ него осталась лишь блѣдная, безжизненная, облитая кровью масса, которую тутъ же поспѣшили предать землѣ.

Галя вскрикнула и, недоумѣвая, кинулась къ Пронину, но ея не допустили. Дѣвочка сначала не плакала, но какъ-то странно дышала и вся дрожала, какъ въ лихорадкѣ. Солдаты держали ее и старались закрыть отъ выстрѣловъ.

— Эхъ, горе-горе... живѣй, живѣй, братцы, копайте могилу, а то тронемся — такъ и останется несхороненнымъ, — грѣхъ!.. командовалъ одинъ изъ унтеръ-офицеровъ.

Галя увидала, что Пронина кладутъ въ землю, — сомнѣній больше не было, — она до тѣхъ поръ думала, что онъ только раненъ...

— Папа! папа! сказала онъ вдругъ по-русски (она уже знала это слово), и слезы стали душить ее.

— Полно, касаточка, — не плачь, — мы тебя всѣ любить будемъ, за дочь родную примемъ... утѣшалъ Семеновъ малютку, но она не унималась и оставалась ко всему равнодушной.

Къ вечеру деревня была занята. Солдаты атаквали ее, неся съ собой дѣвочку, которая не переставала плакать. У входа въ деревню Галя увидала Иванова — и не то вскрик-

нула, не то засмѣялась, протягивая къ нему ручки. Онъ, обрадовавшись, схватилъ ее на руки, гладилъ по головкѣ, цѣловалъ... Дѣвочка перестала плакать и глубоко, но радостно вздыхая, все смотрѣла ему въ глаза.

Услыхавъ о смерти Пронина, Ивановъ набожно перекрестился, но заботы о дѣвочкѣ скоро развлекли его... Онъ еще раньше замѣтилъ, что его всегдашнія шутки забавляли малютку и даже заставляли ее смѣяться. Дѣвочка съ самаго начала почувствовала къ нему расположеніе и полюбила его не меньше Пронина; она его называла въ отличіе отъ Пронина дядей, и это названіе сохранилось и впослѣдствіи.

— Теперича, Галичка, помни, что ты моя, и не смѣй плакать! слышишь? грозилъ онъ пальцемъ, дѣлая смѣшную гримасу.

Галя смѣялась и играла съ нимъ, забывая на минуту свое ужасное прошлое.

— Вотъ теперь паинька!.. говорилъ Ивановъ и снова начиналъ шутить съ ней.

Не прошло недѣли, какъ дѣвочка начала приходить въ себя и понемногу сознавать свою обстановку. Она скоро научилась нѣкоторымъ русскимъ словамъ, поняла добрыхъ людей, которые ее окружали, и сердечно къ нимъ привязалась; а скитальческая военная жизнь, длинные утомительные переходы и ночлеги въ полуразрушенныхъ строеніяхъ, а иногда и въ палаткахъ, ее занимали. Она весело перебѣгала изъ одной палатки въ другую, помогала солдатамъ разводить костры, собирала щепки и ходила вмѣстѣ съ очередными за водой. Послѣдняя прогулка доставляла ей особенное удовольствіе; она всегда бѣжала въ припрыжку, впереди команды, съ котелкомъ, принадлежащимъ Иванову, и, снова опередивъ солдатъ, первая приносила ему воду. Иногда, рѣзвясь и играя съ солдатами, дѣвочка на минуту забывала объ Ивановѣ; но, вспомнивъ, сейчасъ-же прибѣгала къ нему въ палатку и съ дѣтской нѣжностью обвивала рученками его шею. Разъ

какъ-то ей не удалось раскрыть наглухо застегнутую палатку, въ которой спалъ Ивановъ.

— Ты здѣсь, дядя? спросила она, хлопая ручкой по полотну.

Отвѣта не было.

— Дядя! дядя! вскричала дѣвочка, испугавшись, и залилась слезами: въ ея напуганномъ воображеніи мелькнула новая потеря.

Ивановъ проснулся и насилу успокоилъ ее своими ласками.

— У!... долговязый! сказала дѣвочка, засмѣявшись сквозь слезы и теребя Иванова за волосы. Она не понимала этого выраженія, но знала, что солдаты употребляютъ его въ шутку; а она съ дядей съ самаго начала привыкла разговаривать шутками, при чемъ онъ часто дразнилъ ее башибузукомъ.

— Эй, братцы! держи башибузука! бери его въ плѣнь! командовалъ Ивановъ.

Солдаты гонялись за дѣвочкой; она съ дикой ловкостью увертывалась, и это доставляло ей несказанное удовольствіе.

Однажды, играя, дѣвочка упала и разбила до крови носикъ; Ивановъ испугался и хотѣлъ приложить ей снѣгу, но она остановила его и не только не плакала, но смѣялась.

Съ тѣхъ поръ, какъ дѣвочка перешла въ руки къ Иванову, всѣ замѣтили въ ней перемену: она стала гораздо веселѣе и рѣдко задумывалась о своемъ горѣ, или, вѣрнѣе сказать, Ивановъ не давалъ ей задумываться. Вообще съ Ивановымъ трудно было соскучиться. Это былъ высокій, худощавый, длиннотелый и востроносый молодой солдатъ, съ умнымъ, пріятнымъ, но въ высшей степени комичнымъ выраженіемъ лица. Одно это выраженіе часто заставляло смѣяться товарищей: станеть-ли Ивановъ трубку закуривать, застегиваетъ-ли портупею, или просто на кого-нибудь взглянетъ своими маленькими зеленовато-сѣрыми глазами,—

губы его какъ-то странно складываются, на лбу образуются какія-то смѣшныя морщинки и вся фигура его возбуждаетъ невольный смѣхъ. Сначала на Иванова сердились за то, что у него при всякомъ серьезномъ дѣлѣ бывало насмѣшливое выраженіе лица, но потомъ догадались, что онъ такой отъ роду. Товарищи Иванова любили и называли „отчаянной головой“. Онъ ни съ кѣмъ не былъ особенно друженъ; но всякій считалъ его своимъ пріятелемъ, даже тѣ, надъ которыми онъ насмѣхался.

Ивановъ вообще былъ безпечень, и ни о комъ не любилъ заботиться; онъ и дома жилъ бобылемъ и, казалось, ничего другого отъ жизни не требовалъ; но къ Галичкѣ онъ привязался невольно, и съ тѣхъ поръ, какъ она перешла къ нему на руки, онъ не чаялъ души въ ней.

Много-ли было прежде заботъ у Иванова? — одѣнетъ, бывало, амуницію, которую въ насмѣшку называютъ хомутомъ, подвяжетъ сухарную сумку, вскинетъ ружье на плечо — и готовъ въ какой угодно походъ. Теперь совсѣмъ другое: нужно утѣшить дѣвочку, накормить ее, укутать хорошенько, чтобы не зазябла, и цѣлую дорогу что-нибудь ей рассказывать, чтобы не соскучилась и не вспомнила прежняго. Не взирая на возможность встрѣчи съ непріятелемъ, онъ ни за что не соглашался оставить ее въ обозѣ и все время либо велъ за руку, либо несъ на рукахъ.

— Что, маленькая,—не поднести-ли? прыгай сюда! говорилъ онъ, наклоняя ей свою длинную шею. Раскраснѣвшая отъ усталости малютка обхватывала его шею,—и онъ принималъ ее на руку.

Иногда Ивановъ не на шутку безпокоился, когда дѣвочка далеко отъ него убѣжала; а Галя иногда нарочно отъ него пряталась, чтобы доставить себѣ случай лишній разъ повиснуть у него на шеѣ, и смѣялась при этомъ до слезъ.

Не прошло и трехъ мѣсяцевъ съ тѣхъ поръ, какъ си-

ротка очутилась между русскими, какъ она могла уже объясниться на чуждомъ ей до того времени языкѣ.

Въ февралѣ наступило перемиріе, но войска долго еще послѣ того стояли на позиціяхъ, въ ожиданіи окончательныхъ рѣшеній. Нашъ лагерь стали посѣщать турецкіе офицеры и солдаты, которые, надо сказать, производили на насъ самое пріятное впечатлѣніе своимъ добродушіемъ. Намъ казалось страннымъ, что между этими самыми людьми были такіе, что совершали незадолго передъ этимъ жестокости. Наши солдаты тоже ходили къ нимъ въ гости и бывало не нахватались ихъ гостепріимствомъ и радушіемъ. „Куда — греки!“ говорили они: „эти норовятъ, чтобы стащить что-нибудь да поживиться насчетъ русскаго золота; а съ туркомъ только сойдишь съ лаской, такъ онъ тебѣ послѣднюю кукурузину готовъ отдать... и не видать, что непріятель“. Завязалась даже дружба между нашими и турецкими солдатами; они вмѣстѣ ходили по трактирамъ и, не понимая другъ друга, разговаривали каждый на своемъ языкѣ, стараясь дообъяснять непонятое жестами.

— Что, братушка, навоевался? спрашиваетъ русскій солдатъ турецкаго.

— Іюкъ (не знаю)! отвѣчаетъ турокъ, мотая головой и добродушно улыбаясь.

— То-то, что іюкъ!.. и куда тебѣ воевать супротивъ Россіи!

— Бельмемъ (ничего не понимаю), отвѣчаетъ турокъ, смѣясь.

— Заладилъ — „іюкъ“, да „бельмемъ“, — ты, братецъ, по-русски говори... экой ты, право, темный, неученый!..

— Руськи, руськи!... говоритъ турокъ, очень довольный, что поймалъ это слово.

— Ну, вотъ! молодецъ! — этакъ-то лучше будетъ... Ты пріѣзжай, любезнѣйшій, къ намъ; мы тебя настоящей водкой угостимъ, а то у васъ тутъ какая-то бусурманская ракія,—

почитай—безъ хмѣлю совсѣмъ; никакой отъ нея пользы, — все одно, какъ воду пьешь...

Заходили турки и къ Иванову, и заговорили съ Галей, но она отворачивалась отъ нихъ, и не хотѣла отвѣчать по-турецки.

— Зачѣмъ Пронина убили, злые?... говорила она своимъ соотечественникамъ.

Одинъ старый турокъ прослезился, увидавъ дѣвочку, — можетъ быть, онъ вспомнилъ своихъ дѣтей, оставленныхъ дома,—и, согласно магометанскому обычаю, приложилъ два пальца къ ея головеѣ, но Галя съ неудовольствіемъ устранила его руку.

— Злые! злые! сказала она, отворачиваясь:—маму оставили на дорогѣ; а болгары маму убили...

Вообще Галя сроднилась съ русскими и не хотѣла смѣтрѣть на турокъ, а къ Иванову чѣмъ дальше — все больше привязывалась. Цѣлое лѣто стояли наши войска подъ Константинополемъ, задержанные политическими недоразумѣніями, и только осенью тронулись на родину.

Галя съ радостью садилась вмѣстѣ съ солдатами на русскій корабль. Путешествіе было веселое, сопровождаемое пѣснями и радостными восклицаніями. Торжество возвращавшихся на родину воиновъ, безконечное море и гигантскій корабль, серебристыя брызги волнъ и играющіе въ нихъ дельфины—все это казалось дѣвочкѣ чудной волшебной сказкой... А между тѣмъ родина удалялась и исчезала; между нею и кораблемъ ложилось и нарастало море; потонули въ волнахъ прибрежныя зданія; только верхушки минаретовъ долго выглядывали изъ-за волнъ, но вотъ и тѣ слились съ линіей горизонта.

Галя приходила въ восторгъ отъ всего окружающаго: ее занимали и дельфины, и море, и корабельная жизнь; но вдругъ подъ вечеръ дѣвочка загрустила: она сѣла у борта, задумалась и никуда не хотѣла идти.

— Галюха! ужинать пойдешь? позвать ее Ивановъ.

— Не хочу, дядя, отвѣчала она грустнымъ тономъ.

Ивановъ пристально посмотрѣлъ на нее.

— Дядя! сказала она разсѣянно:—у васъ есть кипарисы?

— Кипарисы? переспросилъ Ивановъ съ удивленіемъ.

— Да, кипарисы?

— Нѣту, Галичка... у насъ больше верба растетъ.

— А у насъ большой-большой такой кипарисъ у самой хаты стоялъ...

Она еще больше задумалась и, облокотившись на бортъ, грустно глядѣла въ пространство. Наступалъ темный вечеръ; волны почернѣли и страшно загудѣли—почувствовалась качка на кораблѣ.

— Пойдемъ, Галюха, внизъ, — здѣсь холодно... уговаривалъ дѣвочку Ивановъ.

Она сидѣла въ прежнемъ положеніи и ничего не отвѣчала.

— Дядя! сказала она вдругъ какъ-то жалобно.

— Что, дѣвочка?

— А какъ-же... какъ-же маму... такъ не схоронили?... Гдѣ... гдѣ она теперь?..

Дѣвочка разрыдалась. Ивановъ снесъ ее въ каюту, и только подъ утро она немножко успокоилась и уснула.

На другой день мы высадились въ Николаевѣ. Собравшаяся на дебаркадерѣ толпа народу встрѣтила насъ радостными криками. У каждого изъ насъ радостно забилося сердце при видѣ русскаго города. Это была одна изъ счастливейшихъ минутъ, пережитыхъ нами за кампанію.

Прошелъ годъ съ тѣхъ поръ, какъ войска вернулись на родину. Опять потекла мирная казарменная жизнь, скучная и однообразная, съ невыносимыми-длинными вечерами; но въ ротѣ, гдѣ служить Ивановъ, точно оживленіе какое-то чувствуется: не успѣютъ отойти обычныя занятія, какъ туда прибѣгаетъ маленькая смуглая дѣвочка, веселая и проворная,

которую всѣ любятъ и всѣ ласкаютъ. Она живетъ на кухнѣ у артельщика, обѣдаетъ вмѣстѣ съ солдатами и почти все время проводить въ ротѣ. Группа солдатъ собирается у кровати Иванова, нанесутъ книжечку изъ ротной библіотеки и читаютъ Галичкѣ рассказы, а иногда и сказку рассказываютъ. Дѣвочка интересуется книжками и уже выучила всю азбуку. Никто въ ротѣ не бранится въ присутствіи Гали, боясь получить отъ товарищей выговоръ. „Безсовѣстный!“ скажутъ солдаты: „развѣ не видишь — дитѣ...“

При такой обстановкѣ казарменный вечеръ принималъ семейный характеръ; чувствовалась уютность и теплота въ обращеніи, освобождающая жизнь отъ мрачныхъ мыслей; шутки, остроты и игры затѣвались у кровати Иванова, и полное во всемъ этомъ отсутствіе грубости вмѣстѣ съ хорошимъ настроеніемъ свидѣтельствовало о душевной потребности каждаго изъ этихъ людей обратить къ кому-нибудь теплое слово, ласку, приложить къ кому-нибудь свои заботы. Такъ иногда старые солдаты привязываются къ скучающимъ, оторваннымъ отъ семьи новобранцамъ и, развеселивъ ихъ, сами становятся веселѣе.

Такъ проходили дни за днями. Дѣвочка прилежно занималась грамотой и посѣщала ротную школу. Иванову осталось служить только нѣсколько мѣсяцевъ, и онъ мечталъ о томъ, что повезетъ Галю къ себѣ въ деревню.

Мнѣ стало жаль дѣвочку, когда я объ этомъ узналъ: я давно замѣтилъ въ ней способности и мнѣ хотѣлось доставить ей возможность получить воспитаніе. Занимаясь съ солдатами грамотой, я училъ ее и старался возбудить въ ней къ себѣ довѣріе. Я самъ привыкъ къ этому милому ребенку, и иногда мнѣ бывало скучно, когда я долго ее не видѣлъ.

Иногда Галя заходила ко мнѣ учиться, но никогда не оставалась болѣе часа: ее тянуло въ роту.

— Подожди, Галя, — посиди, почитаемъ вмѣстѣ, останавливалъ я дѣвочку.

— Извините... я пойду... отвѣчала она застѣнчиво.

— Подожди—хоть чаю напейся.

— Нѣтъ, мнѣ надо идти... извините...

Она какъ-то боязливо торопилась и уходила, застѣнчиво опутивъ глаза. Я наблюдалъ за ней въ окно и видѣлъ, какъ она шибко перебѣгала улицу, торопясь въ роту. Я былъ чужой этой малюткѣ: я ничѣмъ не могъ занять ее, и ей было у меня скучно; но мнѣ все-таки хотѣлось что-нибудь для нея сдѣлать, и я позвалъ Иванова посоветоваться.

— Ты скоро уходишь домой? спросилъ я его.

— Такъ точно, ваше высокоблагородіе.

— Ну,—а какъ-же насчетъ Гали?

— Возьму въ деревню, буду около земли приучать...

— Да вѣдь она способная дѣвочка; ей можно образованіе дать.

— Такъ точно, она быстрая,—она все понимаетъ.

— Ее-бы хорошо было опредѣлить куда-нибудь. Я-бы объ этомъ позаботился.

— Такъ точно.

— Значить, ты согласенъ на это?

— Такъ точно, согласенъ.

— Ну, вотъ и отлично! Значить, ты оставишь ее у меня?

— Никакъ нѣтъ,—она и сама не останется...

Я убѣждалъ Иванова, но никакіе доводы не могли на него подѣйствовать; онъ даже удивлялся моему предложенію, что было видно по его глазамъ. По привычкѣ подчиненнаго, онъ во всемъ со мной какъ будто соглашался, но ни за что не хотѣлъ уступить мнѣ заботы о дѣвчкѣ. Я рѣшилъ больше не говорить съ нимъ объ этомъ, тѣмъ болѣе, что замѣтилъ, какъ дѣвочка послѣ этого разговора стала дичиться меня и нѣсколько дней не ходила даже учиться.

Вскорѣ послѣ того я встрѣтилъ Галю при входѣ въ роту; она растерялась и хотѣла-было вернуться назадъ, чтобы избѣжать со мной разговора, но я остановилъ ее.

— Галичка! ты за что-то на меня сердишься?

— Нѣтъ... право, нѣтъ... за что мнѣ на васъ сердиться?

— Ты, голубчикъ, не бойся,—вѣдь я-же ничего дурного тебѣ не желаю—насильно не оставляю тебя... началъ-было я объяснять ей, но она какъ-то нервно засуетилась и убѣжала, вѣроятно, предполагая, что я стану ее уговаривать. „Навѣрно Ивановъ научилъ“, подумалъ я.

Такъ проходили дни за днями. Я не видѣлъ дѣвочки болѣе мѣсяца и, не встрѣчая ее даже на кухнѣ, навѣрно не зналъ, гдѣ она въ то время жила. Справиться въ то время казалось мнѣ неумѣстнымъ, ибо я ясно видѣлъ, что люди скрываютъ дѣвочку, боясь чтобы начальство не отняло ея. Такой оборотъ дѣла нѣсколько огорчилъ меня; я рѣшился ждать случая, чтобы выказать ксати свое участіе, и случай такой нашелся, но только при печальныхъ обстоятельствахъ. Однажды утромъ Ивановъ прибѣжалъ ко мнѣ, запыхавшись и весь въ слезахъ. Кто не зналъ его, тотъ могъ бы подумать, что онъ смѣется: такъ странно складывались черты его длиннаго лица, — но я сразу догадался, что онъ пришелъ объявить мнѣ о какомъ-нибудь несчастіи.

— Ваше высокоблагородіе! помилосердствуйте! явите божескую милость!

— Что такое? въ чемъ дѣло?

— Галюха очень больна, — чуть дышитъ... еще вчера схватило...

— Что-же съ ней?... и отчего ты молчалъ до сихъ поръ? надо доктора...

Я побѣжалъ съ Ивановымъ на кухню и засталъ дѣвочку въ горячечномъ бреду; лицо ея было въ сильномъ жару, глаза дико глядѣли и взбитые черные волосики разметались по подушкѣ; она была прикрыта солдатской шинелью, которую все съ себя сбрасывала. Ивановъ вытиралъ глаза и и былъ очень взволнованъ.

Мы поскорѣ наняли карету и свезли дѣвочку въ госпи-

таль. Къ счастью, я встрѣтилъ тамъ знакомаго доктора, и очень просилъ его принять участіе въ больной. Мнѣ стало невыразимо жаль дѣвочку, особенно когда она начала бредить своей родиной; видно было, что дѣтская душа ея безсознательно рвалась къ невозвратимому прошлому.

— А вотъ и минареть... тотъ самый... да, четыре кипариса по угламъ... говорила она слабымъ голосомъ, перемѣшивая русскія слова съ турецкими.—И отчего мулла такъ тихо читаетъ молитву? Мама! какъ мнѣ молиться, — я ничего не слышу... и ты здѣсь, дядя?... вотъ это хорошо—да, это хорошо, что ты тоже пришелъ въ мечеть... Мама! пойдемъ туда внизъ, тамъ виноградъ поспѣлъ, кисти висятъ золотыя... Эффенди не будетъ сердиться, когда мы зайдемъ въ его садъ? А вонъ и рѣчка... это Марица!... Мама! я тутъ хочу жить, а въ Россію не поѣду... они и добрые, а я не поѣду... Мама! мнѣ больно! больно!... Мама!

Къ вечеру Галя немножко успокоилась, перестала бредить и какъ будто уснула. Мы съ Ивановымъ навѣщали ее каждый день, и только дней черезъ десять узнали отъ доктора, что ей лучше. Она въ этотъ день совсѣмъ не бредила, просила напиться, а къ вечеру даже узнала Иванова.

— Дядя! дядя! могла она только сказать.

Болѣзнь опредѣлилась: у нея была тифоидальная лихорадка, опасная только въ первые десять дней, послѣ чего началось быстрое выздоровленіе.

На другой день Ивановъ былъ у нея безъ меня. Галя была уже въ полномъ сознаніи и даже справлялась о немъ у госпитальной прислуги. Она какъ-то радостно вздрогнула, когда онъ вошелъ.

— Иди скорѣе, садись здѣсь,—я ждала тебя... какъ я рада... сказала она, увидавъ Иванова. Она хотѣла приподняться, чтобы обнять его, но еще была слаба. Ясная улыбка не сходила съ исхудалаго лица дѣвочки; на впалыхъ ще-

кахъ рѣзко обрисовывались двѣ ямочки, придававшія ей такъ много миловидности.

— Я была больна, дядя? да? Что у меня было?... Мнѣ скоро можно уйти отсюда?... здѣсь такъ тихо... скучно...

Ивановъ сіялъ отъ восторга; онъ радостно ласкалъ дѣвочку, шуточно выговаривая ей за причиненное ему безпокойство.

— Скажи пожалуйста, Галюха, съ чего ты это вздумала хворать? Вишь какая озорница, — вѣрно по двору бѣгала не одѣвши... Вотъ погоди-ко—я уже задамъ тебѣ...

Онъ хотѣлъ ударить ее шутя по рукѣ, но ему было жаль это сдѣлать: она была такая слабенькая...

Узнавъ отъ Иванова, что дѣвочка быстро поправляется, я счелъ свою роль оконченной; но мнѣ все-таки хотѣлось взглянуть на нее, увидѣть ея милую дѣтскую улыбку.

Черезъ нѣсколько дней я отправился въ госпиталь и засталъ Галю очень веселою; они съ Ивановымъ о чемъ-то разговаривали и оба смѣялись; но при моемъ появленіи дѣвочка затихла и сконфузилась.

— Ну, что, Галя, поправляешься? спросилъ я ласково.

— Да, мнѣ лучше... скоро буду здорова, отвѣчала она, повернувъ ко мнѣ голову, но не глядя въ глаза.

— А помнишь, какъ мы тебя въ каретѣ сюда привезли?

— Нѣтъ, отвѣчала она какъ-то принужденно.

Я рѣшительно не зналъ, какъ говорить съ ней, и замѣтилъ, что Ивановъ тоже стѣсняется. Я помѣшалъ имъ; снова почувствовалъ я себя чужимъ этой дѣвочкѣ, ничѣмъ съ нею нравственно не связаннымъ, и уже хотѣлъ-было уйти, какъ вдругъ меня задержало одно обстоятельство, которое, можетъ быть, спасло Галю, но еще больше отдалило ее отъ меня.

Послѣ минутной нѣмой сцены, въ которой каждый изъ насъ чувствовалъ себя неловко, Галя наклонилась къ Иванову и сказала ему что-то на ухо.

— Ахъ ты, Господи! экая память! я было и позабылъ.

совсѣмъ... сказалъ Ивановъ, вытаскивая изъ кармана три огромныхъ медовыхъ пряника.

— Что ты дѣлаешь? это послѣ тифа! да вѣдь это отравла! рѣзко замѣтилъ я Иванову и почти насильно вырвалъ пряники у него изъ рукъ.

Дѣвочка сдѣлала недовольную гримасу; Ивановъ какъ-то странно глядѣлъ на меня; но все-таки былъ доволенъ этимъ случаемъ и ушелъ изъ госпиталя въ веселомъ настроеніи духа.

Послѣ того мнѣ только разъ пришлось видѣть Галю во время увольненія Иванова на родину. Партія отпускныхъ солдатъ слѣдовала къ Николаевскому вокзалу и рядомъ съ ними бѣжала въ припрыжку смуглая дѣвочка, рѣзвая, здоровенькая и даже пополившая послѣ болѣзни; она была одѣта въ новомъ шерстяномъ платицѣ, которое солдаты сшили ей въ складчину, и несла въ рукахъ мѣшечекъ со своимъ маленькимъ имуществомъ.

— Галюха! на волю идешь, въ деревню! говорили солдаты, ловя ее за руку.

— Да не юли ты, Бога ради,—подъ извозчика попадешь! еще напрыгаешься... останавливалъ ее Ивановъ. Она слушалась его и шла рядомъ съ нимъ, держась за полу его шинели.

Обогнавъ партію, я встрѣтилъ солдатъ на дебаркадерѣ и здѣсь въ послѣдній разъ увидалъ Галю.

Ивановъ подвелъ ее ко мнѣ.

— Прощайте! сказала она привѣтливо.

— Прощай, Галичка; ты ужъ на меня не сердишься? нѣтъ?

— Нѣтъ, отвѣчала она — васъ дядя любить и я тоже люблю.

— И за пряники не сердишься?

— Да нѣтъ-же! засмѣялась она.—Съ чего вы это выдумали?

Послѣднія слова произнесла она съ дѣтской нѣжностью.

Я взялъ ее за ручку, и она приласкалась ко мнѣ, положивъ мою руку на свои плечики, какъ обыкновенно дѣлала, ласкаясь къ Иванову.

— Вотъ, ваше высокоблагородіе, сказалъ Ивановъ, съ которымъ я простился раньше, и который, какъ мнѣ казалось, съ грустью со мной разставался:—Богъ знаетъ, что выйдетъ... а только что она добрая, вѣрная...

Раздался второй звонокъ; на дебаркадерѣ послышалась бѣготня. „Пора!“ сказалъ я Иванову и наскоро передалъ ему свертокъ съ подарками для дѣвочки. Я наклонился, чтобы поцѣловать ее, и она обняла меня, улыбаясь сквозь слезы.

— Ну, Богъ вамъ въ помощь!... Садитесь!... коли что нужно будетъ — напишите, сказалъ я, передавая дѣвочку Иванову. Онъ схватилъ ее на руки и побѣжалъ въ вагонъ. Этотъ моментъ, когда старообразный загорѣлый солдатикъ бѣжалъ съ прелестной веселой дѣвочкой, казался мнѣ прелестнымъ: художникъ дорого-бы далъ за него.

Черезъ пять минутъ поѣздъ тронулся. Ивановъ и Гали привѣтливо закивали мнѣ изъ окна; я замѣтилъ, что дѣвочка плакала.

Съ тѣхъ поръ я не видѣлъ Галю и не знаю, гдѣ она теперь, счастлива-ли она, счастливъ-ли Ивановъ, и замѣнилъ-ли кто-нибудь дѣвочкѣ ея бѣдную мать; но образъ малютки оставилъ неизгладимое впечатлѣніе въ моей душѣ, и мнѣ онъ является иногда, какъ свѣтлое воспоминаніе.



Б Ъ Г Л Ы Й.

(Разсказъ.)



Когда былъ назначенъ судъ надъ однимъ изъ моихъ любимыхъ солдатъ, мнѣ грустно было на немъ присутствовать. Мнѣ была хорошо извѣстна причина его перваго изъ службы побѣга, но, собираясь написать эти записки, я надѣялся услышать что-нибудь новое, такъ какъ хорошо зналъ, что простой народъ иногда имѣетъ привычку утаивать

интимнѣйшія показанія на слѣдствіи съ тѣмъ, чтобы прямо открыть ихъ на судѣ. Къ сожалѣнію, я ошибся; новаго я не услышалъ ровно ничего; я только видѣлъ обычную процедуру суда, при чемъ мнѣ казалось, что судьи по обыкновенію ждали, что передъ ними явится подсудимый самаго распространеннаго типа: блѣдный, неряшливый, съ сурово-плутоватыми глазами и съ той особенной нахально-дикой развязностью, которая вырабатывается только въ арестантскихъ камерахъ; но дверь отворилась, и на порогъ показался, сопровождаемый конвойными, опрятный и красивый молодой солдатикъ, робкій и застѣнчивый, какъ ребенокъ. Достаточно было взглянуть на него, чтобы сразу рѣшить, что этотъ человѣкъ совсѣмъ не испорченъ, и что судьба случайно занесла его на скамью подсудимыхъ. На видъ ему было не болѣе двадцатидвухъ лѣтъ; онъ былъ небольшого роста и немного худо-

щавъ. Все въ немъ казалось въ высшей степени симпатичнымъ: красивое чистое лицо, оживленное дѣтски-простодушнымъ взглядомъ голубыхъ глазъ; русые, давно нестриженные волосы, разбросанные прядями по бѣлому лбу, и особенно его безыскусственные манеры, свидѣтельствовавшія о чистотѣ его помысловъ. Казалось страннымъ видѣть это простое, честное лицо между двумя штыками конвойныхъ; но однако человѣкъ этотъ былъ безспорно виновенъ и долженъ былъ понести кару за преступленіе несовмѣстное съ воинской честью; онъ понесъ ее, не взирая на полное участіе судей: его приговорили къ тюремному заключенію.

Судъ продолжался не долго. На всѣ вопросы судей подсудимый отвѣчалъ хотя и застѣнчиво, но толково, съ большой охотой передалъ мельчайшія подробности своего побѣга и ареста, но о причинѣ, побудившей его къ побѣгу, не заикнулся ни однимъ словомъ, какъ будто ея вовсе и не существовало. Едва ли кто-нибудь изъ присутствовавшихъ могъ подозрѣвать хотя десятую часть той драмы, которую пережилъ этотъ человѣкъ. Драма эта сдѣлалась мнѣ извѣстной отчасти изъ его переписки съ родными, которая была найдена въ оставленномъ имъ сундукѣ, отчасти изъ разспросовъ о немъ у его товарищей.

Я живо припоминаю пріятное лицо новобранца Якова Калюжнаго, который только за полгода до суда прибылъ ко мнѣ въ роту. Не взирая на его застѣнчивость, это былъ веселый и способный малый, и притомъ хорошо грамотный, словомъ, солдатъ—хоть куда. Судя по его веселому виду и по охотѣ, съ которой онъ принимался за военную науку, его можно было причислить къ тому разряду новобранцевъ, которые всецѣло увлекаются интересами военной жизни, не оглядываясь съ грустью на свое прошлое. Къ такому разряду обыкновенно принадлежатъ либо исключительныя военныя натуры, съ врожденнымъ военнымъ героизмомъ, пересиливающимъ всякія другія страсти, либо люди вовсе не

имѣющіе родного гнѣзда или несчастливые въ своемъ семейномъ быту. Однако дальнѣйшими моими наблюденіями такое предположеніе не оправдалось: однажды я принесъ въ роту нѣсколько писемъ и сталъ раздавать ихъ во время занятій; каждый изъ людей, получивъ свое письмо, флегматически пряталъ его въ карманъ, чтобы прочесть на досугъ послѣ ученія. Когда дошла очередь до Калюжнаго, я замѣтилъ его крайне нетерпѣливый видъ: глаза у него горѣли и руки слегка дрожали; онъ какъ-то нервно взялъ у меня изъ рукъ письмо и бросилъ умоляющій взглядъ на дядьку; я замѣтилъ это и велѣлъ его освободить. Калюжный тотчасъ-же спрятался въ самомъ отдаленномъ углу и не приходилъ въ теченіе часа. Когда дядька пошелъ за нимъ, то засталъ его въ какомъ-то блаженномъ состояніи: на глазахъ у него были слезы, щеки горѣли, грудь радостно волновалась. Онъ быстро опомнился и тотчасъ-же сталъ на занятія какъ ни въ чемъ не бывало.

Когда занятія кончились и наступили сумерки темнаго зимняго вечера, Калюжный снова удалился въ уголь, отперъ свой сундучокъ, вынулъ письмо и, прочитавъ его нѣсколько разъ, глубоко задумался. Въ эту минуту ни казармъ, ни товарищей передъ нимъ какъ бы не существовало: его духовному взору открылась картина его дѣтства.

И вотъ передъ нимъ красивый малороссійскій хуторъ, его бѣлая крытая очеретомъ хата, вся потонувшая въ вишневомъ садикѣ; тутъ же онъ видитъ своего строгаго, непривѣтливаго отца и добрую, нѣжно любящую, но совершенно больную и изнеможенную мать. Было время, когда его дѣтское сердце принадлежало всецѣло этой бѣдной матери; онъ ухаживалъ за ней, и бывалъ необыкновенно счастливъ когда она, высвободивъ изъ-подъ одѣяла свою изсохшую руку, брала его за плечи и, посадивъ около себя, не сводила съ него своихъ потухающихъ глазъ.

Послѣ смерти матери Яковъ и его старшій братъ Осипъ, 6-ти и 7-ми лѣтъ, остались на рукахъ суроваго отца, отъ

котораго ни тотъ, ни другой никогда не видѣли ласкъ, не слышали ни одного привѣтливаго слова.

Отецъ Якова былъ зажиточный мужикъ, дѣлецъ и вообще уважаемый въ деревнѣ крестьянинъ. Онъ особенно не любилъ Якова, называлъ его „жувакой“ (мямлей) и совсѣмъ не допускалъ до хозяйства. Возьметъ ли Яковъ ведро, чтобы напоить корову, или схватитъ охапку сѣна, отецъ вырываетъ у него и то и другое изъ рукъ и строго приказываетъ не въ свое дѣло не мѣшаться: ему не нравилось въ младшемъ сынѣ отсутствіе инстинктовъ „кулака“, которые вполне унаслѣдовалъ отъ отца Осипъ; на Осипа всегда отецъ смотрѣлъ благосклонно, признавалъ въ немъ своего помощника по хозяйству, хотя никогда не бывалъ съ нимъ ласковъ.

Между Осипомъ и Яковымъ дружбы никогда не существовало; первый былъ мальчикъ совсѣмъ другого пошиба: онъ много смахивалъ на отца, любилъ копить деньгу, употребляя для этого иногда и хитрость, и былъ бы, вѣроятно, очень нахаленъ, если бы не былъ запуганъ; всѣ его мечты витали около хорошей хаты съ дубовыми сохами, да около земли и скотины, къ которой онъ чувствовалъ привязанность только какъ къ статьѣ дохода. Еще не было ему и семи лѣтъ, какъ онъ уже имѣлъ свой маленькій капиталъ, состоявшій изъ горсти мѣдныхъ денегъ, которыя онъ накопилъ, обманывая отца при покупкахъ на базарѣ. Якова братъ считалъ глухимъ мальчикомъ и никогда не бывалъ съ нимъ откровененъ; за то въ деревнѣ у него было много пріятелей, которыхъ онъ отличалъ за ихъ хитрость, а главное — за способность обманывать своихъ родителей. Лучшей забавой для Осипа были импровизированные завтраки съ товарищами гдѣ-нибудь въ потаенномъ мѣстѣ, въ лѣсу или на кладбищѣ, а то просто гдѣ-нибудь въ канавѣ, куда каждый изъ мальчиковъ приносилъ что-нибудь выкраденное изъ кладовой своихъ родителей, при чемъ самые отчаянные шалуны доставали иногда и водку.

Совсѣмъ въ другомъ родѣ былъ Яковъ. Это была страстная, но вмѣстѣ съ тѣмъ робкая, любящая и, можетъ быть, поэтическая натура. Онъ воспитался подъ вліяніемъ своей матери, которая раньше была горничной и умѣла читать; она читала ему Евангеліе, и иногда они вмѣстѣ плакали, разсуждалъ о страданіяхъ Христа. Такія дѣти всегда ищутъ уединенія, и если съ кѣмъ-нибудь сходятся, то почти всегда бываютъ обманутыми вслѣдствіе своего простодушія. Его не занимали ни хата съ дубовыми сохами, ни земля, ни скотина; но за то онъ любилъ лѣсъ и особенно утромъ, когда тамъ поютъ птицы. Онъ любилъ разлечься гдѣ-нибудь между дубами, гдѣ виденъ клочокъ голубого неба, и думать о Богѣ, о раѣ и вообще обо всемъ, что возвышается надъ земнымъ существованіемъ человѣка. Когда по небу пробѣгали легкія бѣлыя облачки, Яковъ жадно ловилъ глазами ихъ очертанія, и ему грезились свѣтлые образы тѣхъ неземныхъ существъ, о которыхъ онъ любилъ думать. Въ такія минуты Якову всегда хотѣлось помогать бѣднымъ, и онъ всегда искалъ къ тому случая. Иногда онъ пряталъ свою порцію какого-нибудь лакомаго блюда и, завидѣвъ гдѣ-нибудь нищаго, съ бьющимся сердцемъ, осторожно отъ отца, выбѣгалъ къ нему навстрѣчу съ кускомъ кулича, съ пирогомъ или яйцами.

Однако Якову минуло шестнадцать лѣтъ и ему стало скучно въ уединеніи. Душа его инстинктивно искала другой души, которая бы его выслушала и рассказала бы ему свои собственные волненія. Ему удалось встрѣтить такую душу, и это произошло совершенно случайно. Наступила весна; оттаявшая земля пустила травку, и ему вдругъ отецъ объявилъ, что онъ его нанялъ въ общественные овечьи пастухи. Конечно такое назначеніе не считается въ деревнѣ лестнымъ, и Яковъ былъ отданъ въ наймы, какъ неспособный къ хозяйству; но мальчикъ несказанно этому обрадовался. Онъ давно уже мечталъ о пастушеской жизни, потому что любилъ бродить по полю и по лѣсу, а тутъ еще будутъ съ

нимъ гулять животныя, которыхъ онъ заранѣе полюбилъ уже въ своемъ воображеніи.

Рано утромъ на другой день Яковъ уже выгоняетъ изъ деревни стадо овецъ, красиво заломивъ на бекрень бриль (соломенную шляпу) и держа подъ мышкой вишневый бичъ, нарочно для того приготовленный. У него явилось даже нѣкоторое кокетство; съ бичемъ подъ мышкой онъ считалъ себя очень красивымъ или, вѣрнѣе сказать, лихимъ, и до того мечталъ объ этомъ бичѣ, что рѣшился вырѣзать его ночью въ своемъ саду, рискуя навлечь на себя гнѣвъ отца. Въ манерахъ онъ старался подражать прежнему пастуху, очень красивому паробку (парню), который ушелъ въ солдаты. Якову казалось, что всѣ смотрѣли на него изъ оконъ и любовались имъ въ то время, какъ онъ гналъ по улицѣ стадо. Весь день онъ любовался природой, мечталъ и разговаривалъ особеннымъ языкомъ съ животными, что очень его забавляло.

Пригнавъ вечеромъ въ деревню стадо, Яковъ сталъ разлучать овецъ по избамъ. Въ крайней избѣ, почти въ противоположномъ концѣ съ избой Якова, жила вдова-старуха, у которой была единственная дочь Маруся, ровесница Якову. Это была черноглазая и румяная дѣвушка, работница, которая уже въ этихъ годахъ занималась грести сѣно, погонять воловъ за плугомъ, становилась жать съ конны, и тѣмъ поддерживала свою мать. Избенка у нихъ была жалкая, покосившаяся, и гумно жиденькое, но за то огородецъ былъ всегда въ хорошемъ видѣ и красивымъ зеленымъ уголкомъ врѣзывался въ поле. Конечно женщины эти были очень бѣдны, и Маруся рѣдко показывалась на гулянкахъ, стыдясь своего костюма. Яковъ видѣлъ ее нѣсколько разъ въ церкви: она тамъ стояла съ опущенными глазами и тихо молилась, ни на кого не глядя; онъ даже думалъ какъ-то о ней, но потомъ забывалъ, и вотъ теперь опять припомнилъ ея лицо, когда она пришла за своими овцами. Она не глядѣла на него и провожала глазами проходившее мимо нея стадо.

— Не найдешь? спросил Яковъ, лихо опираясь на бичъ.

— Не знаю... може и пропустила, отвѣчала дѣвушка, краснѣя и надвигая на лобъ платокъ. Яковъ толкнулъ одну изъ овецъ бичемъ.

— Она? спросилъ онъ съ самодовольнымъ видомъ.

— Она... и почему ты узналъ?

— А я замѣтилъ, когда ты утромъ выпускала... только я тебя тогда не разглядѣлъ.

— И я тебя не разглядѣла... Ты Калюжнаго сынъ?

— Да. А ты Нечипорихина дочь?

— Да.

Дѣвушка ушла, бросивъ на пастуха одинъ изъ тѣхъ взглядовъ, которые выдаютъ только украдкой. Она была такъ же застѣнчива, какъ и Яковъ, и именно этимъ прежде всего ему понравилась. Мальчикъ всю ночь воображалъ себѣ ея полузакрытое старенькимъ платкомъ лицо, а на другой день, передъ тѣмъ какъ разлучать овецъ, чувствовалъ, что у него билось сердце, когда онъ подходилъ къ дому Нечипорихи. Опять выбѣжала Маруся. Яковъ помогъ ей найти овецъ, но нарочно медлилъ, чтобы поговорить съ нею.

— Ты будешь въ воскресенье въ церкви? спросилъ онъ.

— Буду... и ты будешь? спросила она какъ бы между прочимъ, занимаясь въ это время овцами.

— Буду; я каждое воскресенье хожу... хочешь, я тебѣ фиалокъ нарву, — у насъ въ саду много растеть.

— Нарви, отвѣчала она, закрываясь платкомъ.

— Много нарву; а завтра, какъ овецъ выгоню, и отдамъ тебѣ.

— А ты заходи къ намъ воду пить, когда будешь по близости съ овцами.

— Зайду.

Маруся хотѣла уйти и уже взялась-было одной рукой за ворота, но Якову не хотѣлось, чтобы она такъ скоро ушла, и онъ сталъ перебирать у себя въ головѣ всѣ средства, чтобы

еще на минуту задержать ее. Почему-то именно теперь ему вдругъ пришло въ голову, что Маруся бѣдная въ сравненіи съ нимъ и, можетъ быть, иногда голодаетъ со своей матерью въ то время, какъ у его отца ни въ чемъ нѣтъ недостатка. Мальчику стало невыразимо жаль ее, онъ готовъ былъ подарить ей все, что имѣлъ, но у него ничего съ собой не было, за исключеніемъ пшеничнаго пирога, который онъ носилъ съ собой въ поле и забылъ съѣсть. Яковъ вытащилъ его изъ-за пазухи.

— Хочешь пирожка? спросилъ онъ какъ-то нерѣшительно.

— Зачѣмъ? спросила она съ удивленной улыбкой.

— Съѣшь... онъ хорошій...

— Вотъ-то таки, — я не нищая... сказала она, разсмѣявшись.

— Я по добротѣ хотѣлъ... Я не зналъ, что ты такъ думаешь.

— А коли по добротѣ, то давай, я матери отдамъ: она сегодня весь день недужаетъ (болѣетъ).

Маруся кивнула пастуху головой, и быстро спряталась за воротами. Яковъ проводилъ ее глазами, и только могъ видѣть черезъ плетень, какъ вѣтеръ заигралъ кончиками ея старенькаго головного платка, который сталъ для него милымъ и безъ котораго Маруся, быть можетъ, потеряла-бы въ его глазахъ часть своей красоты.

Пользуясь тѣмъ, что толока (пастбище) была невдалекѣ отъ избы Нечипорихи, Яковъ сталъ ходить къ Марусѣ пить воду, и сразу понравился ея матери. Старуха даже гордилась тѣмъ, что ея ветхая изба посѣщается сыномъ такого важнаго мужика, какъ Калюжный, который держалъ себя передъ вдовой гордо и только небрежнымъ кивкомъ отвѣчалъ на ея поклоны при встрѣчахъ на улицѣ.

Маруся какъ-бы ненарочно выходила встрѣчать Якова на огородъ, въ одномъ углу котораго росла группа густыхъ

вишенъ, гдѣ обыкновенно Яковъ поджидалъ ее, и они тамъ часто бесѣдовали. Такимъ образомъ, между молодыми людьми завязались постоянныя сношенія.

Однажды Яковъ, увлеченный своей первой юношеской любовью, полной только одной платонической страсти и далекой отъ всего порочнаго, засидѣлся съ Марусей въ садикѣ дольше обыкновеннаго. Онъ не замѣчалъ, какъ проходилъ часъ за часомъ, а между тѣмъ оставшіяся безъ пастуха овцы сначала нѣсколько, а потомъ и все стадо, постепенно подвигаясь къ яровымъ всходамъ, произвели-бы значительную поправку, если бы не были остановлены работающими въ полѣ мужиками. Якову и въ голову не приходило такое несчастье; онъ беззаботно сидѣлъ около своей Маруси, которая, прислонясь къ дереву, плела вѣнокъ изъ васильковъ. Полный счастья и задумчиво веселый, Яковъ шаловливо ложился на траву у ея ногъ, и нарочно выдергивалъ сплетенные цвѣтки, чтобы вызвать неудававшееся сердитое выраженіе на лицѣ дѣвушки, которое ему очень нравилось. Она била его по рукамъ, а онъ ловилъ ея руки и сжималъ ихъ, испытывая при этомъ тотъ непонятный для мальчика трепетъ первой любви, въ которомъ такъ много высшей поэзіи и счастья... И вдругъ въ эту минуту чья-то костлявая, жилистая рука быстро раздвинула кусты и схватила его за ухо. Это былъ его отецъ, сопровождаемый старостой.

— Добре-жъ ты пасешь овецъ, сынку! сказалъ онъ, приподымая его на ноги и ставя передъ собой.

Маруся тотчасъ-же убѣжала, но староста погнался за ней, чтобы сдѣлать внушеніе ея матери.

Яковъ остался наединѣ съ отцомъ.

— Не шмыгай, не шмыгай по огородамъ! рано тебѣ гоняться за дивчатами (дѣвушками)! говорилъ онъ, все сильнѣе и сильнѣе дергая его за ухо.

Яковъ насилу вырвался, пустивъ въ дѣло не только руки, но и зубы, и, какъ волчонокъ, убѣжалъ въ поле. Отецъ не

преслѣдовалъ его. Трудно передать, что пережили послѣ того Маруся и Яковъ; оскорбленіе за оскорбленіемъ сыпались на ихъ головы. Вся деревня узнала о происшествіи, и веселая компанія паробковъ (парней), въ которой участвовалъ также и Осипъ, собравшись на гулянку, вымазала дегтемъ ворота у хаты Нечипорихи, что считается верхомъ безчестія. Ужасный и отвратительный обычай! — не смоешь этихъ воротъ и не сострогаешь, потому что на другой день ихъ непременно опять вымажутъ; и стоять эти ворота клеймомъ безчестія на человѣкѣ; и всякій прохожій знаетъ, что за этими воротами живетъ дѣвушка скомпрометировавшая себя дурнымъ поведеніемъ, на которой можетъ посвататься только какой-нибудь бродяга, которому рѣшительно все равно, какъ-бы о немъ ни судили люди. Каждый мальчишка, проходя мимо такихъ воротъ, считаетъ своей обязанностью швырнуть въ нихъ поднятымъ на улицѣ камнемъ.

Бѣдная, опозоренная Маруся не могла оправдаться даже въ глазахъ своей матери, которая хотя и повѣрила ей вполнѣ, но не могла простить ей этого незаслуженнаго позора. Она все плакала и журила дочь за неосторожность.

— Теперь уже ничѣмъ не воротить, ничѣмъ не докажешь людямъ... постоянно твердила она, усугубляя горе своей дочери.

Бѣдная Маруся не смѣла показываться на улицу и даже не выпускала по утрамъ овецъ, которыхъ оставляла пасться на огородѣ. Нѣсколько дней она не видалась съ Яковомъ, который сдѣлался предметомъ насмѣшекъ со стороны брата и его товарищей-паробковъ. Больнѣе всего было Якову въ его несчастіи слышать насмѣшки отъ брата; это былъ единственный человѣкъ, который могъ-бы заступиться за него и выставить его и Марусю въ должномъ свѣтѣ въ глазахъ односельчанъ; но Осипъ и не думалъ объ этомъ, — ему доставляло наслажденіе разжигать эту исторію, и онъ иначе какъ съ насмѣшкой не смотрѣлъ Якову въ глаза.

Отецъ при встрѣчахъ съ Яковомъ ничего ни упоминалъ о происшедшей сценѣ, но какъ-то хитро посматривалъ на него, какъ-будто собирался что-то съ нимъ сдѣлать. Мальчикъ старался держаться въ уединеніи, питался однимъ хлѣбомъ, который бралъ съ собой въ поле, и даже не ночевалъ въ избѣ, избѣгая встрѣчи съ отцомъ.

Однажды, когда онъ примостился спать у овечьего хлѣва и сталъ, засыпая, думать о своей бѣдной Марусѣ, кто-то вдругъ сильно хлестнулъ его возжами.

— Ууу...! подлый! заворчалъ на него отецъ.

— За что вы бьетесь?! сказалъ Яковъ, вспрыгивая и вырывая у него изъ рукъ возжи.

— А! такъ ты такъ! закричалъ взбѣшенный отецъ и хотѣлъ прибить его, но мальчикъ вырвался и убѣжалъ на улицу.

Онъ спрятался подъ сосѣднимъ плетнемъ и долго неутѣшно рыдалъ. Вдругъ его осянила свѣтлая мысль, и онъ удивился, почему она раньше не приходила ему въ голову: „пойду, пойду!“ сказалъ онъ, хватаясь за голову, и пустился бѣгомъ къ тому самому садику на огородѣ Нечинорихи, гдѣ его счастье такъ неожиданно было перемѣшено съ горемъ... Вотъ онъ уже видитъ въ темнотѣ силуэтъ этого садика; пріятный холодокъ пробѣжалъ по его жиламъ; дрожа отъ волненія, онъ перепрыгиваетъ канаву и робко, ощупью раздвигаетъ кусты. Ему послышалось, что въ саду что-то шевелится; не то робость, не то блаженство наполнили въ это мгновеніе его душу. „Кто это?“ подумалъ онъ, — „можетъ быть, она, Маруся?...“ Сердце у него запрыгало.

— Это ты? послышался робкій шопотъ изъ-за кустовъ.

— Маруся! сердце мое! рѣдненькая моя!... Когда-бъ ты знала, какъ я тебя хотѣлъ видѣть!

— Если бы хотѣлъ, то давно-бъ пришелъ... Я уже третью ночь жду тебя здѣсь,—какъ мать уснетъ, такъ и прихожу.

— Господи! развѣ же я зналъ, что ты меня такъ любишь!...

Они схватились за руки и оба, дрожа отъ счастья и ночной свѣжести, пошли къ тому самому мѣсту, гдѣ засталъ ихъ отецъ.

Тамъ было такъ хорошо, особенно ночью, когда вокругъ царила мертвая тишина и только одинъ шелестъ листьевъ напоминалъ имъ о томъ, что окружающая ихъ природа, такъ же какъ и они, во что-то влюблена.

Трава была на томъ мѣстѣ измята и тамъ-же валялся недоплетенный васильковый вѣнокъ.

Маруся была на этотъ разъ безъ платка, и Яковъ впервые увидѣлъ всю цѣликомъ ея толстую черную косу. Онъ обратилъ вниманіе на ея исхудавшее за эти дни лицо.

— Бѣдная... сказалъ онъ со слезами и, высвободивъ одну изъ своихъ рукъ, сталъ гладить ее, какъ ребенка, по головѣ.

Маруся была убита горемъ и почти ничего не говорила. Никто изъ нихъ не упомянулъ о происшедшей на-дняхъ сценѣ, боясь отравить этимъ блаженство свиданія.

Уже свѣтало, когда Яковъ оставилъ Марусю. Онъ прямо пошелъ выгонять стадо. Выпуская своихъ овецъ, Маруся ласково улыбнулась ему изъ-подъ того же старенькаго платка и тѣмъ сдѣлала его счастливымъ на весь этотъ день.

Каждую ночь сталъ ходить Яковъ на свиданіе съ Марусей, и никто изъ домашнихъ не догадывался о томъ, гдѣ онъ ночуетъ. Въ одну изъ такихъ ночей съ вечера началась гроза и полилъ проливной дождь. Яковъ долго находился въ нерѣшительности. „Идти или не идти?“ думалъ онъ, и хотѣлъ-было остаться, но какая-то сила, независимо отъ его воли, подняла его на ноги. Онъ закутался въ сирякъ (сухонный плащъ) и, закатавъ панталоны, побѣжалъ босикомъ къ огороду Нечинорихи.

Въ душѣ онъ чувствовалъ, что непременно встрѣтитъ Марусю, но разсудокъ говорилъ ему, что это невозможно. „Надо съ ума сойти, чтобы почевать въ такую пору на огородѣ подъ дождемъ и ждать меня, почти навѣрно зная, что

я не приду", думалъ Яковъ; но каково было его изумленіе, когда онъ замѣтилъ подъ деревомъ закутанную въ рядно женскую фигуру.

Маруся успокоилась въ послѣднее время и, счастливая свиданіями съ Яковомъ, стала забывать понемногу нанесенную ей сосѣдями обиду. Она была особенно веселой въ эту ночь и встрѣтила Якова звонкимъ смѣхомъ.

— Чего ты пришелъ? сказала она шутливо.

Яковъ, замѣтивъ что она дрожитъ отъ холода, окуталъ ее своимъ сирякомъ; но она шалила и вырывалась, нарочно подставляя подъ дождь свои плечи. Когда Яковъ ловилъ ее, чтобы снова закрыть, она грозила ему, что уйдетъ домой. Изъ-за этого произошла между ними маленькая ссора, которая не только не охладила ихъ другъ къ другу, но, напротивъ, послужила къ болѣе трогательному, чѣмъ всегда, прощанью.

Такъ проходили дни за днями. Яковъ исправно пасъ днемъ овецъ, а ночи проводилъ съ Марусей. Иногда онъ, усталый, засыпалъ въ полѣ, но нарочно передъ тѣмъ отгонялъ овецъ подальше отъ пашенъ, чтобы онѣ не успѣли въ это время произвести потраву.

Однажды ночью, когда Яковъ и Маруся сидѣли, обнявшись, въ садикѣ и мечтали о будущемъ счастьи, вдругъ со стороны улицы послышался шумъ. Это были тѣ самые паробки, которые вымазали дегтемъ ворота. Они приближались шумной толпой къ избѣ Нечипорихи, чтобы слѣть ту ужасную позорящую пѣсню, которая поется подъ окнами хаты, гдѣ живетъ дѣвушка, скомпрометировавшая себя дурнымъ поведеніемъ. Глаза Якова засверкали яростью; онъ быстро вскочилъ на ноги и побѣжалъ къ хатѣ.

— Куда ты? вернись! они тебя прибьютъ... останавливала его Маруся.

Яковъ не слушалъ ее. Онъ собралъ по дорогѣ нѣсколько камней и, подойдя къ плетню, сталъ швырять ими въ толпу паробковъ.

— Ай! ай! слышались голоса ушибленныхъ, между которыми Яковъ разслышалъ голосъ брата.

— Да это Яшка, хлопцы! ловите его!

Кто-то хотѣлъ-было перелѣзть черезъ плетень, но Яковъ толкнулъ его въ грудь камнемъ.

— Убью! кричалъ онъ въ изступленіи, — ей-богу убью!...

Послышались угрозы, ругательства и скверныя слова, обращенныя къ Марусѣ; но толпа однако разошлась, и никто не смѣлъ затянуть пѣсню.

— Ушли? спросила, дрожа отъ страха, Маруся.

— Ушли! отвѣчалъ Яковъ, гордый своей побѣдой. — Да мнѣ что! ей-богу, до смерти пришибу! чего мнѣ бояться?...

Вернувшись домой, Яковъ былъ встрѣченъ братомъ, который, ни слова не говоря, сильно ткнулъ его кулакомъ въ грудь и затѣмъ показалъ на шрамъ у себя на лицѣ. Яковъ съ какой-то неестественной силой кинулся на брата и, поваливъ его на землю, со всей силы вцѣпился ему въ волосы.

— Давно, давно я до тебя добирался!... это ты главный заводчикъ! ты!... кричалъ Яковъ въ изступленіи.

Ихъ разнялъ выбѣжавшій изъ избы отецъ. Старикъ хотѣлъ, при помощи Осипа, связать Якова, но оба, испуганные, убѣжали въ избу, увидѣвъ въ рукахъ у него снятую со стѣны косу.

— Будьте вы прокляты! закричалъ имъ Яковъ вдогонку.

Вслѣдъ за раздраженіемъ, на Якова вдругъ нашло какое-то отчаянное спокойствіе: онъ вошелъ въ избу и, въ виду отца и брата, которые ему не препятствовали, взялъ связку ключей и отправился въ каморку. Тамъ онъ досталъ всѣ принадлежавшія ему вещи и даже зимнюю одежду и, завязавъ все это въ узелъ, снова пришелъ въ избу. Не торопясь, повѣсилъ онъ на мѣсто ключи и, перекрестясь на образъ, ушелъ съ узломъ изъ дому. Отецъ и братъ сидѣли въ это время, не шевелясь, и въ какомъ-то суевѣрномъ страхѣ слѣдили за его движеніями. Черезъ нѣсколько времени они выбѣжали на

улицу, чтобы посмотреть, не поджигаетъ-ли онъ хату; но, замѣтивъ въ темнотѣ его удаляющуюся фигуру, оба вернулись въ избу.

— Онъ къ Нечипорихѣ пошелъ, сказалъ, нѣсколько помолчавъ, Осипъ.

— А бѣсъ его возьми, — пускай идетъ... отвѣчалъ старикъ и махнулъ рукой.

Уже свѣтало, когда Яковъ постучался въ дверь къ Нечипорихѣ. Маруся отворила дверь и вскрикнула отъ испуга: она не ждала его и, кромѣ того, была испугана его страннымъ, не натурально спокойнымъ видомъ.

— Я къ вамъ навсегда, сказалъ Яковъ, какъ-то странно поводя глазами и улыбаясь.

Это была зловѣщая улыбка — отраженіе наступавшей болѣзни.

Прошло шесть лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ Яковъ поселился въ домѣ Нечипорихи. Эти шесть лѣтъ были лучшимъ временемъ въ его жизни: онъ женился на Марусѣ и имѣлъ уже двоихъ дѣтей. Дурные толки о немъ сразу замолкли послѣ того какъ онъ заболѣлъ горячкой, а своимъ бракомъ съ Марусей онъ окончательно ихъ уничтожилъ, при чемъ многіе осуждали его отца. Своимъ неустаннымъ трудомъ Яковъ внесъ довольство въ свою семью; и вдругъ, въ самую счастливую пору, когда его жизни могъ всякій позавидовать, онъ былъ взятъ въ солдаты.

Яковъ нисколько не испугался такой участи: онъ ждалъ ея, потому что былъ второй сынъ у отца и считался до сихъ поръ не выдѣленнымъ; а до знакомства съ Марусей онъ даже мечталъ о солдатской жизни.

Теперь конечно жаль было разставаться съ семьей, но предаваться горю было бы малодушіемъ. „Пять лѣтъ — не вѣкъ“, думалъ Яковъ, — „а за то потомъ сколько будетъ радости, когда вернусь благополучно домой“.

Маруся плакала и удивлялась его спокойствію. Онъ все утѣшалъ ее, но однако не выдержалъ и, передъ тѣмъ какъ уѣзжать, вдругъ о чемъ-то встревожился, какъ будто его стало томить предчувствіе чего-то недобраго. Онъ долго сидѣлъ, обнявшись съ женой, и, при прощаньи, заставилъ ее поцѣловать икону въ томъ, что она пребудетъ ему вѣрна. Когда все это было исполнено, Яковъ уѣхалъ веселый, и много удивлялся слезамъ другихъ новобранцевъ, которые съ нимъ ѣхали. „И чего они плачутъ, дурные?“ думалъ Яковъ, — „мнѣ такъ не о чемъ плакать: я знаю, что Маруся меня любить и будетъ такъ же любить черезъ пять лѣтъ... Вернусь домой, и опять заживемъ съ ней, и все у насъ будетъ хорошо“.

Это хорошее настроеніе сохранилъ Яковъ и на службѣ. Жена и дѣти невидимо около него присутствовали въ минуты уединенія, и онъ ласкалъ ихъ въ своемъ воображеніи; только о здоровьи ихъ могъ Яковъ беспокоиться, а потому не удивительно, что онъ такъ обрадовался, получивъ отъ жены первое письмо, которое кончалось словами: „при этомъ низкомъ поклонѣ цѣлую тебя, мой ненаглядный, и буду вѣрной и преданной тебѣ по самый гробъ моей жизни“.

Яковъ перелистывалъ это письмо, сжимая его въ своихъ, дрожащихъ отъ волненія пальцахъ; онъ робко оглядѣлся по сторонамъ и убѣдившись, что никто его не видитъ, нѣжно коснулся губами письма, затѣмъ аккуратно сложилъ его и спряталъ въ сундукъ. Въ это время грудь его была какъ-бы напитана тѣмъ нѣжнымъ ароматомъ первой любви и первыхъ свиданій съ Марусей, которыя объяснили ему, бѣдному мальчику, въ чемъ заключается прелесть жизни.

Якову стало необыкновенно весело; онъ побѣждалъ въ припрыжку къ своимъ товарищамъ, сталъ тормошить ихъ, увлекая въ игры, и даже затянулъ было пѣсню.

— Ишь, сдурѣлъ, малышъ, замѣтилъ проходившій мимо фельдфебель. — Чей это?

— Мой, отозвался одинъ изъ дядекъ.

— И вправду онъ славно у тебя поетъ; надо его къ хору приспособить; давай-ка еще пѣсельниковъ, — мы ихъ сейчасъ подрежемъ.

Дядьки стали подталкивать и другихъ новобранцевъ, которые сидѣли съжившись на своихъ койкахъ; имъ конечно пѣсня совсѣмъ не шла въ голову. Нѣсколько человѣкъ съ мрачнымъ видомъ выступили изъ-за коекъ и подошли къ собравшейся группѣ.

— Ну-т-ко, запѣвай, приказалъ Калюжному фельдфебель.

Ничто не можетъ быть комичнѣе принужденнаго пѣнія: къ Калюжному присоединилось нѣсколько лѣнивыхъ, точно вымученныхъ голосовъ; одинъ запѣлъ какъ-то сердито, точно не пѣлъ, а бранился съ тѣми людьми, которые его принуждали; другой запѣлъ жалобнымъ голосомъ, вѣроятно надеясь, что его пожалѣютъ и скоро отпустятъ; третій, повидимому не смѣлый, тянулъ что-то про себя, вѣроятно боясь, чтобы ему не зажали ротъ со словами: „чего ты орешь!“ Одинъ Калюжный выказывалъ исполнѣе свое искусство и пѣлъ такъ же смѣло, какъ бывало на полѣ, когда ходилъ съ овцами.

— Молодецъ! сказалъ фельдфебель, потрепавъ его по плечу.

— Этотъ, Иванъ Кирилычъ, и черезъ балерту (барьеръ) хорошо прыгаетъ, сказалъ дядька.

— А Тарѣвъ? спросилъ съ улыбкой фельдфебель, указывая на сердито пѣвшаго новобранца, который смотрѣлъ теперь исподлобья, какъ-бы спрашивая: можно-ли ему наконецъ уйти?

Дядьки расхохотались.

— Тарѣвъ подходитъ къ балерту все одно, какъ важный господинъ идетъ къ креслу, чтобы сѣсть въ ево... отвѣчалъ одинъ изъ дядекъ.

Новобранецъ сердито посмотрѣлъ на дядьку. Это былъ одинъ изъ тѣхъ солдатъ, которые всю службу прикидываются

несчастными, надѣясь, что начальство надъ ними сжалятся и отпустить ихъ по болѣзни домой.

Иногда такіе люди наносятъ себѣ умышленныя раны, и причиною этому бываетъ либо тоска по родинѣ, либо безотчетное, бессмысленное и ничѣмъ не оправдываемое отвращеніе къ военной службѣ. Много нужно педагогическаго навыка при обращеніи съ такими людьми.

Калюжный съ грустной улыбкой поглядывалъ на своихъ товарищей.

„Бѣдные“, думалъ онъ: — „у нихъ, вѣрно, никого дома не осталось, кто-бы ихъ любилъ и утѣшалъ письмами... а если есть, то чего-жъ они тоскуютъ? не вѣкъ-же служить, — чудаки!“

Онъ былъ такъ счастливъ, получая аккуратно два раза въ мѣсяцъ письма отъ жены; если письмо опаздывало, Калюжный начиналъ беспокоиться; но за то еще больше радовался, когда получалъ его.

Однажды только посетилъ его какой-то бѣсъ и вбилъ ему въ голову дурныя мысли: никогда Калюжный не думалъ о томъ человѣкѣ, которому Маруся диктовала свои письма; а это былъ молодой и красивый паробокъ Гордіенко, учившійся въ сельской школѣ. Его даже паробки не любили за его нахальство въ обращеніи съ женщинами, между которыми онъ, впрочемъ, пользовался успѣхомъ. Яковъ въ ужасѣ брался за голову и удивлялся, какъ онъ раньше объ этомъ не думалъ; онъ даже хотѣлъ-было написать къ Марусѣ, чтобы она не обращалась къ Гордіенкѣ, а пригласила-бы для этого какого-нибудь мальчика изъ школы, но боялся оскорбить ее этимъ. Онъ не могъ безъ ужаса думать о томъ, что Гордіенко ходитъ въ избу къ Марусѣ. „Господи! что если вдругъ?!“ приходило ему въ голову. — „Да нѣтъ-же, нѣтъ!.. грѣхъ и подумать объ этомъ...“ гналъ онъ отъ себя эти мысли; но онъ каждый разъ приходилъ ему въ голову, когда письмо отъ жены запаздывало. Получивъ письмо, онъ пла-

каль отъ радости, называлъ себя дуракомъ и негодяемъ, и совершенно успокоивался.

Передавая постоянно письма Калюжному, я замѣтилъ одинъ и тотъ-же почеркъ на адресѣ; но вдругъ къ концу года пришло письмо съ другимъ почеркомъ, которое я и передалъ новобранцу, не придавая этому рѣшительно никакого значенія. Однако это письмо повело къ роковому приключенію.

Явившись на другой день утромъ на занятія, я замѣтилъ въ ротѣ какую-то суету: фельдфебель ходилъ разстроенный и очевидно передъ моимъ приходомъ очень сердился; дядьки избѣгали встрѣчаться со мной глазами; новобранцы имѣли испуганный видъ.

Очевидно отъ меня что-то скрывали или не рѣшались о чемъ-то докладывать. Взглянувъ на новобранцевъ, я сразу замѣтилъ, что Калюжнаго между ними не было.

— Гдѣ Калюжный? спросилъ я у одного изъ дядекъ.

Дядька переглянулся съ фельдфебелемъ, который быстро ко мнѣ подошелъ.

— Онъ, ваше высокоблагородіе, отлучился... только что я хотѣлъ повременить докладывать, чтобы васъ не обезпокоить: я послалъ искать его на Сѣнную.

„Напрасный трудъ“, подумалъ я: — „его тамъ не найдутъ“. Сѣнная площадь — клоакъ ночного разврата, куда отлучаются самые отпѣтые солдаты. Тамъ развращенное и неспособное къ чистымъ порывамъ сердце получаетъ минутное утolenіе своихъ грязныхъ страстей, съ тѣмъ чтобы на другой день мучиться въ ожиданіи суда и тюрьмы. Тамъ, въ подвальныхъ этажахъ носятся вонючіе пары, отравленные запахомъ гнили, и въ клубахъ табачнаго дыма мелькаютъ грязныя, гнилыя, искаженные развратомъ лица погибшихъ женщинъ; тамъ жутко и невыносимо жалобно пиликаетъ гармоника, точно поетъ погребальную пѣсню погибшему для лучшихъ земныхъ радостей человѣческому сердцу. Могъ-ли

такой славный неисторченный солдатикъ, какъ Калюжный, очутиться въ этомъ клоакѣ? Если онъ и могъ бѣжать, то не иначе какъ на родину, и если-бы немного раньше послали, то навѣрно задержали-бы его на вокзалѣ. Осмотръ его вещей подтвердилъ мое предположеніе: послѣднее полученное имъ письмо валялось въ сундукѣ у него смятымъ и разорваннымъ рядомъ съ аккуратно сложенными письмами отъ жены. Вотъ что было въ этомъ письмѣ:

„Любезному сыну моему, Якову Петровичу, отъ родителя и брата ниской поклонъ посылаемъ. Зачимъ, сынку забылъ батька родного? То грихъ великій, и на сели мене за те поприкають, — бо не я отъ тебе одвернувся, а ты отъ мене отыйшовъ до тыи поганой, що теперъ уже и знать тебе не хоче... Далебй, сынку, — слухай, що я тобі отпишу: твоя хвалена Маруся теперъ уже на всимъ сели звистна, и нема того хлопця, щобъ зъ нею не переморгнувся; а наипаче съ Гордіенкомъ Андріємъ знається уже цильный годъ; а той тобі письма отписуе, та сміється надъ тобою, якъ надъ дурнемъ. Отъ такъ-то, сынку! послухався-бъ батька, такъ сего ничего-бъ и не було. А теперъ и мени соромно міжъ людей жить и въ святу церкву ходыть, бо васъ пиць повинчавъ, то вона моя невестка, и всякъ про те зна; а мени въ вичи глядючи, люды сміються.

„Посылаю тобі три карбованця грошей и мое благословеніе на вики нерушимо.

Твій батько Петръ Калюжный“.

Калюжный получилъ это письмо въ то время, какъ ждалъ извѣстія отъ жены. Онъ не дочиталъ его и выронилъ изъ рукъ. Холодный потъ выступилъ на его мертвенно-блѣдномъ лицѣ, и въ ту минуту онъ былъ похожъ на сумасшедшаго. Онъ поднялся-было съ мѣста и куда-то вдругъ быстро пошелъ, но потомъ взялся за голову и вернулся. Поднявъ письмо, онъ разорвалъ его, смаль въ кулакъ и бросилъ въ сундукъ. Его душа какъ будто улетѣла въ эту минуту изъ

казармъ, и въ воображеніи рисовались ужасныя картины: въ первыя минуты ему грезился высоко занесенный надъ чьей-то головой топоръ съ блестящимъ остріемъ, по которому струятся и падаютъ на зеленую траву капельки алой крови; солнце палитъ ихъ, и онѣ запекаются на листочкахъ лебеды; кровь брызнула также и на вѣнокъ изъ васильковъ, который валялся на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ у нихъ были первыя свиданія съ Марусей... „Но, Боже! чья-же это кровь?“ думаетъ Яковъ. — „Га! это его, Гордіенки“, который отнял у него все, все, для чего стоило жить.

Сердце его на минуту чувствуетъ удовлетвореніе, но потомъ вдругъ — невыразимую грусть: ему слышится совершенно ясно, точно на яву, плачъ дѣтей около убитой матери. „Боже! это моя Маруся!... за что-же я ее убилъ?“... Онъ ясно видитъ мертвое лицо своей жены съ открытыми глазами, которые на него смотрятъ и какъ будто зовутъ его. Онъ никогда не могъ видѣть равнодушно этихъ черныхъ глазъ, и теперь слезы стали душить его. „Неправда! неправда! она честная!“ шептали безсознательно его губы; но чѣмъ больше онъ старался себя въ этомъ увѣрить, тѣмъ сильнѣе разгоралось беспокойство, которое къ вечеру перешло въ невыносимую тоску, требовавшую немедленнаго исхода.

„Господи! еслибъ это была неправда! сдѣлай такъ, Господи,— молю Тебя!“ шепталъ онъ, качая головой и тяжело вздыхая.

Надежда на Бога, въ Котораго онъ сильно вѣровала, прошла сладкой струей по его измученному сердцу; но тоска возвратилась съ новой силой, и точно его что-то подтолкнуло выговорить роковое слово: „бѣжать!“ Онъ встрепетнулся и какъ будто ободрился духомъ, призывая къ дѣловымъ соображеніямъ свой воспаленный мозгъ.

„Бѣжать такъ бѣжать! нечего тутъ думать! я сейчасъ хочу видѣть Марусю! сейчасъ! сейчасъ!... Пропaday моя вся

служба!“ Онъ ощущалъ дрожащей рукой деньги въ своемъ карманѣ, которыя какъ-бы нарочно приберегаль для этого случая. „Сорокъ рублей! фю!... съ излишкомъ хватить!“ сказалъ онъ вдругъ съ какой-то ненатуральной улыбкой, похожей на улыбку помѣшаннаго.

Было около часу ночи, когда Яковъ, таившійся до тѣхъ поръ на своей койкѣ, всталъ и оглядѣлся съ намѣреніемъ начать побѣгъ. При этомъ онъ выказалъ удивительное для разстроеннаго человѣка соображеніе: онъ разсудилъ, что бѣжать нужно по формѣ одѣтымъ, при портупеѣ и съ тесакомъ, чтобы на вокзалѣ не остановила полиція. Не имѣя своего тесака, онъ тихонько снялъ его у дядьки, но въ ротѣ не одѣвался, боясь, чтобы его не замѣтилъ дремавшій дневальный, а взявъ всю амуницію подъ шинель въ накидку, одѣлся на лѣстницѣ. Въ воротахъ онъ сказалъ, что несетъ офицеру приказъ и даже назвалъ фамилію офицера. Цѣлую ночь бродилъ онъ по городу въ ожиданіи утренняго поѣзда, но нигдѣ не останавливался, боясь быть задержаннымъ. На вокзалѣ его никто не опрашивалъ. Съ бьющимся отъ страха сердцемъ ждалъ Яковъ третьяго звонка и, когда поѣздъ тронулся, онъ глубоко вздохнулъ и трижды перекрестился, думая въ это время о Богѣ и надѣясь на Его помощь.

Всю дорогу Яковъ выражалъ нетерпѣніе: то казалось ему, что поѣздъ шель слишкомъ медленно, то самая дорога казалась невыносимо длинной. Онъ считалъ телеграфные столбы, откладывая по пальцамъ сотни, и скоро заучилъ, сколько ихъ находится въ верстѣ. Въ Москвѣ съ одного вокзала на другой онъ почти бѣжалъ по улицѣ, не обращая рѣшительно ни на что вниманія и ничѣмъ не интересуясь. На Курскомъ вокзалѣ пришлось ждать нѣсколько часовъ; здѣсь онъ почувствовалъ, что ему ужасно хочется ѣсть, и вспомнилъ о томъ, что не ѣлъ болѣе сутокъ. Онъ подошелъ къ столику съ закусками и безъ разбора накинудся на все съѣстное.

— Въ отпускъ ѣдешь, солдатикъ? участливо спросилъ продавецъ.

— Да... на побывку... отвѣчалъ Яковъ разсѣяннo.

— Бъ женѣ, чай, ѣдешь?

— Да... отвѣчалъ Яковъ, нахмурясь, и поскорѣе отошелъ отъ столика.

Онъ подумалъ въ эту минуту о тѣхъ счастливыхъ солдатахъ, которые ѣздятъ домой не тайно и не къ такимъ женамъ, какъ у него.

Отъ Москвы до Курска дорога пошла веселѣе; по сторонамъ стали попадаться дубки съ орѣшникомъ, напоминавшіе родную Малороссію.

Подѣзжая къ Бѣлгороду, Яковъ задумался: въ душѣ его воскресло много воспоминаній при видѣ бѣлыхъ малороссійскихъ избъ.

„Скоро, скоро!“ подумалъ онъ, уставившись холодными, недвижными глазами въ даль. Подавленный физической усталостью, онъ казался теперь какъ будто спокойнѣе; но видъ родной деревни, показавшейся на горизонтѣ, снова поднялъ утихнувшую бурю въ его душѣ.

Пріѣхавъ въ свою деревню часовъ около девяти утра, Яковъ, блѣдный отъ усталости и волненія, осторожно подошелъ къ своему огороду и, самъ не зная зачѣмъ, направился прямо къ тому мѣсту, гдѣ происходили его первыя свиданія съ Марусей. Былъ май мѣсяцъ; вишни готовились цвѣсти, и огородъ былъ въ зелени.

Быстро раздвинувъ кусты, Яковъ весь обомлѣлъ не то отъ радости, не то отъ ужаса: тамъ сидѣла Маруся съ дѣтьми, которыя около нея рѣзвились.

— Маруся!! бросился онъ къ ней въ какомъ-то ужасномъ состояніи, въ которомъ человѣкъ не знаетъ, что онъ чувствуетъ: вѣру или сомнѣніе, высокое-ли блаженство или ужасное, смертельное горе.

— Я...Яковъ! отвѣчала она, испугавшись, и обмерла на мѣстѣ.

Ей казалось, что передъ ней не мужъ, а привидѣніе.

Яковъ подошелъ къ ней съ какимъ-то строгимъ и холоднымъ видомъ; онъ не поцѣловалъ ее, не поздоровался съ ней.

— Ты... ты одна?!... спросилъ онъ какъ-то отрывисто, точно голосъ его замеръ на этомъ словѣ.

— Одна, Яковъ... съ дѣ... съ дѣтьми... отвѣчала она, дрожа отъ страха.

— А гдѣ-же тотъ?...

Она не знала что отвѣчать и въ недоумѣніи смотрѣла на мужа.

— Ну!! Гордіенко гдѣ?!... Что молчишь?! схватилъ онъ ее за руку и такъ рванулъ, что она чуть не упала.

Маруся ничего не отвѣчала; она вся дрожала отъ ужаса, но глаза ея смѣло смотрѣли на мужа. Всякій спокойный и сколько-нибудь наблюдавшій человѣкъ прочелъ-бы сразу въ этихъ глазахъ полную чистоту и невинность; но Яковъ не могъ въ эту минуту соображать, онъ крѣпко схватилъ жену за руку и потащилъ въ избу.

Мать встрѣтила ихъ на порогѣ.

— Что-й-то, Господи! Яковъ!... остановилась въ недоумѣніи старуха.

Яковъ не обратилъ на нее вниманія; потащилъ жену прямо къ образамъ и, снявъ икону Матери Божіей, велѣлъ ей трижды цѣловать ее въ томъ, что она весь этотъ годъ никого, кромѣ его, даже въ мысляхъ не любила. Когда все это было сдѣлано, Яковъ радостно и глубоко вздохнулъ и въ изнеможеніи опустился на лавку. Съ нимъ сдѣлалось дурно отъ изнеможенія. Маруся стала за нимъ ухаживать, какъ за больнымъ: намочила ему голову холодной водой и вытерла мокрымъ полотенцемъ его пыльное лицо, испещренное дорожками отъ слезъ.

— Такъ ты моя, Марусенька? моя?... говорилъ онъ крот-

кимъ и нѣжнымъ голосомъ, привлекая къ себѣ жену. — Прости-жъ меня, прости... не сердись... я вѣдь только такъ, по глупости... все это я по глупости... видишь, какъ я радъ теперь!...

Яковъ безусловно повѣрилъ женѣ и былъ черезъ это невыразимо счастливъ. Онъ, вѣроятно, не былъ-бы такъ счастливъ, если-бы получилъ ложное извѣстіе о смерти жены и потомъ вдругъ-бы узналъ, что она жива.

Маруся нѣсколько успокоилась, замѣтивъ его веселость, и наконецъ рѣшилась спросить его: надолго-ли онъ пріѣхалъ.

Яковъ объявилъ ей съ совершенно спокойнымъ видомъ, что онъ „бѣглый“, но чтобы она этого не боялась, потому что это все пустое, а главное то, что они теперь вмѣстѣ и попрежнему любятъ другъ друга.

Въ это время старуха ввела дѣтей въ избу, и Яковъ бросился къ нимъ. Онъ посадилъ ихъ къ себѣ на колѣни и самъ сѣлъ рядомъ съ женой. Въ эту минуту можно было наблюдать въ хатѣ Нечипорихи прелестную картину простого крестьянскаго счастья, которою навѣрно-бы воспользовался художникъ.

— Садитесь и вы съ нами, ласково обратился онъ къ старухѣ протягивая руку, чтобы обнять ее. — А теперь я вамъ все, все расскажу...

Яковъ передалъ имъ исторію своей службы и побѣга. Маруся немного всплакнула; ей горько было слышать, что онъ повѣрилъ сплетнямъ отца, которыхъ и она и мать давно уже опасались, зная его ненависть къ нимъ.

Оказалось, что послѣднее письмо Маруси запоздало; приди оно днемъ раньше, быть можетъ, ничего-бы этого и не было. Отчасти-же Маруся радовалась этому случаю и, не понимая важности проступка мужа, была счастлива, что увидѣлась съ нимъ.

Чтобы продлить свое свиданіе съ женой, Яковъ хотѣлъ скрыть свое присутствіе въ деревнѣ и просилъ никому о

немъ не говорить. Онъ проводилъ цѣлые дни въ избѣ, а иногда осторожно, выславъ жену впередъ, пробирался на огородъ къ вишнямъ, гдѣ можно было погулять, скрывшись отъ взоровъ сосѣдей. Тамъ они просиживали съ женой цѣлые часы въ то время, какъ дѣти около нихъ рѣзвились. Яковъ былъ до того спокоенъ и счастливъ, что даже пополнилъ въ нѣсколько дней; ему и въ голову не приходило, что его сейчасъ могутъ схватить и увести, какъ арестанта; а между тѣмъ положеніе было натянутымъ; гроза была близка надъ его головой; какой-нибудь мальчишка могъ замѣтить его присутствіе и разболтать, тѣмъ болѣе что онъ былъ въ военной формѣ. На самомъ дѣлѣ такъ и случилось: Яковъ и Маруся гуляли спокойно въ своемъ садикѣ, какъ вдругъ послышалась какая-то суeta вблизи огорода и раздались крики: „солдаты! солдаты!“

Два какихъ-то мужика выбѣжали на этотъ крикъ и показались въ нѣсколькихъ шагахъ отъ Якова; ихъ окружила ватага мальчишекъ, и толпа стала постепенно прибывать.

Уже вечерѣло, и собравшимся людямъ трудно было узнать Якова. Появленіе въ деревнѣ всякаго неизвѣстнаго лица, особенно если это лицо прячется, всегда производитъ сильную тревогу; мужики всегда готовы связать такого челоуѣка, для представленія его уряднику, особенно въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ развито конокрадство. Видя, что солдатъ не обращаетъ на нихъ вниманія и не убѣгаетъ отъ нихъ, мужики нѣкоторое время стояли въ недоумѣніи и не знали, что имъ дѣлать. Яковъ оставался совершенно спокойнымъ и даже продолжалъ разговаривать съ женой, которая сидѣла, опустивъ въ испугъ голову, и ничего ему не отвѣчала. Яковъ первый заговорилъ съ мужиками.

— Здравствуйте, хлопцы! не узнаете? сказалъ онъ, снимая фуражку и кланаясь.

— Да это Яковъ, Калюжнаго сынъ, сказалъ кто-то въ толпѣ, и всѣ стали приближаться къ солдату.

Яковъ сразу объявилъ мужикамъ, что онъ „бѣглый“ и самъ желаетъ предоставить себя въ руки начальству. При словѣ: „бѣглый“ мужики нѣсколько испугались и еще съ большимъ любопытствомъ стали его осматривать.

— Что-жъ, хлопцы, — надо его связать... Какъ вы думаете? сказалъ одинъ изъ стариковъ.

— А уже-жъ надо, отвѣтило нѣсколько голосовъ.

Мужики почесали затылки. Видно было, что многимъ изъ нихъ жаль было взять беззащитнаго человѣка, который ничего не укралъ и никому изъ нихъ не сдѣлалъ зла; но они боялись быть въ отвѣтѣ. Внезапно появившійся староста разрѣшилъ ихъ недоумѣніе: онъ живо скомандовалъ принести веревку, толкнулъ нѣсколькихъ мужиковъ впередъ и они, со вздохами и съ крихтѣніемъ, какъ будто подымая что-то тяжелое, подошли къ солдату и скрутили ему назадъ руки.

Яковъ не сопротивлялся; онъ съ задумчивой улыбкой смотрѣлъ на жену и думалъ только о ней; а окружавшіе его люди казались ему въ это время не мужиками, а какими-то движущимися чучелами, между которыми безъ всякаго волненія замѣтилъ онъ сѣдую голову своего отца, который стоялъ въ отдаленіи и не подошелъ даже поздороваться къ сыну. Что было за дѣло Якову до этихъ мужиковъ и до того, что его куда-то теперь уведутъ? Онъ зналъ, что Маруся принадлежитъ и всегда будетъ принадлежать ему одному, и этого для его счастья было почти достаточно. Ему только больно было видѣть теперь ея испуганные и плачущіе глаза; но онъ уже вынесъ передъ этимъ въ сердцѣ такія страданія, передъ которыми эта боль казалась ничтожной; кромѣ того, въ слезахъ Маруси было новое доказательство любви къ нему: Маруся должна была плакать, — это было такъ естественно, — иначе въ душу Якова могло-бы вкрасться ужасное сомнѣніе, которое сразу сдѣлало-бы его несчастнымъ.

Яковъ подавъ женѣ свои связанные руки, горячо поцѣловалъ ее, простился съ матерью и съ дѣтьми, и совершенно спокойный отправился въ волостной домъ, откуда на другой день былъ препровожденъ въ городъ.

Тотчасъ же по прибытіи въ полкъ, Яковъ былъ арестованъ съ отдаченіемъ подъ судъ; но нужно ли было ему горевать, когда онъ, во-первыхъ, чувствовалъ въ себѣ силы, дававшія возможность загладить усердной службой его вину; во-вторыхъ — онъ получилъ черезъ нѣсколько дней отъ жены письмо, адресованное на имя одного изъ его товарищей, какъ это было между ними условлено. Письмо было написано въ самыхъ нѣжныхъ выраженіяхъ: жена надѣялась, что все пройдетъ благополучно, что служба его черезъ это не затянется и что наконецъ настанетъ время, когда никто уже ихъ не разлучитъ. Она подробно описывала ему дѣтей, при чемъ Якова очень занимало, что старшій мальчикъ его помянуть и все спрашиваетъ: „скоро ли опять батько пріѣдетъ?“

Нѣсколько не упавъ духомъ, Калюжный снова рѣшился приняться съ жаромъ за службу, а если придется сидѣть въ тюрьмѣ, то и тамъ безропотно сносить тяжкія работы и тѣмъ выкупить свою вину. „Я еще человѣкъ не пропащій и никогда не пропаду“, думалъ Калюжный, сидя въ карцерѣ, и удивлялся сожалѣнію, съ которымъ относились къ нему товарищи.

Не мало были удивлены судьи спокойному виду Калюжнаго, который выслушалъ приговоръ, ни одной чертой не измѣнившись въ лицѣ.

Въ грустномъ раздумѣ вышелъ я изъ залы суда и долго послѣ того не могъ успокоиться: образъ подсудимаго являлся мнѣ въ какомъ-то свѣтломъ ореолѣ, но въ чрезвычайно мрачной обстановкѣ тюрьмы, въ душной арестантской камерѣ, на голой нарѣ, окруженный испитыми и развратными фізіономіями воровъ и мошенниковъ.

Черезъ нѣсколько времени я посѣтилъ Калюжнаго въ

тюрьмѣ и нашелъ его вполне бодрымъ и здоровымъ; видно было, что наказаніе свое онъ считалъ вполне заслуженнымъ, и оно нисколько не тяготило его. Товарищи по заключенію сразу стали уважать его и скоро выбрали своимъ старостой: начальство не могло нахвалиться его кротостью и усердіемъ. Товарищи по службѣ часто навѣщали его и аккуратно доставляли ему письма отъ жены.

Благополучно перенесъ Калюжный тюремное заключеніе и вернулся въ свою роту штрафованнымъ; но никто не смотрѣлъ на него какъ на штрафованнаго: товарищи встрѣтили его привѣтливо, и за нимъ не было даже особаго надзора, потому что онъ велъ себя безукоризненно. Черезъ годъ былъ снятъ съ него штрафъ, а впоследствии онъ былъ произведенъ въ унтеръ-офицеры. Однако судьба не судила ему вернуться на родину. Калюжный былъ слабаго здоровья, хотя никогда не жаловался на болѣзнь и не хотѣлъ лечиться: обладая сильнымъ характеромъ, онъ всегда бывалъ выносливъ и не бросался въ глаза своей физической слабостью; но пережитыя имъ волненія, въ связи съ петербургскимъ климатомъ, подкосили его и привели подъ конецъ службы въ госпиталь.

Я никогда не забуду своего свиданія съ нимъ, когда онъ лежалъ въ чахоткѣ. Обычная веселость и полное спокойствіе духа, которыя сопровождали его во время ареста, на судѣ и въ тюрьмѣ, не покинули его и въ самыя послѣднія минуты его жизни. Онъ лежалъ желтый и исхудалый на сѣрой госпитальной койкѣ, и кроткой улыбкой встрѣчалъ всѣхъ, приходившихъ его навѣстить. Его надежды на счастливую жизнь точно выросли во время болѣзни; никогда его красивые голубые глаза не казались такими счастливыми, и никогда онъ съ такой охотой не высказывалъ своихъ свѣтлыхъ предположеній насчетъ домашней своей жизни, которая скоро должна была для него наступить.

За день до смерти онъ получилъ отъ Маруси письмо, и

все надѣялся скоро съ нею увидѣться. Съ этой счастливой мыслью онъ незамѣтно умеръ, унося съ собой въ вѣчность непоколебимую вѣру въ свою счастливую семейную жизнь, въ свою дорогую Марусю и вообще во все то, чѣмъ украшается наше сѣренькое, незатѣливое и бѣдное радостями земное существованіе.



АЛЁНА — СОЛДАТСКАЯ МАТЬ.

(Разсказъ).



то было вскорѣ послѣ похода. Прибыль къ намъ въ роту новобранецъ изъ Олонецкой губерніи, — славный такой солдатикъ: стройный, бѣлокурый, съ добрыми голубыми глазами и съ румянцами на бѣлыхъ щекахъ, но очень худой, должно-быть, болѣзненный. Звали этого солдатика Оедоромъ, а по фамиліи Дразниловымъ.

Бываетъ иногда, что совсѣмъ не знаешь человека, встрѣчаешь его въ первый разъ въ жизни, и вдругъ въ сердцѣ начинается какое-то любовное къ нему чувство, — такъ и хочется подойти къ нему, чтобы сказать какое-нибудь привѣтливое слово, — встрѣчаются иногда такіа честныя, добрыя, совершенно безхитростныя русскія лица, — и вотъ именно такое лицо было у новобранца Дразнилова.

Всѣ полюбили Дразнилова сразу, какъ онъ прибыль въ роту; дядьки хвалили его за усердіе, товарищамъ нравился его кроткій обходительный характеръ. Нельзя было назвать веселымъ этого человека, но онъ не былъ мрачнымъ и разсѣяннымъ, какъ большинство новобранцевъ. Иногда, впрочемъ, когда онъ оставался одинъ, лицо его выражало какое-то внутреннее безпокойство, быть-можетъ, тревожную думу о покинутой родинѣ; но чуть кто-нибудь заговаривалъ съ нимъ, онъ тотчасъ-же овладѣвалъ собой и казался веселымъ. Видно было присутствіе характера въ этомъ человекѣ, выражавшееся въ рѣшимости безропотно покориться судьбѣ. „При-

шлось служить, такъ надо любить службу“, думалъ Дразниловъ, и такъ старался во всемъ поступать, чтобы это видно было на дѣлѣ.

Словомъ, Дразниловъ принадлежалъ къ числу тѣхъ новобранцевъ, про которыхъ почти сразу можно сказать, что изъ нихъ выйдутъ хорошіе солдаты; онъ не только не падалъ духомъ, но напротивъ — обладалъ свойственной хорошимъ солдатамъ смѣлостью, никогда не переходившею въ нахальство. При разговорахъ съ начальствомъ, въ то время какъ нѣкоторые изъ его товарищей трусили и путались въ отвѣтахъ, другіе заискивающе смотрѣли начальнику въ глаза и, желая выказаться бойкими, позволяли себѣ лишніе разговоры, Дразниловъ всегда сохранялъ спокойный видъ и отвѣчалъ начальнику тѣмъ обыкновеннымъ тономъ, которымъ вообще разговаривалъ съ людьми.

Служба Дразнилова пошла какъ нельзя лучше; слабое здоровье его, повидимому, нисколько не разстраивалось; черезъ мѣсяцъ онъ даже казался бодрѣе и веселѣе, чѣмъ при поступленіи, и всегда съ удовольствіемъ принималъ участіе въ незатѣйливыхъ развлеченіяхъ казарменнаго вечера; но вдругъ черезъ нѣсколько времени люди стали замѣчать въ Дразниловѣ перемену: онъ все чаще сталъ прятаться въ свой уголь, пересталъ пѣть въ хорѣ по вечерамъ, и не то что скучалъ, а находился въ какомъ-то волненіи, не то радостномъ, не то грустномъ. Скоро узнали, что онъ получилъ изъ дому письмо отъ своей матери. Послѣ обычныхъ поклоновъ отъ родныхъ и знакомыхъ, въ письмѣ было между прочимъ слѣдующее:

„Вѣдомо тебѣ, Оедюша, что ты мой любимой всегда былъ и есть, и что васъ только двое у меня осталось послѣ смерти твоего родителя; а какъ ты въ тыи поры малъ былъ и на грудку жалился, то я боялась — не померъ-бы... и таково это памятно мнѣ, что и понынѣ жалю тебя и рѣдка поченька, что не плачу. Опять же братецъ твой старшенькій

Иванъ Олексѣичъ, — онъ добрый до меня и почтительный, а тая (жена брата) поѣдомъ меня ѣсть... Богъ съ нею, Ѳедюша! ейный одинъ нравъ, а мой другой; намъ съ нею подъ одною крышей не жить... Опять-же у меня, Ѳедюша, желаніе великое: нонѣ птичники собираются съ рябчиками въ Питеръ, — люди добрые — общались подвезти. Приѣду къ тебѣ на побывку, а тамъ — что Господь милосердый дастъ, — можетъ въ Питерѣ и останусь.

„Еще посылаю тебѣ съ любовію мой низкой поклонъ, рушь денегъ и родительское благословеніе, которое бываетъ навѣки нерушимо.

Твоя мать Алёна“.

И такъ Дразниловъ ждалъ приѣзда своей матери, которую очень любилъ, и видимо волновался. Волненіе происходило отчасти отъ радости, отчасти отъ безпокойства: онъ часто думалъ, особенно по ночамъ, о той дальней дорогѣ въ морозную пору, которая предстояла его матери, а также и о томъ, какъ она устроится въ Питерѣ.

Иногда въ роту приходили къ солдатамъ ихъ родственницы; въ прихожей слышались женскіе голоса, при звукѣ которыхъ у Дразнилова вздрагивало сердце. „Не меня-ли спрашиваютъ?“ думалъ онъ каждый разъ, и машинально шель освѣдомляться.

Приѣздъ матери вообще составляетъ для солдата величайшій праздникъ: въ совершенно для него чужую и скучную казарменную обстановку вдругъ вносится родная струя, звукъ милыхъ родныхъ рѣчей, ласки, гостинцы, и никогда при этомъ не бываетъ слезъ. Мать обыкновенно плачетъ только при разставаніи съ сыномъ на родинѣ, когда его берутъ въ солдаты; при свиданіи-же и разставаніи въ казармахъ она всегда бываетъ веселой, особенно если видитъ сына здоровымъ и бодрымъ, а не угнетеннымъ, какимъ каждая мать, незнакомая съ солдатской обстановкой, привыкла воображать себѣ солдата.

При свиданіи въ казармахъ испытывается, какъ матерью, такъ и сыномъ, такая радость, какой не бываетъ даже при возвращеніи сына на родину. Въ послѣднемъ случаѣ эта радость отравляется безпокойствами рабочаго дня, а иногда и неприязненностью младшихъ членовъ семьи, озабоченныхъ предстоящимъ выдѣломъ части хозяйства въ пользу прибывшаго.

Дразниловъ прождалъ матери около мѣсяца. Наконецъ желанный день наступилъ: въ ротной прихожей показалась еще не дряхлая старушка, очень похожая на сына лицомъ; ей съ виду было не болѣе пятидесяти лѣтъ; она была одѣта въ нагольномъ овчинномъ тулупѣ, въ валенкахъ и съ нѣсколькими платками на головѣ, изъ-подъ которыхъ выбивались бѣловатые, совсѣмъ еще не сѣдые волосы. Добрые и живые глаза старушки сразу производили пріятное впечатлѣніе. Она при входѣ остановилась и что-то громко спросила у дневальнаго.

Дразниловъ сидѣлъ въ это время съ товарищами въ сосѣдней комнатѣ; онъ весь вздрогнулъ, узнавъ голосъ своей матери, который въ одно мгновеніе воскресилъ передъ нимъ его дѣтство, родную избу и все, что было для него милымъ, но отъ чего онъ былъ оторваннымъ. Замѣчательно, что Дразниловъ при этомъ не пошевелился: онъ совсѣмъ растерялся отъ волненія и только ясно чувствовалъ въ эту минуту какъ сильно билось его сердце; на щекахъ у него сгустился румянецъ; нижняя губа задрожала; глаза заблестѣли радостью. Черезъ нѣсколько секундъ онъ опомнился и радостно побѣжалъ къ матери.

Алёна стояла, растерявшись, въ небольшой кучкѣ собравшихся вокругъ нея солдатъ, переводя глаза отъ одного солдата на другого и стараясь отыскать между ними своего сына. Уже Дразниловъ былъ здѣсь, и мать уже видѣла его, но сразу не могла узнать: передъ ней стоялъ ея Ѳедюша, очень измѣнившійся въ солдатскомъ мундирѣ и съ низко остриженными кудрями.

— Маменька! да вотъ-же я гдѣ!... Здравствуйте! сказала Дразниловъ, обнимая мать.

— Да нѣшто это ты, Оедюша? и не признаешь, право-слово, не признаешь... Ишь вѣдь какой сталъ! говорила Алѣна, нѣжно цѣлуя сына и въ то-же время лаская его остриженную голову своей маленькой сухощавой рукой.

Дразниловъ усадилъ мать на свою койку. Сначала они не могли опомниться отъ волненія и нѣсколько мгновений только счастливо улыбались и нѣжно смотрѣли другъ другу въ глаза. Въ это время одинъ изъ солдатъ, прислуживаясь по солдатскому обычаю, молча поставилъ передъ ними пустой чайникъ. Дразниловъ догадался, что надо засыпать чаю; онъ давно уже думалъ о томъ, что напоить мать чаемъ съ дороги, тотчасъ-же, какъ она пріѣдетъ, но въ эту минуту онъ рѣшительно ничего не помнилъ. Солдатикъ сбѣгалъ за кипяткомъ и такъ же молча поставилъ его передъ ними на столъ. За чаемъ разговоръ завязался сразу.

— Благополучно доѣхали, маменька? спросилъ Дразниловъ.

— Ничего.

— Зябко было ѣхать?

— Да, морозно, — только что я одежи много взяла: тулупчикъ да вотъ еще армячекъ подъ низомъ, опять-же валенки...

— Снимите, маменька, — вамъ жарко.

— И то...

Алѣна стала снимать тулупчикъ, отъ котораго пахло плохо выдѣланной деревенской овчиной.

Дразниловъ нѣжно глядѣлъ на мать; все ему казалось въ ней милымъ: черты ея лица, манеры, голосъ и даже запахъ хорошо знакомаго ему тулупчика.

Вдругъ кто-то кашлянулъ около самой койки Дразнилова. Мать и сынъ обернулись и увидѣли того самаго солдата, который имъ прислуживалъ. Онъ сначала сидѣлъ, не

обращая на нихъ вниманія, потомъ молча подошелъ, взялъ чайникъ, взболтнулъ его и, убѣдившись, что тамъ есть еще кипяткъ, снова сѣлъ на свое мѣсто. Не задолго передъ этимъ Дразниловъ исполнялъ, по солдатскому обычаю, его роль, когда къ нему приходили земляки.

— Може и они напьются? сказала шопотомъ Алѣна, вынимая изъ узелка бѣлый хлѣбъ.

— Чуринъ, выпей чайку! сказалъ Дразниловъ.

— Пейте, равнодушно отвѣчалъ солдатъ.

— Что-жь, выпей, — посиди съ нами...

Чуринъ, не торопясь, досталъ свой стаканъ и лѣниво перебрался на койку къ Дразнилову. Въ это время въ другомъ концѣ комнаты кто-то тихо застоналъ.

— Кто это, Оедя? жалобно спросила Алѣна.

— Не знаю, — надо посмотрѣть.

— Кто-жь, какъ не Ковалевъ, замѣтилъ Чуринъ, медленно разламывая ситникъ.

— Ахъ, да! это, маменька, у насъ новобранецъ такой есть: хворый онъ — не хворый, а такой бѣдный, словно, какъ порченой... Онъ все плачетъ, маменька.

— Ахъ, бѣдненькій! сказала Алѣна и хотѣла-было къ нему идти.

— Лядацій, сказалъ Чуринъ: — все въ лазаретъ ходить, на болѣсть жалится, а его оттедова гонять; хлѣбъ небось уплетаетъ за троихъ.

— Бѣдненькій, сказала Алѣна, — ты-бы, Оедя, чайкомъ его напоилъ.

— Да я и то, маменька, люблю его: мнѣ этакихъ всегда жалко.

Онъ привелъ Ковалева къ матери. Новобранецъ этотъ имѣлъ самый жалкій видъ: лицо его было грязно и глаза заспаны; изъ-подъ нечищенного мундира виднѣлось грязное и рваное бѣлье.

— Садись, голубчикъ, сказала Алёна, — вотъ такъ, вотъ тутъ садись... Налей ему, Одея, чайку.

— Тоже глухимъ представляется, замѣтилъ Чуринъ: — думаетъ, что домой отпустить. На ученіе зовутъ — не слышитъ, а на обѣдъ — такъ и претъ...

Ковалевъ съ жадностью присталъ къ чаю: онъ пилъ стаканъ за стаканомъ, постоянно вытирая рукавомъ вспотѣвшее лицо.



— Булочки, булочки возьми, ухаживала за нимъ Алёна. — Родные-то есть-ли у тебя?

— Ась? сказалъ Ковалевъ съ манерой, напоминающей юродивыхъ.

— Матушка есть?

— Нѣту-ти.

— И батюшки нѣту?

— А нѣту-жь...

— Бѣдный! сказала Алёна и съ материнской нѣжностью поправила ему воротникъ рубашки.

— Господи! онъ замѣсто рубахи рвань такую носить. Дай ему, Одея, свою рубашку; я тебѣ еще сошью.

Ковалеву дали рубашку. Онъ засунулъ ее за пазуху и потянулся-было за пятымъ стаканомъ чаю; но Чуринъ нарочно принялъ чайникъ и презрительно посмотрѣлъ на новобранца, какъ-бы упрекая его въ нахальствѣ.

Скоро наступилъ вечеръ. Алёнѣ можно было оставаться въ казармахъ только до переклички; она стала прощаться.

— Гдѣ-жь вы, маменька, остановились? только теперь догадался спросить Дразниловъ.

— Да покедова на постояломъ, вмѣстѣ съ птичниками, а тамъ на мѣсто куда-нибудь поступлю. Нуждаться, Оедюша, не будемъ; нонѣ хлѣба много намолотили; братъ будетъ высылать деньги.

При прощаньи находился и Ковалевъ, который, при всей своей неловкости, успѣлъ незамѣтно спрятать въ карманъ два куска ситника.

— Ты, паренекъ, не тужи: мы тебѣ замѣсто родныхъ будемъ, сказала ему Алёна.

Въ отвѣтъ на это Ковалевъ издалъ какой-то звукъ и тихо побрелъ къ своей койкѣ, предчувствуя удовольствіе часто пить чай, а иногда получать и подарки.

Алёна окончательно рѣшилась остаться въ Петербургѣ; она отыскала себѣ уголь и вмѣстѣ съ какими-то прачками, между которыми одна была ея землячкой, занялась поденной стиркой.

Старшій сынъ исправно высылалъ ей по десяти рублей въ мѣсяцъ, на которые вмѣстѣ съ заработанными можно было жить, не нуждаясь. Она часто приходила въ казармы къ сыну и перезнакомилась почти со всѣми его товарищами, которые всегда относились къ ней съ уваженіемъ и почти-тельностью. Только разъ вышелъ такой случай, что ее обру-

галь незнакомый солдатъ, съ которымъ она по нечаянности столкнулась въ полутемномъ коридорѣ.

— Бранись, голубчикъ, бранись, — меня не обидишь: ты вѣдь солдатъ, а я солдатская мать: — вотъ и выходить, что ты свою мать обругалъ... сказала Алёна, нисколько не сердясь.

— Да я ништо... я такъ... не разглядѣлъ, бабушка, сказалъ смѣшавшійся солдатъ.

У койки Дразнилова часто собирались его пріятель, и вся эта компанія съ удовольствіемъ встрѣчала его мать. Происходило общее чаепитіе, при чемъ большинство гостей приходили со своими чайниками, не желая разорить товарища. Ковалеву подарили стаканъ съ блюдечкомъ и каждый разъ приглашали его къ чаю, когда приходила Алёна; если не сразу его звали, то онъ давалъ знать о своемъ присутствіи вздохами. Солдаты насмѣхались надъ Ковалевымъ, но замѣтивъ, что эти насмѣшки Алёнѣ не нравятся, старались въ ея присутствіи отъ нихъ удерживаться.

Ковалевъ обыкновенно лѣниво подымался со своей койки, доставалъ изъ-подъ подушки стаканъ и молча ставилъ его на столъ передъ пьющими. Онъ пилъ безъ счета стаканъ за стаканомъ и никогда не отказывался.

— Выпей еще, рѣдненькій, говорила Алёна.

— А выпью... отвѣчалъ обыкновенно Ковалевъ робкимъ голосомъ, опускавъ глаза и тихо пододвигая стаканъ.

Разъ какъ-то предложили Ковалеву девятый стаканъ; онъ старательно вытеръ рукомъ потъ съ лица, кашлянулъ, высморкался и молча пододвинулъ порожній стаканъ къ чайнику.

— Тыфу, чортъ! не выдержалъ Чуринъ. — Лопнешь ты когда-нибудь али нѣтъ?... Давеча полхлѣба уплесть все одно, какъ калачикъ, а опосля обѣдать ходилъ и опять-же пойдесть ужинать...

— Буде, Иванъ, — грѣшно... остановила Алёна Чурина: —

онъ божій человекъ, сирота, — надъ такими грѣшно ругаться.

Ковалевъ, не обращая вниманія, продолжалъ пить поданный чай, только при этомъ еще ниже опустилъ глаза; чаще вытиралъ потъ и какъ-то ненатурально кашлялъ.

— Благодарствуйте за чай, сказалъ онъ, скрытно пряча въ карманъ объѣдокъ ситника.

— Что-жь, посиди съ нами, поговори... сказала Алёна.

— Болить-ту... сидя-ту горше болить... полежу маменько... сказалъ онъ, указывая на грудь и, тихо повернувшись, пошелъ къ своей койкѣ. Улегшись, онъ сталъ вынимать изъ кармана по кусочку ситника и незамѣтно клалъ себѣ въ ротъ.

— Право, бѣдненькій, сказала покачивая головой Алёна.

„Лядащій, мусорный“.... подумали солдаты, но не рѣшились этого высказать, чтобы не обидѣть старуху.

Изъ всѣхъ присутствующихъ только одинъ Дразниловъ исполнѣ сочувствовалъ матери.

— Ты, Одея, за нимъ присматривай: не сдѣлалъ-бы чего надъ собой; съ такими бѣдными всяко можетъ случиться... сказала Алёна сыну.

— Я, маменька, и то присматриваю. Давеча мнѣ все сдавалось, ровно онъ бѣжать хочетъ; такъ я все ходилъ за нимъ слѣдомъ... а за это, маменька, у насъ въ тюрьму сажаютъ...

— Да, да, дѣло нехорошее... Вонъ и они тоже ругаютъ его; а упаси Богъ, случится что-нибудь — такъ и пожалѣютъ.

— Какъ въ несчастіи не пожалѣть, — въ несчастіи всякаго жалко... заговорили солдаты.

Какъ только Алёна ушла, Чуринъ, отозвавъ Дразнилова въ сторону, сказалъ:

— У тебя есть деньги?

— Есть, отвѣчалъ Дразниловъ. — А что?

— Много-ли?

— Двадцать рублей.

— Гдѣ ты ихъ на ночь причешь?

— Подъ головами лежать.

— Такъ вотъ тебѣ совѣтъ: прячь ихъ что ни на есть подалше. У насъ въ ротѣ, сказываютъ, не чисто стало: у сапожниковъ два ножа унесли да на рубль товару. На этого молодчика думаютъ: дневальный сказывалъ, что видалъ его ночью у кранта,—а что ему тамъ дѣлать?...

— Ковалевъ? спросилъ Дразниловъ, поблѣднѣвъ.

— А-то кто-жъ!

— Пустое... онъ не такъ хитеръ, чтобы пойти на эти дѣла.

— То-то не хитеръ; а знаешь пословицу: „въ тихомъ омутѣ черти водятся“?

Дразниловъ задумался. „Бѣдный Ковалевъ, думалъ онъ,—его уже воромъ считаютъ... Только мы съ маменькой и жалѣемъ его“. Онъ съ негодованіемъ посмотрѣлъ вслѣдъ ухидившему Чурину и готовъ былъ въ эту минуту ненавидѣть его, несмотря на то, что этотъ старый солдатъ выказалъ къ нему много участія, какъ къ новобранцу.

Григорій Ковалевъ былъ сѣзмалу дураковатъ и лѣнивъ. Онъ рано лишился родителей и попалъ подъ власть своего старшаго брата и особенно его жены, которые не любили его и всегда жестоко съ нимъ обращались. Семья Ковалевыхъ всегда была необыкновенно бѣдной; иногда она не обѣдала по цѣлымъ мѣсяцамъ, питался небольшимъ запасомъ хлѣба или чѣмъ-нибудь украденнымъ у сосѣдей. Гришку часто посылали красть куръ или надергивать для топлива хвороста изъ сосѣдняго плетня. Въ случаѣ успѣха его хвалили, за неуспѣхъ-же сѣкли и иногда выгоняли изъ избы на морозъ. Такимъ образомъ у мальчика составилъ особый кодексъ нравственности, въ которомъ воровство возводилось на степень героизма.

Надо было видѣть съ какимъ увлеченіемъ рассказывалъ

Гришка брату о своихъ удачныхъ похиженіяхъ, чтобы судить о томъ, насколько мальчикъ въ такой обстановкѣ можетъ испортиться.

— У Якима енто куры черезъ ровъ бѣгаютъ, рассказывалъ онъ, запыхавшись и держа подъ мышкой ворованную курицу.

— Ну? спрашивалъ одобрительно братъ.

— Я полѣзъ рачкомъ, да во рву и подсторожилъ.

— Молодецъ, хлопалъ его по плечу братъ.

— Во... гляди, какъ шею свернулъ, чтобъ не кричала... показывалъ онъ на неживую уже курицу, у которой нѣсколько разъ была перекручена шея.

Гришка въ такія минуты чувствовалъ себя счастливымъ: щеки его горѣли, грудь часто и легко дышала, глаза были страстны, а руки и ноги дрожали отъ радостнаго волненія.

Нерѣдко Гришкѣ, выгнанному изъ дому за неудачное воровство, приходилось ночевать въ непогоду въ овечьемъ хлѣвѣ, и въ это время воспаленный мозгъ его рисовалъ картины лучшаго будущаго; а такъ какъ онъ страдалъ за неумѣніе воровать, то это будущее все зависѣло, по его соображеніямъ, отъ развитія въ немъ воровской ловкости, которой онъ готовъ былъ отдаться въ тѣ минуты всею душой.

Съ тѣхъ самыхъ поръ эта страсть глубоко засѣла въ душу Ковалева, и онъ уже не могъ не быть воромъ.

Воры бываютъ разныхъ сортовъ; самые безнравственные изъ нихъ безъ сомнѣнія тѣ, которые воруютъ, не нуждаясь въ необходимомъ, и имѣютъ цѣлью наживу. Ковалевъ къ нимъ не принадлежалъ; про него можно сказать, что онъ былъ боленъ страстью не къ наживѣ посредствомъ воровства, а къ самому его процессу; ему было почти все равно что ни украсть: булку, ножикъ, часы или кошелекъ съ деньгами. Если-бы онъ наткнулся, напримѣръ, на большую кучу денегъ, то весьма возможно, что онъ бы ихъ испугался и взялъ-бы только небольшую часть.

При поступленіи въ полкъ Ковалевъ былъ сначала подавленъ страхомъ обстановки; а потому страсть къ воровству была въ немъ на время заглушена. Когда-же онъ пришелъ нѣсколько въ себя, то эта страсть загорѣлась въ немъ съ новой силой; онъ и хворалъ-то больше оттого, что не находилъ исхода этой страсти. Иногда онъ просыпался по ночамъ, привставалъ на своей койкѣ и страстными глазами обводилъ лежавшія вокругъ него вещи товарищей; случалось, что онъ спросонья жадно хваталъ сапоги своего сосѣда и намѣревался съ ними куда-то бѣжать, но, опомнившись, ставилъ ихъ на мѣсто. „Что-й-то, Господи!“ шепталъ онъ при этомъ, потирая лобъ. Замѣтивъ однажды, что дневальный спитъ, Ковалевъ пошелъ бродить по ротѣ, высматривая что-нибудь маленькое и цѣнное, что можно было-бы удобно скрыть; онъ набрелъ на незапертый сапожный сундукъ, откуда вынулъ два ножа и нѣсколько подметокъ, которые тотчасъ-же и припряталъ за печкой до удобнаго случая.

У всякаго вора, какъ-бы онъ ни былъ глупъ, непременно есть хорошій глазъ въ своемъ дѣлѣ: въ то время какъ Алѣна ухаживала за Ковалевымъ и поила его чаемъ, онъ хорошо замѣтилъ, что она передала сыну двадцать рублей, и что Дразниловъ положилъ ихъ въ кошелекъ, который спряталъ въ лѣвый карманъ. Эти деньги не давали Ковалеву покоя. Онъ также замѣтилъ, что Дразниловъ, раздѣваясь, кладетъ брюки съ кошелькомъ къ себѣ подъ подушку. Ковалевъ нѣсколько ночей не спалъ, выжидая удобнаго случая подкрасться къ постели Дразнилова, но все что-нибудь мѣшало.

Вдругъ однажды онъ замѣтилъ, что всѣ люди спятъ, и даже дневальный захрапѣлъ, примостившись на подоконникѣ. Было два часа ночи. Ковалевъ нѣсколько разъ прислушался и даже перекрестился отъ радости; онъ спустился босыми ногами на полъ и пошелъ на цыпочкахъ къ койкѣ Дразнилова; идя, онъ всматривался въ лица спящихъ людей, слегка освѣщенные тусклой лампой; одно изъ этихъ лицъ показа-

лось ему страшнымъ: вѣки его какъ будто шевелились и изъ-подъ нихъ точно подсматривали неспящіе глаза. „Господи, защити и помилуй!.. упаси, Мати Божія!“ думалъ Ковалевъ, крестясь и не спуская глазъ со спящихъ. Онъ рѣшительно не сознавалъ, что дѣлаетъ гнусное дѣло, а потому считалъ себя въ правѣ обращаться за помощью къ Богу.

Подойдя къ койкѣ Дразнилова, Ковалевъ сперва всмотрѣлся въ его глубоко спящее лицо, испытывая при этомъ наслажденіе ястреба, удачно подкравагнаго къ своей жертвѣ; затѣмъ онъ еще разъ осмотрѣлся и началъ тихо выдергивать брюки изъ-подъ подушки; онъ были не очень подавлены и потянулись легко. Ужъ онъ выдернулъ ихъ до половины, какъ вдругъ кто-то близко отъ него заговорилъ. Брюки вывалились у Ковалева изъ рукъ, онъ весь задрожалъ, сердце у него замерло, и онъ невольно опустился на полъ, испуская тихій, подавленный вздохъ: „Господи, Господи! Твоя воля, Господи!“ шевелилъ онъ дрожащими губами. Онъ боялся въ ту минуту обернуться назадъ: ему казалось, что тотъ самый солдатъ, съ страшнымъ лицомъ, уже стоитъ за нимъ и сейчасъ возьметъ его за плечи. Тревога оказалась ложной: это былъ бредъ спящаго солдата. Ковалевъ осмотрѣлся, перекрестился и снова началъ тащить брюки. Кошелекъ выпалъ изъ кармана и звякнулъ объ полъ. Ковалеву почудилось, что всѣ люди проснулись отъ этого звука и бѣгутъ его ловить; онъ снова припалъ къ полу и такъ пролежалъ съ полминуты, инстинктивно сжавъ въ кулакъ упавшій на полъ кошелекъ. Поднявшись, онъ увидѣлъ, что никто въ ротѣ не шевелится; онъ тихонько открылъ кошелекъ: тамъ были двѣ десятирублевки и нѣсколько мелочи. „Много-ту будетъ...“ подумалъ Ковалевъ. „Енто назадъ надать...“ Онъ вынулъ десять рублей, а остальные, положивъ съ кошелькомъ въ брюки, засунулъ ихъ снова подъ подушку на прежнее мѣсто. Идя обратно, Ковалевъ опять съ ужасомъ посмотрѣлъ на то страшное спящее лицо, которое, какъ ему казалось, за нимъ

слѣдило; теперь ему показалось, что лицо это улыбается и начинаетъ что-то говорить. Онъ въ ужасѣ ускорилъ шаги, вытеръ рукавомъ холодный потъ со лба и два раза перекрестился, обратясь къ ротному образу. „Слава-те, Господи“, прошепталъ онъ, глубоко вздохнувъ. Онъ уснулъ въ розовыхъ мечтахъ; ему снились булки и пироги съ начинкой, которые онъ завтра купить и съѣсть, такъ, чтобы никто не видалъ.

Въ седьмомъ часу утра новобранцевъ разбудили. Всѣ замѣтили, что Дразниловъ засуетился около своихъ брюкъ, и приступили къ нему съ разспросами; всѣ разсуждали и пожимали плечами, дѣлая разные предположенія.

— Вотъ кто! сказалъ вдругъ Чуринъ, указывая на Ковалева, который стоялъ согнувшись у своей койки и незаметно прислушивался къ толкамъ.

— Онъ не возьметъ... сказалъ Дразниловъ, отрицательно покачивъ головой.

— Да, толкуй, — не возьметъ! Третѣва-дни дневальный сказывалъ, что видалъ его у кранта ночью; а чего ему дѣлать у кранта-то? бродяга, одно-слово, бродяга!

— Что-жъ, братцы, коли на Ковалева думаете, такъ надо обыскъ сдѣлать, сказалъ одинъ изъ унтеръ-офицеровъ.

При словѣ „обыскъ“ говоръ на минуту умолкъ, что-то неприятное и отчасти страшное слышалось въ этомъ словѣ.

— Може онъ и такъ признается, сказалъ кто-то изъ толпы.

— И то, братцы, лучше сперва такъ спросить. Подъ-ка сюда, Ковалевъ! позвалъ его унтеръ-офицеръ.

Ковалевъ подошелъ, сгорбившись и опустивъ глаза; видъ у него былъ болѣзненный.

— Ну, малышъ, говори сразу: ты взялъ деньги? спросилъ унтеръ-офицеръ.

— А нѣтъ-же, ей-же Богу нѣтъ... отвѣчалъ Ковалевъ, не подымая глазъ. Руки у него слегка дрожали.

— Да видать-же что онъ: вонъ какъ трясется... заговорили въ толпѣ.

— Такъ не скажешь?

— А что-жъ сказывать? — Не я...

— Ну, коли такъ, то пойдемъ къ фельдфебелю, сказалъ унтеръ-офицеръ, и велѣлъ Ковалеву слѣдовать за собой.

— Пойдите, дяденька! куда вы его повели? Не надо... я и денегъ-то не желаю... сказалъ Дразниловъ, догоняя ихъ.

— Не твое дѣло! сказалъ строго унтеръ-офицеръ, и продолжалъ идти, таща за собой блѣднаго и растерявшагося Ковалева.

Дразниловъ мучился и не зналъ что ему дѣлать. Черезъ полчаса его потребовали въ комнату къ фельдфебелю.

— Возьми свои деньги, сказалъ фельдфебель, подавая ему десять рублей.

— А Ковалевъ? жалобно спросилъ Дразниловъ.

— Что Ковалевъ? — Ковалевъ теперь арестантъ.

У Дразнилова замерло сердце.

— Да какъ-же это? да я же не хочу. Отдайте ему эти деньги. Я не хочу, чтобы это черезъ меня вышло...

— Тебя не спрашиваютъ, строго сказалъ фельдфебель. — Деньги получилъ, такъ и ступай.

Дразниловъ совсѣмъ растерялся отъ неудачи замять это неприятное дѣло; онъ бросился искать Ковалева, но нигдѣ не могъ найти его; потомъ уже онъ узналъ, что Ковалева отвели въ арестантскую.

Алѣна пришла по обыкновенію вечеромъ въ роту; она была въ веселомъ настроеніи духа и принесла двѣ заново сшитыя рубашки.

— Вотъ, Одея, — одна тебѣ, а другая Григорію, сказала она отдавая ихъ сыну.

— Его ужъ нѣтъ, маменька.

— Какъ нѣту? Гдѣ-же онъ?

— Онъ въ арестантской.

— Что ты, дурной, мелешь? Смѣешься надо мной, что-ли?

— Вѣрно, маменька. Что-жъ вы на меня сердитесь? Развѣ мнѣ не жаль его?

— Господи Иисусе! да что-же случилось? Нагрубилъ кому, али по службѣ что сдѣлалъ?

— Да мнѣ, маменька, не охота рассказывать; пусть Чуринъ...

Алѣнѣ рассказали въ подробностяхъ происшествіе съ Ковалевымъ. Она сильно встревожилась и укоризненно глядѣла на сына, какъ будто онъ былъ отчасти виноватъ въ въ этомъ.

— И какъ это, Одея?.. Господи!.. Я пойду къ нему. Не съ болѣзни-ль онъ на это рѣшился? Иной разъ бываетъ, что безъ разумѣнія человѣкъ дѣлаетъ... А ты, Одея, деньги-то эти на церковь отдай, то Божьи деньги, изъ-за которыхъ человѣкъ гибнетъ...

Солдаты уговаривали Алѣну не ходить къ Ковалеву, такъ какъ къ арестованнымъ никого не пускаютъ; но она все-таки пошла и добила съ нимъ свиданія.

Ковалевъ недвижно сидѣлъ на твердой нарѣ въ тѣсномъ карцерѣ, сложивъ руки на колѣняхъ и опустивъ голову на грудь. Весь онъ замѣтно дрожалъ, лицо его сильно горѣло, глаза были воспалены. Очевидно, что у него начиналась какая-то болѣзнь. Алѣнѣ стало въ эту минуту невыразимо жаль его; она сѣла съ нимъ рядомъ, ласкала его, нѣжно поправляла рукой его включенные волосы, но не добила отъ него ни одного слова.

Она сунула ему въ руку нѣсколько мелочи и, вытирая слезы, вышла изъ карцера.

На другой день Алѣна хотѣла снова пробраться къ Ковалеву, но ее не допустили. Она пришла въ роту съ заплаканными глазами.

— Я видѣла его... Онъ рѣшился разума, объявила она солдатамъ. — Охъ, Господи!...

Въ ротѣ замѣтно было какое-то уныніе, что всегда случается, когда кого-нибудь изъ товарищей постигаетъ несчастіе. „Можетъ и въ правду рѣшился...“ думали солдаты, и каждый изъ нихъ чувствовалъ что-то въ родѣ угрызенія совѣсти; каждый припоминалъ свои насмѣшки надъ Ковалевымъ и считалъ себя какъ-бы виноватымъ въ печальной участи этого жалкаго, бѣднаго разумомъ и совершенно безотвѣтнаго человѣка. Никто изъ старшихъ товарищей не далъ ему нравственной поддержки; никто не направилъ его на путь истинный ласковыми совѣтами; никто не полюбилъ въ немъ своего младшаго неразумнаго брата. Только одно существо, нося въ сердцѣ завѣтъ Христа и нераздѣльную съ нимъ любовь къ несчастнымъ, горячо полюбило Ковалева, и это была простая деревенская женщина, солдатская мать, случайно попавшая въ казармы. Къ сожалѣнію, она ничѣмъ не умѣла помочь несчастному въ такое короткое время.

Дразниловъ, сочувствовавшій своей матери, едва-ли могъ бы помочь чѣмъ-нибудь Ковалеву: онъ могъ это сдѣлать только впоследствии, ибо онъ самъ былъ въ то время молодъ и неопытенъ и нуждался въ поддержкѣ со стороны старыхъ солдатъ.

Объ арестованномъ въ тотъ-же день пришло извѣстіе.

— Ковалева отвезли въ арестантскій госпиталь: очинно занемогъ,—надо быть, помретъ... объявилъ смѣнившійся съ караула солдатъ.

Лица всѣхъ присутствующихъ поблѣднѣли.

— Доконали человѣка!... сказалъ кто-то вполголоса, и эти страшныя слова отозвались жгучею болью въ сердцахъ солдатъ.

Послѣдовало продолжительное молчаніе, изрѣдка прерываемое тяжелыми вздохами. Тутъ-же стоялъ и Чуринъ; выраженіе лица его было сурово-мрачнымъ, и, казалось, онъ

боялся смотрѣть въ глаза товарищамъ, чувствуя за собой много вины противъ того человѣка, котораго онъ всегда унижалъ своими колкими насмѣшками и котораго теперь всѣ его товарищи стали жалѣть.

Алёна отозвала сына въ сторону.

— Ты меня, Одея, не жди: я уже тамъ буду... сказала она, закрывая плачущее лицо кончикомъ платка.

— Хорошо, маменька, грустно отвѣчалъ Дразниловъ.

— Господь съ тобой, сказала она, и тихо вышла изъ роты.

Въ арестантскую камору Н—го госпиталя привезли горячечнаго больного. Онъ не похожъ былъ на другихъ больныхъ и имѣлъ ужасный, потрясающій видъ: волосы, тѣло, одежда — все было на немъ грязнымъ и растрепаннымъ; некрасивое, шероховатое лицо его было осунувшимся, скулы на немъ выступали рѣзкими бѣлыми шишками; глаза дико бѣгали, и запекшіяся губы что-то шептали.

— Ножики, ножики... за печуркой, печуркой... чуркой... Твоя воля, Господи!... безсвязно лепеталъ больной, очевидно рѣшившійся еще раньше, когда былъ здоровымъ, сознаться въ своемъ преступленіи, и теперь этимъ бредившій.

Алёна перебивала у всѣхъ госпитальныхъ властей и Христомъ-Богомъ выпросила себѣ дозволеніе видѣться съ Ковалевымъ, котораго она назвала своимъ сыномъ. Войдя къ нему, она сразу сообразила, что съ нимъ нельзя говорить; она тихо остановилась у его изголовья, поправила подушки, и потомъ долго и пристально на него смотрѣла, присѣвъ на сосѣдней койкѣ и подперши подбородокъ маленькой сухощавой рукой. Потомъ она вдругъ что-то вспомнила, покачала головой и быстро вышла изъ каморы.

Черезъ часъ Алёна вернулась съ узелкомъ, въ которомъ было чистое бѣлье.

— Нельзя, голубчикъ, рубашечку ему смѣнить? спросила она фельдшера.

— А что-жь, смѣните, — это ничего...

Они стали вмѣстѣ съ фельдшеромъ переодѣвать больному рубаху.

— Господи! Господи!... Охъ! бредилъ больной: — тамotka, тамotka... за печуркой, чуркой...

Онъ дико поводилъ глазами и все лицо его выражало что-то въ родѣ испуга или недоумѣнія.

— Гриша! Гриша! сказала, нѣжно на него глядя, Алёна.

— Ась? встрепенулся больной и снова началъ бредить ножиками и подметками, въ краѣ которыхъ ему какъ-бы хотѣлось сознаться.

Алёна по цѣлымъ днямъ не отходила отъ Ковалева и все это время даже не видѣлась съ сыномъ. Черезъ нѣсколько дней ей показалось, что Ковалевъ поправляется: жаръ у него какъ будто уменьшается и выраженіе лица стало спокойнѣе.

— Водички! сказалъ однажды Ковалевъ, какъ будто приходя въ сознаніе.

— Сейчасъ, сейчасъ, голубчикъ, засуетилась Алёна, подавая кружку. — Ну, что? какъ тебѣ, лучше?

Ковалевъ ничего не отвѣчалъ и даже не пилъ воды; появившееся на мгновеніе сознаніе снова перешло въ бредъ.

Однажды какъ-то Алёна пришла въ арестантскій госпиталь, но ей сказали, что Ковалева тамъ уже нѣтъ.

— Гдѣ-же онъ? спросила она въ недоумѣніи.

— Въ мертвецкой... это будетъ направо.

Алёна набожно перекрестилась и стала вытирать кончикомъ платка обильно полившіяся слезы.

— Можно мнѣ пройти туда, голубчикъ? обратилась она къ сторожу какимъ-то необыкновенно кроткимъ и смиреннымъ тономъ.

— Отчего-жь, пройдите, туда всѣхъ пускаютъ...

Въ длинной комнатѣ съ каменнымъ поломъ, сырой и холодной, очень похожей на коридоръ, лежали два, только

что умершие, солдата. Одинъ изъ нихъ — красивый, рослый, съ прямымъ острымъ носомъ и сильно ввалившимися щеками, умершій, вѣроятно, отъ чахотки; другой — небольшого роста со скрюченнымъ корпусомъ и некрасивымъ лицомъ — былъ Ковалевъ. Алёна тихо, благоговѣйно къ нему приближалась и, перекрестясь, поцѣловала его въ лобъ; лицо ея выражало какую-то особенную озабоченность, очень похожую на ту, которая бываетъ на лицѣ у людей, приготовляющихся молиться. Въ эту минуту все вниманіе ея почему-то сосредоточилось на выдающихся, почти остроконечныхъ скулахъ лица покойника, которыя еще при его жизни все бросались ей въ глаза; ей почему-то особенно было жаль видѣть потерю жизни именно въ этихъ чертахъ, а не въ другихъ, хотя-бы послѣднія больше свидѣтельствовали объ отсутствіи въ нихъ души. Замѣчательно, что иногда изъ всѣхъ чертъ лица любимого человѣка намъ бываетъ наиболее милой какая-нибудь самая незначительная черточка: разрѣзъ губъ, ямочка на щекѣ, морщинки между бровями и проч., и вотъ, когда видишь этого человѣка умершимъ, то ничто такъ не въ состояніи растрогать сердце, вызвать горячія слезы, какъ именно потеря жизни въ этой незначительной и, можетъ быть, для другихъ безсмысленной черточкѣ. То же самое испытывала и Алёна. „Бѣдный мой, бѣдный!“ говорила она, припавъ лицомъ къ холодной груди покойника и обливая ее горячими слезами.

Сторожъ, стоявшій у дверей покойницкой и много видѣвшій на своемъ вѣку раздирающихъ душу сценъ, не могъ не прослезиться при видѣ материнскаго горя.

— Надо быть, сынокъ вашъ, бабушка? спросилъ онъ ласково.

— Да... онъ сиротка... все одно, какъ сына жалѣю... отвѣчала Алёна, вытирая слезы.

— Вотъ что, баушка: коли хошь сама хоронить, такъ иди къ смотрителю, онъ тебѣ рѣшеніе дастъ.

— Да, да... хочу... А теперь-бы водицы чистенькой да полотенчика.

Сторожъ подаль воду и полотенце.

Алёна обмыла лицо покойнику, положила ему на грудь образокъ съ своей груди, помолилась на этотъ образокъ Богу и, уже не плача, пошла къ сыну въ казармы.

Теперь плакать некогда было Алёнѣ: у нея начались заботы о похоронахъ.

День похоронъ Ковалева приходился въ воскресенье. По обыкновенію было наряжено для отданія чести отдѣленіе солдатъ. Почти всѣ свободные люди, въ томъ числѣ и Дразниловъ, попросились присутствовать на похоронахъ.

Тѣло Ковалева, передъ отпѣваніемъ, стояло въ общей часовнѣ, въ простомъ сосновомъ гробу, который Алёна обила на свой счетъ чернымъ коленкоромъ. Въ то время, когда въ часовню пришли люди, Алёна стояла около гроба съ озабоченнымъ видомъ и такъ была занята похоронами, что даже не поздоровалась съ сыномъ. Ей хотѣлось, чтобы въ похоронахъ ни въ чемъ не было недостатка; она заплатила за парчевый покровъ, положила подъ голову подушечку, на грудь — образокъ, и просила священника отслужить особую панихиду, за которую отдала горсть мѣдныхъ пятаконъ, нарочно заготовленныхъ для мелкихъ расходовъ на похоронахъ, въ томъ числѣ и для раздачи нищимъ.

Во время панихиды солдаты крестились, ставили свѣчи и усердно молились за упокой души раба Божія Григорія. У каждого стало легче на душѣ послѣ этой молитвы; каждый, кто чувствовалъ себя виноватымъ передъ покойникомъ, какъ-бы выпросилъ этой молитвой у него прощеніе. Что-то тихое, мирное, освѣжающее душу и сердце, царило въ кружкѣ людей, собравшихся отдать послѣдній долгъ Ковалеву. Впечатлѣніе отъ такихъ минутъ долго носится въ сердцѣ, какъ нѣчто святое, и часто въ жизни напоминаетъ

человѣку его долгъ къ ближнему и удерживаетъ его отъ зла. Трогательно было видѣть Алёну, которая возвращалась съ похоронъ, окруженная солдатами, какъ мать родными дѣтьми. Дразниловъ шелъ рядомъ съ матерью и гордился ею, видя ее окруженною любовью и уваженіемъ.

Опять потекла прежняя казарменная жизнь; но въ ротѣ послѣ смерти Ковалева чувствовалось какое-то обновленіе: не слышно было ругательствъ, насмѣшекъ и вообще не видно было небрежнаго обращенія старыхъ солдатъ съ новобранцами. Очевидно, что Ковалевъ могъ-бы умереть почти незамѣченнымъ, какъ умираютъ десятки солдатъ, если-бы около него не было доброй женщины, случайно попавшей въ казармы, которая обратила къ нему взоры его товарищей и своей великой любовью подала примѣръ христіанскаго отношенія къ бѣдному, униженному брату.

Прошло два мѣсяца со смерти Ковалева, и впечатлѣніе объ этомъ печальномъ происшествіи нѣсколько улеглось. Одинъ только Чуриновъ долго не могъ успокоиться: ему, какъ человѣку суевѣрному, все казалось, что покойникъ будетъ ему мстить. Однажды вечеромъ онъ прибѣжалъ въ роту блѣдный и испуганный, и долго отказывался отвѣчать на разспросы товарищей о причинѣ его испуга. Оказалось, что онъ, проходя черезъ темный дворъ, мимо склада дровъ, услышалъ въ узкомъ проходѣ между дровами стоны человѣка, и что будто-бы этотъ стоны онъ уже слышалъ нѣсколько разъ. „Это онъ... Ковалевъ...“ говорилъ Чуриновъ и боялся проходить мимо того мѣста даже днемъ. Алёна попрежнему приходила въ роту, но никогда не вспоминала о Ковалевѣ, боясь разстроить бывшихъ его недоброжелателей, которые, какъ она видѣла, раскаялись въ своихъ поступкахъ. Дразниловъ къ веснѣ расхворался грудью и былъ отправленъ въ госпиталь. Въ ротѣ разнесся слухъ, что его водили на перееосвидѣтельство и признали неспособнымъ къ службѣ. Слухъ этотъ скоро оправдался: Дразниловъ вышелъ изъ го-

спитали и объявилъ товарищамъ, что черезъ нѣсколько дней уходитъ домой. Всѣ выразили сожалѣніе.

Наканунѣ ухода Дразнилова, — а это было какъ разъ на Пасхѣ, — Алёна пришла въ роту въ праздничномъ платьѣ и съ узелкомъ, наполненнымъ орѣхами, рожками и другими гостинцами. Кружокъ солдатъ, собравшійся у кровати Дразнилова, разступился и пропустилъ ее въ середину. Она уютно усѣлась около стола и разложила на немъ принесенные гостинцы.

— Покушайте на прощаньи, сказала она привѣтливо солдатамъ.

Солдаты зашелкали орѣхами и весело заговорили; вся компанія представляла веселый, праздничный видъ; каждый изъ участвовавшихъ въ ней чувствовалъ себя въ этой обстановкѣ въ родѣ того, какъ чувствуется дома, когда вся отдыхающая отъ трудовъ семья собирается къ праздничному столу, уставленному лакомствами.

— Всѣхъ я васъ полюбила, равно какъ дѣтей своихъ, сказала Алёна; — вотъ мы домой теперь ѣдемъ, надо-бы радоваться; а по мнѣ пусть-бы Ѳедюша служилъ съ вами: меня домой не тянетъ, я бы тутъ съ вами и жила...

— И намъ безъ васъ скучно будетъ, мы къ вамъ привыкли, отвѣчали солдаты.

Въ разговорѣ между прочимъ вспомнили Ковалева. Алёна сказала, какъ-бы въ завѣщаніе, что такихъ бѣдныхъ надо любить и наставлять ихъ на доброе дѣло, ибо за ихъ грѣхи Господь взымается не съ нихъ, а съ тѣхъ людей, которые надъ ними издѣваются.

Прощаясь, мать и сынъ перецѣловались съ солдатами и ушли изъ казармъ въ томъ грустномъ, но пріятномъ настроеніи духа, которое испытываетъ человѣкъ, покидая родное мѣсто и зная, что тамъ остаются люди, которые искренно его любятъ.

На другой день утромъ Алёна съ сыномъ уѣхали. Въ ротѣ точно опустѣло безъ доброй старушки, солдатской матери, которая какъ-бы нарочно была послана судьбой въ мрачную и черствую обстановку казарменной жизни, чтобы освѣтить и согрѣть ее лучами своего простого, доброго, истинно материнскаго сердца.



СУСЛА ИВАНОВИЧЪ.

(Разсказъ).



аступили святки 1876 года. Надвигался новый 1877 годъ, принесшій намъ большую войну съ турками. На дворѣ было морозно и снѣжно; съ начала ноября все подпадалъ снѣжокъ, и отличная установилась дорога.

Окна казармъ N-го полка выходили на широкую и веселую улицу, по которой съ утра до поздней ночи слышно было движеніе. По вечерамъ, когда на улицѣ зажигались яркіе газовые рожки, которые, пробиваясь чрезъ ледяные узоры оконъ, какъ бы спорили съ тусклымъ казарменнымъ освѣщеніемъ, видно было, какъ мелькали мимо нихъ извозчичьи сани, а по временамъ, лихо разрѣзая мерзлый снѣгъ, проносилась на бойкихъ рыскахъ тучная барская карета.

Первый день Рождества прошелъ въ казармахъ необыкновенно скоро: помолились Богу въ церкви, пообѣдали и не успѣли даже поскучать, какъ уже надвинулись туманные сумерки и наступилъ длинный, располагающій къ мечтаніямъ рождественскій вечеръ. Передъ самымъ вечеромъ расходилась погода, и мелкій, но твердый снѣжокъ засеменилъ по казарменнымъ стекламъ. Въ образной комнатѣ одной изъ ротъ N-го полка, отличавшейся сыростью, а потому снабжен-

ной каминомъ, часовъ около десяти вечера собралась небольшая компанія и уютно размѣстилась вокругъ пылающихъ угольевъ. Это были оставшіеся отъ караула люди, которые не ушли со двора по случаю ненастной и холодной погоды. Въ недавно вымытой по случаю праздниковъ комнатѣ слышался, имѣющій особую, не для всѣхъ понятную прелесть, запахъ свѣжихъ опилокъ и мочалы, такъ знакомый всѣмъ питомцамъ закрытыхъ учебныхъ заведеній. Бывшій кадетъ не можетъ равнодушно слышать этого запаха: онъ навѣваетъ на него ощущение дѣтскаго отдыха послѣ трудныхъ уроковъ, приводитъ на память бывшія свиданія съ родными послѣ долгой разлуки, и вообще переноситъ въ счастливую пору дѣтскихъ праздничныхъ увеселеній. Для солдата съ этимъ запахомъ связано представленіе о праздничной чаркѣ вина, объ улучшенной пищѣ, объ отдыхѣ, посвящаемомъ мечтамъ о родинѣ, а также о задушевномъ разговорѣ съ родными и земляками, которые въ праздникъ приходятъ его навѣщать.

Какъ разъ противъ камина, свѣтъ отъ котораго падалъ на золотыя ризы ротнаго образа, помѣстился на скамеечкѣ высокій и плечистый унтеръ-офицеръ Катинъ, имѣвшій нашивку за сверхсрочную службу; его красное лицо съ густой рыжеватой бородой было задумчиво и глаза были неподвижно уставлены въ огонь; онъ курилъ трубку и изрѣдка басомъ разговаривалъ, при чемъ каждое произносимое имъ слово гудло раздавалось между пустыми сводами широкихъ каморъ.

— Суслѣ Ивановичу! Суслѣ Ивановичу наше почтеніе! вдругъ сказалъ одинъ изъ присутствующихъ, и вся компанія сразу повеселѣла: къ камину приблизился, смѣнившійся изъ-подъ воротъ, тучный, сутуловатый и въ высшей степени неуклюжій солдатикъ съ круглымъ лоснящимся лицомъ и съ широкими, закрывающими весь ротъ усами. Это былъ рядовой Иванъ Сусла, общій любимецъ въ ротѣ, котораго всѣ называли Сусла Ивановичъ. Онъ, не торопясь, снялъ аму-

ницію, сдернулъ ледяныя сосульки съ усовъ и разсѣлся потурецки на полу рядомъ съ товарищами, которые очистили для него уютное мѣсто. Всѣ стали обращаться къ Суслѣ съ разными шуточками, и даже Катинъ, до того времени задумчивый, не могъ не разсмѣяться, глядя на комичную фигуру Суслы, разогрѣвающего у камина свои окоченѣвшія руки.

— Зазябли, Сусла Ивановичъ? спросилъ шустрый молодой солдатикъ Рябцовъ.

— Самъ-бы постоялъ—такъ отвѣдалъ-бы... Экая вьюга,—упаси Господи! — такъ и рветъ, такъ и рветъ, снѣгъ эта сдымается... отвѣчалъ Сусла съ глуповатой, но добродушной улыбкой, которая не сходила съ его лица даже въ то время, когда онъ сердился.

— А вотъ я давеча въ Надмиралтечествѣ (Новомъ адмиралтействѣ) у кладовыхъ на часахъ стоялъ, у самой, значить, у рѣки... началъ-было Рябцовъ, но его прервалъ внезапно вбѣжавшій въ образную комнату дежурный по ротѣ ефрейторъ Корчагинъ. Весь блѣдный и запыхавшійся, онъ съ минуту не могъ выговорить ни слова. Всѣ вздрогнули отъ этой неожиданности и даже привстали съ мѣстъ. Одинъ только Сусла Ивановичъ не шевельнулся, онъ попрежнему улыбался и, лѣниво растирая махорку, набивалъ ею свою старую, принесенную съ родины трубку.

— Сейчасъ, братцы, чердакъ ходилъ запирасть... Такъ и убѣгъ оттедова, и ключъ сронилъ, сказалъ, переводя духъ, Корчагинъ.

— А что? спросили всѣ въ одинъ голосъ.

— Даниловъ стонетъ на чердакѣ... Побей меня Господь! своими ушами слышалъ...

Нѣкоторые изъ присутствующихъ поблѣднѣли; трусливые стали озираться по сторонамъ и съ дрожью обводили глазами темные углы пустыхъ и широкихъ каморъ. Одинъ Сусла оставался ко всему этому равнодушнымъ и исподлобья хитро поглядывалъ на Корчагина.

— Какъ-же это? какъ? расскажите, приставали къ Корчагину товарищи.

— Одно слово, стонетъ, какъ есть, стонетъ—и таково жалостливо,—ровно, какъ человѣкъ... рассказывалъ уже нѣсколько успокоившійся Корчагинъ.

— Ге!.. то-ли еще я видѣлъ, сказалъ, вынимая изъ зубовъ трубку, Катинъ.—Ты только слышалъ, а я такъ своими глазами видѣлъ Данилова, — все одно, какъ вотъ тебя вижу...

— Расскажите, дяденька, расскажите! сказалъ, страстно поѣдая его глазами, Рябцовъ.

Онъ подвинулъ Катину скамеечку. Вся компанія еще больше стѣснилась у камина. Катинъ вообще не любилъ рассказывать, но, бывало, какъ начнетъ, то уже не остановишь его: любилъ онъ, грѣхомъ, и приврать, но всегда такъ складно, что похоже было на чистую правду; а впрочемъ, можетъ быть и правду онъ рассказывалъ,—нельзя, не зная, напраслину взводить на человѣка. Вся компанія, кромѣ спокойно выпускающаго ѣдкій махорочный дымъ Суслы Иванovichа, не сводила съ Катина глазъ. Катинъ закурилъ новую трубку, поправилъ красной съ веснушками рукой свои рыжія баки, гულко кашлянулъ и чуть-ли не въ 20-й разъ сталъ рассказывать преданіе своей роты о нѣкоемъ рядовомъ Даниловѣ, которое теперь имѣло особенный интересъ, ибо вполне отвѣчало обстановкѣ. Бушевавшая на дворѣ непогода, трескъ горящихъ угольевъ въ каминѣ, довольно низкая температура полуосвѣщенной комнаты, заставлявшая людей плотнѣе тѣсниться у огонька, а также полная тишина внутри казармъ по случаю караула, — все это, вмѣстѣ съ благодушнымъ праздничнымъ настроеніемъ, располагало къ толкамъ о чудесномъ и переносило воображеніе въ богатый міръ русскихъ повѣрій.

— Было это, братцы вы мои, началъ Катинъ, — почти тай, годовъ двадцать тому назадъ; служилъ этта у насъ въ

ротѣ маленький такой солдатикъ Даниловъ,—худенькій, не-суразый, до науки лядачій, одно слово—мусорный. Я въ тыи поры въ унтеръ-офицеры вышелъ, и онъ во взводъ ко мнѣ попалъ. Торкнешь, бывало, его пальцемъ—плачетъ, а не по-нукать было нельзя, потому, какъ есть, не хватокъ былъ ни до какого дѣла... Вотъ и зачали наши ребята надъ этимъ самымъ Даниловымъ смѣхоту разную заводить: нальютъ этта въ квасъ ему дегтю за обѣдомъ, а то возьмутъ да сапоги спрячутъ, а онъ босой ходитъ по ротѣ, и никуда ему выйти нельзя, потому — дневальный не выпуститъ босого на калидоръ. Много было смѣху, и я много грѣха взялъ на душу, что такую срамоту надъ человѣкомъ допускалъ, потому—я думалъ, что самыя эти надсмѣшки проймутъ его,—анъ не то вышло совсѣмъ... Надоѣли—лъ очень Данилову товарищи, али самъ онъ носилъ что-нибудь черное на сердцѣ,—Господь его знаетъ, только поставили разъ его ночнымъ дневальнымъ вотъ у этой самой двери, и приходитъ къ ему на смѣну ночью солдатикъ, а его нѣтъ... Искали, искали,—нигдѣ не могли найти; порѣшили, что сбѣжалъ человѣкъ: такъ доложили и по начальству. Потомъ, братцы, дня этакъ черезъ два, пришли мы изъ бани и кинулись на чердакъ бѣлье вѣшать... Глядимъ, а онъ, сердечный, стоитъ этта въ самомъ углу подъ распорочкой, голова на грудь свѣшена, ноги подкошены... Ну, тутъ вся рота сбѣжалась; пришелъ фельдфебель; господамъ дали знать. Господа поглядѣли, опросили насъ всѣхъ, и велѣли снять его съ веревки. Много было послѣ того хлопотъ: завели слѣдствіе, зачали этта насъ по-одиночкѣ допрашивать, никого виноватаго не нашли, а только всѣ мы, братцы, ходили повѣсивши головы, потому—наша вина была въ этомъ, но только такая вина, которой признать нельзя на судѣ; „а Господь все-таки разсудитъ“, думалъ каждый изъ насъ, и таково было на сердцѣ тяжело...

Прошло, послѣ того, почитай, годовъ семь. Многіе люди ушли на родину, а я остался на вторичную службу. Про

Данилова всё въ ротъ забыли, и мнѣ никогда не приходило оное въ голову. Только разъ, этакъ передъ праздникомъ, пошелъ я подъ вечеръ рубашку на чердакъ вѣшать, — гляжу — и духъ во мнѣ замеръ... На томъ-же самомъ мѣстѣ стоитъ Даниловъ, только не мертвый, а живой... Лицо у него, какъ сейчасъ помню, такое веселое, насмѣшливое, — головой киваетъ и пальцемъ на меня грозитъ... Какъ я убѣгъ отсюда, какъ прибѣгъ въ роту, что со мной было — ничего не помню. Цѣлную недѣлю послѣ того меня трясла лихорадка; все по ночамъ сны какіе-то видѣлись страшные, — ровно Даниловъ къ моей койкѣ подкрадывается и хочетъ меня поймать, — проснусь, бывало, товарища разбужу. „Ты, говорю, ничего не видѣлъ?“

— Ничего, говорить, а на меня во всё глаза смотреть. дивуется... Только, бывало, молитву сотворишь, такъ маленько полегче станетъ. Никогда, братцы, такого страху не выносишь, — вотъ и теперь вспомяну, такъ поджилки дрожать, — ей-богу!

— И вы точно видѣли, что это былъ Даниловъ? спросилъ одинъ изъ присутствующихъ.

— Да вотъ какъ тебя сейчасъ вижу.

— А послѣ того не доводилось видѣть?

— Послѣ того, братцы, я посейчасъ на чердакъ одинъ не хожу, потому — я знаю, что безпремѣнно увижу... Я слышу иной разъ, какъ онъ по потолку ходитъ ночью; когда-нибудь прислушайтесь, такъ услышите сами...

Въ это время на чердакъ дѣйствительно послышался шумъ, какъ-будто тамъ что-то передвигали. Всѣ притаили дыханіе, а Корчагинъ даже перекрестился и какъ будто хотѣлъ-было убѣжать, но, поглядѣвъ на товарищевъ, опомнился. Къ удивленію всѣхъ, Сусла Ивановичъ не шелохнулся; онъ философски устремилъ глаза вверхъ и пустилъ на потолокъ густую струю дыма. Видя его полное спокойствіе, всѣ пришли въ себя и какъ будто передъ нимъ стыдились за свою трусость.

Всѣ слушавшіе рассказъ безусловно вѣрили Катину, особенно послѣ слышаннаго на чердакѣ шума; но для всѣхъ составляло тайну и, въ свою очередь, отчасти пугало равнодушные ко всему этому Суслы Ивановича. „Не пупыр-ли онъ?“ подумали нѣкоторые, посматривая на него съ какимъ-то суевѣрнымъ страхомъ.

— Ну, что, братцы, — слышали? сказалъ, нѣсколько погодя, Катинъ, видимо испуганный.

— Какъ не слышать, — всё слышали...

— Какъ это теперича понимать надо? обратился Рябцовъ къ Суслѣ, какъ къ самому спокойному между присутствующими.

— Чего тутъ понимать? тутъ понимать нечего... флегматически отвѣчалъ Сусла, попадая ловкимъ плевромъ въ горячіе уголья.

— Да вѣдь покойникъ, — какъ же теперича онъ живой ходитъ?

— Ходитъ — такъ ходитъ, вотъ тебѣ и весь сказъ, а тутъ понимать нечего...

— Господи помилуй, какіе страхи на свѣтѣ бываютъ, сказалъ Корчагинъ, лицо котораго напоминало испуганнаго ребенка.

— Тутъ бояться нечего, потому — это паръ... Что тебѣ паръ можетъ сдѣлать? сказалъ Сусла, покровительственно глядя на Корчагина.

— Да, толкуйте! замѣтилъ одинъ изъ солдатъ, — а я за сто рублей на чердакъ сейчасъ не пошелъ-бы.

— Эво! а еще воиномъ прозываешься, сказалъ Сусла, указывая на него трубкой.

— А вы-бы пошли? спросилъ Рябцовъ, который хотѣлъ-было самъ похвастаться своей храбростью, но не имѣлъ достаточно для этого духа.

— А дляча не пойти, — пойду! сказалъ Сусла, вынимая изъ зубовъ трубку.

— Ну, ужъ это вы, Сусла Ивановичъ, грѣха на душу взяли: на нашъ чердакъ ночью, а особливо подъ Рождество, никто не пойдетъ одинъ, сказалъ Катинъ.

Суслѣ Ивановичу всѣ люди въ ротѣ, даже фельдфебель, говорили „вы“, — одни серьезно, другіе въ насмѣшку; къ нему „ты“ какъ-то не шло: что-то почтенное, симпатичное и вмѣстѣ съ тѣмъ смѣшное было въ его тучной, нескладной фигурѣ.

— А ну-ка сходите, да снимите рубашку оттедова, — тамъ моя рубашка виситъ, сказалъ Рябцовъ.

— А табачокъ будетъ, братцы? сказалъ Сусла, вынимая пустой кисетъ изъ кармана и сжимая его въ комочъ.

— Будетъ! будетъ! слышалось со всѣхъ сторонъ, — полный кисетъ соберемъ!

— Ну, коли будемъ, пойду, — только безъ обману...

— Ей-богу, будетъ! вотъ Яковъ Петровичъ свидѣтель, отвѣчали всѣ присутствующіе, указывая на Катина.

Катинъ не вѣрилъ такой смѣлости въ Суслѣ и съ любопытствомъ на него поглядывалъ. Сусла спряталъ въ карманъ трубку и лѣнливой походкой направился въ темныя сѣни, откуда былъ ходъ на чердакъ.

— Пошелъ! пошелъ! сказали всѣ въ одинъ голосъ. — Слышите, какъ по лѣстницѣ ступаетъ? у него сапоги на подковахъ...

— Не пунырь-ли онъ, братцы? сказалъ, весь дрожа, Корчагинъ.

— А что вы думаете?... сказалъ Катинъ.

— Что это такое — пунырь? спросилъ Рябцовъ.

— А это — въ родѣ оборотня, — онъ съ нечистой силой знается и безпремѣнно послѣ смерти вставать будетъ... Ихъ осиновымъ коломъ... Катинъ не докончилъ: его перебилъ шумъ на чердакѣ.

— Бѣды-бы не случилось, — можно на смерть перепугаться, сказалъ Катинъ, уже сожалѣвшій о томъ, что от-

правили Суслу на чердакъ. Съ другой стороны онъ былъ доволенъ, что его разсказъ произвелъ впечатлѣніе, и втайнѣ даже желалъ, чтобы съ Суслой что-нибудь незначительное случилось для подтвержденія правды его разсказа.

Корчагинъ былъ блѣденъ и вздрагивалъ при малѣйшемъ шумѣ на чердакѣ. Онъ рисовалъ въ своемъ воображеніи картину боя между Суслой и мертвецомъ; онъ жалѣлъ Суслу, но вмѣстѣ съ тѣмъ испытывалъ сладостное ощущеніе, присущее всякому трусу, находящемуся вблизи чужой опасности, которая ни въ какомъ случаѣ не можетъ его коснуться. Кому не извѣстно, что храбрый человѣкъ идетъ навстрѣчу опасности, трусливый-же любитъ посмотреть на нее только со стороны.

Минуть черезъ пять дверь въ образную комнату открылась, и на порогѣ показался Сусла Ивановичъ съ рубашкой въ рукѣ и съ той-же глуповато-добродушной улыбкой, съ которой мы видѣли его сидящимъ у камина.

— Ай-да, Сусла Ивановичъ! вотъ такъ ерой! слышались голоса. Суслу окружили и убѣдились, что рубашка дѣйствительно съ чердака, при чемъ каждый пощупалъ ее пальцами.

— И не боязно было?

— А ни Боже мой!

— И вы ничего тамъ не слышали?

— Какъ не слышать, — слышалъ!

— Что! что слышали?!

— Да что слышалъ, — тужить кто-то, — вотъ-те и все...

— Слышите, слышите, ребята! не правду я сказывалъ? подхватилъ Корчагинъ, очень обрадованный тѣмъ, что его сообщеніе насчетъ стопа на чердакѣ не было воображеніемъ труса.

— И вы не побоялись? не убѣжали оттедова? всѣ спрашивали Суслу, пожимая плечами. Никто уже не думалъ о

томъ, что Сула — пупыр: его простодушное выраженіе лица совершенно опровергало такое предположеніе.

— А ддяча бояться? пущай его стонетъ... Може то вѣтеръ въ трубѣ гудитъ. Тамъ темень, — ничего не разглядишь.

Катинъ былъ въ восторгѣ, что его рассказъ произвелъ такой эффектъ. Въ душѣ онъ, признаться, самъ былъ того мнѣнія, что стонъ исходилъ отъ трубы, а за давностью не могъ хорошенько припомнить: дѣйствительно-ли онъ видѣлъ Данилова, какъ передавалъ въ рассказѣ, или то, можетъ быть, рубашка висѣла, — въ темнотѣ трудно было разглядѣть. Впрочемъ, онъ такъ часто рассказывалъ объ этомъ, что самъ сталъ вѣрить своему рассказу и никогда не старался провѣрять его воспоминаніями.

Пробило три часа ночи; въ каминѣ погасли уголья, но компанія не расходилась. Суслѣ набили въ складчину полный кисетъ махорки, и долго дивились его смѣлости. Было выражено желаніе еще что-нибудь прослушать, и Катинъ, увлеченный успѣхомъ, уже обдумывалъ новый рассказъ.

— Чего на свѣтѣ не бываетъ, сказалъ онъ, садясь въ позу рассказчика и выколачивая трубку: — вотъ хоть-бы съ моимъ дѣдомъ, это уже сущая правда, дѣдъ вратъ не любилъ. Было это, братцы вы мои, въ двѣнадцатомъ году, когда французъ насѣлъ на Россію. Видимо-невидимо нашло его къ намъ; самъ Бонапартій, императоръ, значить, евойный, заправлялъ у ней войскомъ, а наши все подавались къ Москвѣ. Дѣдъ служилъ въ пѣхотѣ, былъ храбрымъ солдатомъ, и, надо вамъ сказать, былъ очень охочъ до денегъ. Отправляясь на войну, онъ все думалъ о французскомъ золотѣ, хотѣлъ на первыхъ-же порахъ чѣмъ-нибудь поживиться, а потомъ и рукой махнулъ: какая тутъ была нажива, когда наши все отступали... За то, братцы, когда Москву отдали, и французъ съ голодухи потянулся назадъ, дѣдъ мой самъ не вѣрилъ своему счастью: француза погна-

по пятамъ; послѣ каждой стычки дѣдъ убѣгалъ потихоньку ночью за добычей, разыскивалъ убитыхъ непріятелей и золото вынималъ у нихъ изъ кармановъ. У него нарочито былъ спитъ для этого большой кошель; вотъ уже онъ доверху набилъ его золотыми, и товарищи стали стращать его, что ему не сносить головы, а онъ все не унимался. Вотъ разъ идетъ этта онъ ночью и набрелъ на человѣка съ отрѣзанной головой, — голова лежала этакъ поотдалъ, шага на три. Дѣдъ пощупалъ карманы у убитаго, и такой ужъ былъ счастливый, что всегда, бывало, найдеть добычу. Кошель былъ полонъ, некуда было класть, а онъ все-таки разстегнулъ его, и только что хотѣлъ положить туда прибавку, какъ вдругъ луна вышла изъ-за тучекъ, и дѣдъ увидѣлъ, что отрубленная голова зашевелилась. Онъ весь обомлѣлъ отъ страха, хотѣлъ руку поднять, чтобы крестъ сотворить, — рука не подымается. „Не трогай меня, — я бѣдный, — у меня жена дома осталась безъ куска хлѣба, дѣти маленькія“... услыхалъ вдругъ дѣдъ такой жалостливый голосъ, что и страхъ и жалость проняли его вмѣстѣ, и онъ, обронивъ кошель, пустился что есть духу бѣжать къ лагерю. Ни живъ — ни мертвъ прибѣжалъ онъ въ палатку. Товарищи стали опрашивать его, а онъ молчитъ, только въ уголь прижался. Поутру всѣ замѣтили, что у дѣда волосы посѣдѣли, и, какъ ни приставали къ нему, ничего не могли добиться. Послѣ того дѣдъ сумрачный сталъ; сидитъ, бывало, по цѣлымъ часамъ — слова ни съ кѣмъ не скажетъ; а по ночамъ боится, бывало, одинъ на дворъ выйти... И порѣшилъ дѣдъ никому объ этомъ не сказывать; только вотъ, какъ я въ солдаты шелъ, дѣдъ, по любви своей ко мнѣ, рассказалъ мнѣ этотъ самый случай. „Если будешь, говорить, въ дѣйствиіи, — можетъ быть, Господь приведетъ когда-нибудь, — никогда, говорить, непріятеля не грабь, потому это грѣхъ, — великій и смертельный грѣхъ“...

Катинъ остановился и сталъ усиленно сосать погасав-

ную трубку. Послѣ этого разсказа послѣдовало небольшое молчаніе. На дворѣ шумѣла буря, и снѣгъ еще сильнѣе барабанилъ по стекламъ. На чердакѣ вдругъ опять что-то зашумѣло; Сусла улыбнулся и молча показалъ на потолокъ трубкой; съ минуту всѣ сидѣли недвижно и прислушивались. Что-то мирное, тихое, похожее на уютную семейную обстановку чувствовалъ въ эту минуту каждый изъ присутствовавшихъ. Такъ бываетъ въ крестьянской избѣ, когда старый дѣдъ, глава семейства, начинаетъ что-нибудь подъ Рождество разсказывать изъ старины, а вокругъ сидящая семья безмолвно его слушаетъ. Суслѣ показалось забавнымъ это безмолвіе; онъ сталъ потихоньку хихикать, и всѣ, глядя на него, невольно разсмѣялись.

— Теперь вашъ чередъ, Сусла Ивановичъ, сказалъ молодой солдатикъ Рябцовъ. Сусла почесалъ затылокъ; онъ былъ лѣнивъ на разсказы и больше любилъ слушать, потому что трубочка съ большимъ вкусомъ курится, когда въ это время кто-нибудь на ухо что-нибудь бормочетъ; а Сусла Ивановичъ — куда какъ охочъ былъ до трубочки, — хоть хлѣбомъ не корми его, только давай табачку.

— Разскажите пожалуйста, приставали къ Суслѣ солдаты.

— Чего разсказывать-то?

— А про разбойниковъ развѣ забыли? сказалъ Рябцовъ. Онъ припомнилъ тотъ день, когда Сусла Ивановичъ не только разсказывалъ анекдоты, но даже пѣлъ и танцевалъ въ присядку; это было именно тогда, когда Сусла Ивановичъ былъ выпивши. Такой случай произошелъ съ нимъ только разъ за всю службу; вообще-же Сусла водки не любилъ и считался трезвымъ солдатомъ.

— Онъ разсказывалъ, братцы, какъ этта баринъ-то въ въ лѣсу заблудился, а ему, значить, трое ихъ вышло навстрѣчу. Баринъ-то былъ здоровый, замѣтилъ, что они приступаютъ къ нему, прислонился къ дереву и палкой сталъ

отбиваться. Цѣлый день они къ нему подступали съ ножами: „давай, говорятъ, деньги, — отступимся“; а онъ говорить: „деньги у меня дѣйствительно есть, да только не про васъ“... Такъ вотъ они опосля того что придумали: двое изъ нихъ стали приступать къ нему спереду, а третій дерево сталъ подрубивать, — такъ и одолѣли его къ ночи. Потомъ, значить, этого барина такъ и найти не могли, и слѣдъ простылъ...

— Чудное дѣло! замѣтилъ одинъ изъ солдатъ: — ежели этого самого барина потомъ никто не видалъ, такъ кто-жъ про это дѣло пересказать могъ?

— И то, братцы, замѣтили другіе, — кто-жъ это вамъ про это пересказалъ, Сусла Ивановичъ?

— Про что?

— Да вотъ про это самое...

— Тьфу! пристали, — я почему знаю!

— Буде, ребята, ссориться, грѣшно: скоро къ ранней зазвонятъ, сказалъ Катинъ.

Въ это время раздался звонъ отдаленнаго колокола; всѣ встали и набожно перекрестились. Міръ фантазіи столкнулся съ міромъ дѣйствительности; разговоръ тотчасъ же перешелъ на текущія событія.

— Что-то намъ, братцы, новый годъ пошлетъ? сказалъ Катинъ.

— Безпремѣнно будетъ война; давеча былъ я у земляка, такъ онъ въ газетахъ начитывалъ, сказалъ Корчагинъ.

— Вотъ такъ славно было-бъ: я страсти хочу на войну, сказалъ Рябцовъ.

— Чудесное это дѣло — война, замѣтилъ одинъ изъ солдатъ.

— Да, хорошее — кому Господь пошлетъ благополучно вернуться... опять-же егорьевскіе кресты раздають... сказалъ Катинъ.

— А что, дяденька, многих на войнѣ убиваютъ? спросилъ Рябцовъ съ ребяческимъ выраженіемъ на лицѣ.

— Какая война, — подъ Севастополемъ, почитай, что половина нашихъ легла, отвѣчалъ Катинъ.

— Все одно, хоть здѣсь, хоть тамъ помирать, — опять же всѣ пойдутъ, на людяхъ и смерть красна... замѣтилъ одинъ изъ солдатъ.

— Сказываютъ, Миколай Миколаевичъ армію снимаетъ, сказалъ Корчагинъ, котораго давно уже беспокоила мысль о походѣ.

Одинъ только Сусла Ивановичъ не говорилъ ни слова, и никто не зналъ что было у него на душѣ; только улыбка его сдѣлалась во время этого разговора какой-то загадочной и выраженіе мутныхъ маленькихъ глазъ казалось разсѣяннымъ. Было только замѣтно, что разговоръ о войнѣ заставилъ его задуматься; но о чемъ онъ думалъ — это была тайна.

Наступилъ августъ 1877 года. Это былъ годъ мучительныхъ ожиданій, ибо N-й полкъ не зналъ, придется ли ему участвовать въ походѣ. Сколько волненій было пережито каждымъ солдатомъ, когда приходилось слышать извѣстія съ театра военныхъ дѣйствій. Событія у береговъ Дуная, даже незначительныя, казались необычайно величественными, а герои этихъ событій представлялись въ какомъ-то высокомъ, недосыгаемомъ свѣтѣ. Сколько сердецъ вздыхало о славѣ и билось невыразимымъ желаніемъ стать рядомъ съ отличившимися уже героями, чтобы доказать родинѣ, что у нея много еще есть достойныхъ славы людей. Мысль объ опасности — если и была у кого-нибудь въ это время на душѣ — скрывалась какъ нѣчто преступное, и никогда ее не было слышно въ общемъ неподдѣльномъ воодушевленіи.

Желанная минута наступила. Общимъ взрывомъ восторга

N-й полкъ привѣтствовалъ объявленіе мобилизаціи. Никогда казармы этого полка не имѣли такого оживленнаго вида, какъ въ этотъ день: всѣ суетились, приготавливались, извѣщали своихъ родныхъ, сбывали лишнія вещи и приобрѣтали необходимыя для похода.

Въ образной комнатѣ той роты, гдѣ служилъ Сусла, нѣсколько мѣсяцевъ назадъ совершенно пустой, теперь была наслана солома для прибывающихъ изъ запаса людей; въ ротѣ было людно и шумно: каждый копошился около своего дѣла или принималъ земляковъ и родныхъ, пришедшихъ навѣстить его по случаю скорого разставанья.

Я не могу забыть молчаливую и отчасти строгую фізіономію Суслы Ивановича, постоянная улыбка котораго приняла на этотъ разъ какой-то серьезный характеръ и отнюдь не казалась глуповатой, какъ это было прежде. Въ его мутныхъ и равнодушныхъ глазахъ теперь уже ясно свѣтился огонекъ, свидѣтельствовавшій о какой-то важной заботѣ, которая охватила все его существо.

Сусла въ теченіе дня два раза ходилъ на рынокъ, продавъ тамъ много разнаго хлама, а оттуда притащилъ пару хорошихъ сапогъ и узелокъ съ новымъ бѣльемъ. Надо было видѣть, съ какимъ онъ серьезнымъ видомъ разсматривалъ принесенныя рубашки, пробовалъ ихъ доброту, и что-то самъ съ собою разсуждалъ въ это время.

— А ну-ка, малынь, подѣрни... обращался онъ къ сосѣду, молодому Рябцову, подавая ему конецъ купленной рубашки.

Рябцовъ, мечтательно погруженный въ мысли о войнѣ, машинально бралъ изъ рукъ Суслы конецъ рубашки и начиналъ по его приказанію дергать.

— Дюжѣй! командовалъ Сусла.

Рябцовъ дергалъ изо всей силы, не теряя однако волнованныхъ его мыслей.

То же самое Сусла продѣлывалъ предварительно съ про-

давцомъ, но ему казалось, что продавецъ недобросовѣстно дергаетъ: а некрѣпкія рубашки онъ считалъ лишней обузой и не хотѣлъ ими обременять себя.

— Эй, робя! кому портяночки надеть?... у меня уже припасены... провозгласилъ онъ громогласно, когда одна изъ рубашекъ разорвалась, и раздѣлилъ ее даромъ между товарищами, браня въ это время продавца.

Въ то время, какъ Сусла съ Рябцовымъ испытывалъ достоинство рубашекъ, Корчагинъ, не приступавшій еще ни къ какимъ приготовленіямъ и даже боявшійся этихъ приготовленій къ чему-то невѣдомому и странному, принималъ у своей койки земляка, которому выставилъ полуштофчикъ водки. Съ замираніемъ сердца выслушалъ онъ вѣсть о войнѣ и жалобнымъ голосомъ подтягивалъ, когда другіе кричали восторженное „ура!“ Онъ чувствовалъ, что его уноситъ какая-то неотразимая волна, противъ которой не только бороться, но даже думать объ этой борьбѣ совершенно безразсудно. Въ то время, какъ другіе бѣгали на рынокъ, онъ сходилъ къ своему земляку, съ которымъ былъ очень друженъ, но не для того, чтобы отвести душу въ откровенномъ разговорѣ, а просто для того, чтобы выпить съ нимъ и немного забыться. Онъ привелъ земляка къ себѣ, и, въ разговорѣ съ нимъ за полуштофчикомъ водки, былъ какъ-то ненатурально веселъ, шутилъ и смѣялся, но не могъ скрыть грустнаго выраженія своего лица, свидѣтельствовавшего о душевной тревогѣ передъ опасностью. Онъ принадлежалъ къ тѣмъ слабымъ, но самолюбивымъ натурамъ, которыя стараются ни за что не уступать товарищамъ въ наружной лихости, а потому онъ болѣзненно желалъ въ эти минуты радоваться, но радость упорно отказывалась коснуться его сердца, и онъ старался искусственно вызвать ее посредствомъ вина. Корчагинъ вообще пилъ только въ исключительныхъ случаяхъ: въ данную же минуту мысль о винѣ пришла ему въ голову только тогда, когда, написавъ слезное письмо своей ста-

рушкѣ-матери, онъ разорвалъ его со словами: „не надо! не надо! стыдно такъ писать!... Господи! отчего мнѣ такъ не весело? отчего я такъ не радуюсь, какъ другіе?“

Послѣ нѣсколькихъ рюмокъ вина Корчагинымъ овладѣла какая-то поддѣльная веселость; обрадовавшись этой минутной веселости и желая выставить ее напоказъ товарищамъ, онъ схватилъ судорожно гармонику и взгромоздился вмѣстѣ съ землякомъ на подоконникъ. Тамъ могли его видѣть всѣ проходившіе мимо солдаты. Выпрямляясь и придавая себѣ молодцоватый видъ, Корчагинъ неистово теребилъ гармонику, то прижимая ее къ груди, то нѣсколько отводя отъ себя, и запѣлъ подъ ея аккомпанементъ разгульную солдатскую пѣсню:

Загуляла Танька съ хватомъ,
Изъ полка первымъ солдатомъ, —
Солдатъ весело живетъ,
Солдатъ пѣсенки поетъ !...

— Экъ его! распѣлся... и не разберешь: съ горя али съ радости... говорили проходившіе мимо солдаты, отъ которыхъ не могла укрыться жалобная нотка въ разгульной пѣснѣ Корчагина.

Замѣчательно, что Катинъ послѣ объявленія похода совсѣмъ какъ-то стушевался и, не взирая на свои лѣта и опытность, совершенно утратилъ вліяніе на товарищей. Они сначала было хлынули къ нему въ надеждѣ услышать какое-нибудь авторитетное слово; но вмѣсто такого слова Катинъ сталъ рассказывать объ ужасахъ войны, слышанныхъ имъ отъ своего дѣда, и такъ какъ эти рассказы совсѣмъ не гармонировали съ бодрымъ настроеніемъ людей, то и не производили рѣшительно никакого успѣха. Сначала двое или трое молодыхъ слушали его, но и тѣ скоро пристали къ тѣмъ кружкамъ, гдѣ слышался смѣхъ и остроты.

Кто-же были эти люди, которые группировали около себя кружки и своимъ бодрымъ духомъ производили вліяніе

на остальныхъ людей? Сусла Ивановичъ къ нимъ не принадлежалъ: онъ оставался такимъ-же, какимъ былъ и до объявленія похода, и хотя въ глазахъ у него свѣтился огонекъ, свидѣтельствовавшій о какихъ-то радостныхъ мысляхъ, но онъ этихъ мыслей, по скрытности своей, никому не высказывалъ, а потому никто не шелъ къ нему за нравственной поддержкой. Впрочемъ, Сусла отчасти производилъ вліяніе на товарищей своимъ спокойнымъ видомъ, главное же вліяніе принадлежало другимъ людямъ, между которыми особенно выдѣлялись фельдфебель Красный, рядовой Куликовъ и еще одинъ чухонецъ, котораго звали Купья.

— Эй, молодцы! выноси штыки на дворъ къ Куликову, да хорошенько оттачивай! скомандовалъ высокій и стройный, по лѣтамъ еще молодой, фельдфебель, молодцоватой походкой обходя ряды косякъ. Его красивые голубые глаза блистали довольствомъ, а бойкія рѣшительныя манеры съ нѣкоторой долей изящества, избличавшія дворянское происхожденіе (онъ былъ изъ дворянъ), возбуждали зависть и вызывали подражателей.

Въ выраженіи: „точить штыки“ было что-то необычайное; многія сердца забились при этомъ выраженіи; но молодцовато отданное приказаніе вызвало въ ротѣ оживленіе: многіе схватили штыки и въ припрыжку побѣжали на дворъ. Одинъ солдатикъ замѣшкался около штыка и о чемъ-то задумался.

— У! бабища этакая! крикнулъ на него отдѣленный ефрейторъ.

— Онъ боится! сказали другіе солдаты.

— Равда, равда (правда)! онъ плакалъ давица,—и поспѣшь лезы видать... поддакнулъ Купья, лихо вытирая пыль со своего штыка.

— Эхъ, вы! ничего вы не понимаете! онъ у насъ молодчина! заступился фельдфебель, и дружески потрепалъ его по плечу.

Ободренный лаской фельдфебеля, солдатикъ сразу повеселѣлъ и, легко вздохнувъ, побѣжалъ вмѣстѣ съ другими на дворъ.

На дворѣ толнилось уже много солдатъ вокругъ точила, которое вертѣлъ, что-то приговаривая, худой, высокій и длиннолицый солдатъ съ заломленной на бекрень фуражкой. Это былъ Куликовъ.

— Жизнь копѣйка, судьба индѣйка! говорилъ онъ, дѣлая смѣшныя жесты локтями,—а турку все-таки постегать надоть... За что мы его будемъ бить, братцы? ась?

Все хохотали, глядя на смѣшную фигуру Куликова.

— Не знаете? то-то вотъ и есть, что не знаете, продолжалъ Куликовъ:—а вотъ за то самое, что отъ него болгарамъ житья нѣту...

— Кто это, братцы, болгары? они сродни намъ приходятся? спросилъ кто-то изъ толпы.

— А прахъ ихъ вѣдаетъ,—надо быть сродни, отвѣчалъ съ тѣми же ужимками Куликовъ, — вотъ увидимъ, такъ спросимъ.

Отдавая каждому выточенный штыкъ и при этомъ замѣчая у нѣкоторыхъ грустныя фізіономіи, Куликовъ начиналъ шуточно колотъ ихъ въ грудь, пока не вызывалъ улыбку. Допла очередь до Суслы Иванoviча.

— Пожалуйте-ка вашъ штычекъ, Сусла Ивановичъ, для васъ удружу, на славу выточу, сказалъ съ особенной ужимкой Куликовъ.

— Ладно, нѣча зря балагурить,—а ты точи хорошенько. сказалъ Сусла, который почему-то не любилъ Куликова.

Осмотрѣвъ выточенный штыкъ, Сусла остался недоволенъ и самъ молча сталъ подходить къ колесу, потихоньку оттачивая плечомъ Куликова. Куликовъ не уступалъ ему мѣста, и между ними завязалась борьба, при чемъ Сусла не на шутку сердился, а Куликовъ смѣялся.

— Ну-же пусти! говорятъ тебѣ по добротѣ, а то осерчаю, сказалъ Сусла, толкнувъ Куликова. Куликовъ уступилъ.

— Ай-да Сусла Ивановичъ! сказалъ онъ, нисколько не сердясь, ибо на Суслу не принято было сердиться. — Вотъ такъ боецъ! настоящий боецъ! онъ и туркѣ по добротѣ скажетъ: „пусти, молю, я тебя убью...“ ха, ха, ха!..

Окружающіе солдаты заливались хохотомъ. Всѣ эти сцены, такъ добродушно разыгрываемыя въ виду предстоящаго боя, вносили спокойствіе въ сердца людей и понемножку заставляли ихъ смотрѣть на войну какъ на нѣчто совсѣмъ не такое ужасное, какъ это казалось раньше. Находившійся тутъ-же фельдфебель тоже смѣялся, обращаясь съ ласковыми шутками къ Суслѣ, и красивое съ голубыми глазами лицо его казалось въ эту минуту необыкновенно добрымъ и привѣтливымъ. Онъ шутилъ съ солдатами, какъ товарищъ, особенно приставалъ къ Суслѣ Ивановичу, нарочно вызывая его на грубоватые отвѣты, и за это многіе изъ солдатъ, которые прежде недовольны были его строгимъ обращеніемъ, сразу почувствовали къ нему влеченіе. Глядя на него, многіе думали: „Ну, какъ можно съ такимъ молодцомъ бояться въ дѣло идти“, и пріятное волненіе о томъ, что придется сражаться рядомъ съ фельдфебелемъ, охватывало многія сердца.

И такъ, вскорѣ послѣ объявленія похода, можно уже было замѣтить тѣхъ людей, около которыхъ въ минуту опасности будутъ собираться слабѣйшіе духомъ товарищи. Иногда это вліяніе не зависитъ отъ хорошихъ общихъ нравственныхъ качествъ и дается людямъ во многихъ отношеніяхъ непривлекательнымъ. Къ такимъ людямъ принадлежали Куликовъ и Купья, изъ которыхъ одинъ былъ просто болтунъ, иногда остроумный, въ большинствѣ же случаевъ пустой; другой, какъ полицейскій стражъ, подстерегалъ скучающихъ передъ походомъ товарищей и тотчасъ же доносилъ на нихъ, чтобы поднять ихъ на смѣхъ. Около нихъ собирались кучки

людей, изъ которыхъ многіе старались попасть къ нимъ въ милость, для того чтобы обезпечивать себя отъ насмѣшекъ.

Куликовъ былъ, что называется между солдатами, „выжига“. Онъ не боялся, напримѣръ, броситься впасть черезъ рѣку, не подумавъ о своихъ силахъ, пройти при тушеніи пожара по горящимъ бревнамъ и проч., но только при непремѣнномъ условіи, чтобы получить за это что-нибудь въ награду, хотя бы эта награда заключалась только въ громкомъ одобреніи со стороны товарищей. „Молодецъ, орелъ!“ говорили товарищи, глядя на его безумную продѣлку, и у него сердце прыгало отъ удовольствія слышать такое одобреніе. Предстоящій походъ былъ интересенъ для него только потому, что представлялось много случаевъ выказать себя самымъ лихимъ изъ всей роты. Не только фельдфебель, но и офицеры любили Куликова за его расторопность, и это очень поощряло его. Никто, бывало, на маневрахъ, во время плохой стоянки на бивуакѣ, не могъ такъ скоро разыскать что-нибудь необходимое, какъ Куликовъ: стойка ли сломается въ офицерской палаткѣ, не хватитъ ли бѣлокъ къ чаю или фуража для лошади — Куликовъ все это могъ раздобыть, просто, какъ говорится, изъ-подъ земли выкопать.

Въ средѣ солдатъ Куликовъ былъ болтуномъ, въ мирное время иногда надоедливымъ, но въ походѣ — незамѣнимымъ. Такіе люди — кладъ въ минуту опасности, ибо они и тамъ не утерпятъ, чтобы не разсмѣшить товарищей; а смѣхъ подъ пулями — это лучшій признакъ хорошаго состоянія нравственнаго духа въ части.

Купья былъ совсѣмъ въ другомъ родѣ. Это былъ человѣкъ, не знавшій ни слова по-русски и съ перваго шага всей душой отдавшійся службѣ. Надъ нимъ сначала смѣялись, когда онъ коверкалъ русскія слова, но онъ скоро заставилъ уважать себя своимъ усердіемъ и способностями къ службѣ. Черезъ два мѣсяца онъ уже говорилъ на ломаномъ русскомъ языкѣ, а черезъ годъ его даже назначили учителемъ

къ новобранцамъ. Онъ былъ необыкновенно исполнительнымъ; можно было смѣло сказать, что этотъ человѣкъ исполнитъ въ точности какое угодно приказаніе начальства, хотя-бы для этого пришлось пожертвовать жизнью. Такіе люди умираютъ не моргнувъ глазомъ и въ величайшей опасности сохраняютъ полное присутствіе духа. Какъ человѣкъ, Купья былъ не любимъ товарищами, которые однако относились къ нему съ уваженіемъ и во многомъ слушались его: обращеніе его, особенно съ тѣми людьми, которые были ему подчинены, было черство, неумѣренно строга, и вообще онъ былъ желченъ и непривѣтливъ къ товарищамъ.

— Я говорилъ тебѣ: поль-оборотъ! дѣ у тебя голова на плечи?!.. кричалъ онъ обыкновенно на новобранца, который не понималъ поворотовъ.

Если при немъ который-нибудь изъ унтеръ-офицеровъ начиналъ дѣлать выговоръ рядовому, Купья жадно прислушивался, и бывалъ чрезвычайно радъ, когда ему представлялась возможность вставить обвинительное слово.

— Это ты уронилъ ружье? спрашивалъ, на примѣръ, взводный унтеръ-офицеръ у рядового.

— Никакъ-нѣтъ, дяденька.

Купья съ какой-то дикой жадностью вытягивалъ шею, прислушивался и ожидалъ что будетъ дальше.

— Врешь! говорилъ унтеръ-офицеръ:—безпремѣнно ты повалилъ,—вонъ стволъ погнули...

— Ей-богу, дяденька, не я.

Тогда Купья съ радостью подбѣгалъ свидѣтельствовать.

— Ретъ! ретъ (вреть)! я самъ видалъ! воими лазами видалъ!... ишь ты какой!... говорилъ онъ, грозясь на солдата.

Не взирая однако на всю свою непривлекательность, Купья былъ человѣкъ весьма нужный въ ротѣ, какъ крѣпкая натура, собирающая около себя слабыхъ, несамостоятельныхъ людей.

Въ каждой сотнѣ солдатъ непремѣнно найдется нѣсколько человѣкъ подобныхъ фельдфебелю Красному, рядовымъ Куликову и Купьѣ. Каждый изъ нихъ непремѣнно чѣмъ-нибудь обнаруживаетъ себя еще до начала похода; но есть и другіе люди, подобные, на примѣръ, Суслѣ, который, какъ безмолвный истуканъ, представлялъ для всѣхъ загадку. Онъ не искалъ извѣстности въ ротѣ ни ласковымъ обращеніемъ съ товарищами, подобно фельдфебелю, ни шутками и остротами, подобно Куликову, ни какимъ-то неумолимымъ преслѣдованіемъ, которымъ занимался Купья. Онъ просто былъ занятъ приготовленіями къ походу, курилъ по-прежнему свою трубочку, и до другихъ ему не было рѣшительно никакого дѣла. Иногда, впрочемъ, замѣтивъ какого-нибудь скучающаго солдатика, онъ какъ-то незамѣтно принималъ въ немъ участіе.

— Садись, малышъ,—покури... говорилъ онъ, подзывая его къ себѣ и предлагая табаку изъ большого, сдѣланнаго для похода, запаса.

Солдатъ закуривалъ папиросу и позволялъ себѣ въ присутствіи Суслы глубоко вздохнуть, зная, что его за это не упрекнутъ.

— Больно долго тянуть, говорилъ Сусла,—по мнѣ, такъ итить-бы уже...

— Да... задумчиво отвѣчалъ его собесѣдникъ.—Сказываютъ, дяденька, тамъ много нашихъ побили?

— А что-жъ! все одно—помирать, — кабыто здѣсь не умираютъ въ госпиталяхъ... Тамотка по крайности весело... Страны этто будемъ проходить разныя, людей повидаемъ... Вообще было замѣтно, что Суслу разбирало нетерпѣніе поскорѣе выступить въ походъ, особенно послѣ того какъ онъ окончилъ свои приготовленія; но зачѣмъ онъ желалъ похода, что его собственно влекло туда, никто этого не зналъ. Передъ самымъ выступленіемъ, когда одному изъ офицеровъ понадобился деньщикъ, въ ротѣ стали опрашивать желающихъ.

— Не пожелаете-ли вы, Сусла Иванович? спросилъ фельдфебель, нарочно, чтобы его разозлить.

Сусла косо посмотрѣлъ на фельдфебеля и сердито задергалъ усами.

— Дядя это вы мнѣ говорите? сказалъ онъ, отвернувшись и поправляя что-то у своей койки.

— Тамъ не опасно, не убьютъ, сказалъ фельдфебель, подмигивая собравшимся солдатамъ.

— А коли не опасно, такъ и ступайте сами, — неча другихъ выкликать...

— Молодчина Сусла Иванович! ей-богу! вотъ такъ молодчина, подхватили солдаты. — Онъ не изъ таковыхъ, чтобы идти въ деньщики.

И такъ приготовленія къ походу были въ полномъ разгарѣ. Въ роту постепенно прибывали запасные нижніе чины; составилъ полный хоръ пѣсенниковъ, распѣвавшій по цѣлымъ вечерамъ вдохновляющія къ бою старинныя боевыя пѣсни; новыхъ пѣсенъ еще не было, потому-что онѣ слагаются въ самомъ походѣ. Часть людей, не помѣщавшаяся въ казармахъ, была выведена на площадь и расположилась въ палаткахъ. Все это представляло что-то необычайное и привлекало большую толпу любопытныхъ, особенно по вечерамъ, когда собирались пѣсенники. Народъ съ особеннымъ восторгомъ относился въ это время къ солдатамъ, предвидя въ нихъ будущихъ героевъ, и удивлялся этой непостижимой беззаботности и веселью наканунѣ встрѣчи съ врагомъ. Солдаты въ это время были для толпы какимъ-то особеннымъ человѣкомъ, совсѣмъ не такимъ, какъ въ мирное время. „Родной ты нашъ, голубчикъ, защитникъ ты нашъ, молодецъ ты нашъ русскій“, — вотъ съ какими словами обращался въ это время къ солдату народъ. Проходившихъ на улицѣ солдатъ останавливали, зазывали къ себѣ, угощали, дарили имъ разныя вещи; имъ бросали изъ оконъ пачки съ папиросами, а въ нѣкоторыхъ лавкахъ не брали за мелкія по-

купки денегъ; изъ булочныхъ присылали въ казармы даровыя булки. Кромѣ любви, къ солдату относились съ какимъ-то особеннымъ почтеніемъ; когда онъ проходилъ сквозь толпу, она разступалась и давала ему дорогу, — словомъ, солдата, какъ говорится, носили на рукахъ. Что-то чудное, трогательное было въ этомъ отношеніи народа къ солдату: русское сердце открывало здѣсь всю свою глубину, и русскій народъ казался великимъ въ своей любви.

Въ день выступленія, рано утромъ полкъ вышелъ на плацъ съ тѣмъ, чтобы, до окончанія войны, уже не возвращаться въ казармы. Солдаты въ полной походной амуниціи и съ ружьями въ рукахъ спѣшили обнять провожавшихъ ихъ родныхъ и друзей, и бѣгомъ присоединялись къ строю. Яркое восходящее солнце, пробывавшееся между большими домами, и легкій холодокъ августовскаго утра обѣщали хорошій день. Несмотря на раннюю пору, народъ толпился большими кучками на плацу и любовался полкомъ. Внутри полка, построеннаго покоемъ, стояли пѣвчіе и все было приготовлено для молебна.

Когда рота стоитъ рядомъ съ другой ротой въ виду предстоящаго боя, между ними непременно возбуждается соревнованіе: люди каждой изъ ротъ гордо посматриваютъ на своихъ сосѣдей и стараются превзойти ихъ своей молодцоватостью. Такимъ образомъ лучшая изъ ротъ по духу непременно производитъ вліяніе на другія роты. Обыкновенно роты при встрѣчѣ другъ съ другомъ перекидываются разными шутками и остротами. Въ N-й ротѣ главнымъ задирой въ этомъ случаѣ былъ Куликовъ.

— Гляди, робя, — пятая рота подушки забрала, сказалъ онъ, указывая на толстые мѣшки сосѣдей.

— Молчи, желтоглазый! ишь тебя вытянуло въ сажень, а башка тупая, какъ пень... Вонъ у васъ, сказываютъ, солдаты сбѣгъ передъ походомъ.

— Анъ врешь! онъ за вѣстового пошелъ при господахъ...

— Вы всё разойдетесь, кто въ вѣстовые, кто въ санитары (санитары). — Ну, ротишка!

Въ такомъ родѣ шло между солдатами пререканіе до выхода офицеровъ. Появленіе офицеровъ, изъ которыхъ каждый съ особеннымъ чувствомъ здоровался въ это время со своей ротой, произвело сильное впечатлѣніе. Люди любовались офицерами и были въ восторгѣ отъ ихъ ласковаго обращенія. „Съ господами пойдѣмъ! наши господа молодцы! куда мы, туда и господа пойдутъ!... Чудесное это дѣло — война!“ думали многіе изъ нихъ. Но вотъ наступила торжественная минута: начался молебенъ о побѣдѣ русскаго воинства. Старичокъ-священникъ, въ новой ризѣ, тоже собравшійся въ походъ, съ чувствомъ читалъ молитвы. „И онъ съ нами“, думали солдаты, умиленно глядя на старика. Слова: „Спаси, Господи, люди Твоя...“ всегда торжественныя, особенно подъ открытымъ небомъ, теперь были полны особеннаго смысла и магически волновали сердца.

Молебенъ кончился. Священникъ съ отеческимъ выраженіемъ въ лицѣ обошелъ ряды и окропилъ людей святою водою. Глубокіе вздохи слышались въ это время въ рядахъ; чувствовалась та серьезность, которая овладѣваетъ душой человѣка послѣ горячей и усердной молитвы.

— Смирно! раздался голосъ полкового командира, добродушный и нѣсколько хриплый, хорошо знакомый людямъ.

Теперь этотъ голосъ казался чѣмъ-то роднымъ, неотъемлемо принадлежащимъ полку. „Онъ нашъ, этотъ сѣдоватый генералъ“, думали люди, умиленно глядя на приподнявшагося на стременахъ командира полка. Генералъ началъ что-то говорить. Всѣ вытянули шеи и прислушивались. До N-й роты долетали только отрывочныя слова: „помните вашихъ предковъ!... поддержимъ славу!... умремъ за своего Государя!“... Хотя ничего не было слышно, но и не надо было слышать: люди все поняли, все прочитали на лицѣ своего командира, глаза котораго горѣли и были полны слезъ.

Трудно было командиру докончить рѣчь, уже нѣсколько разъ прорывалось „ура!“ и наконецъ вырвалось, когда генералъ поднялъ саблю и, указавъ ею по направленію пути, провозгласилъ: „съ Богомъ, ребята! въ добрый часъ!“ Земля задрожала отъ восторженнаго крика солдатъ, который былъ подхваченъ толпившимся вокругъ народомъ, и долго перекатывался по широкой площади. Во время этого „ура!“ одинъ изъ людей въ N-й ротѣ видимо выражалъ нетерпѣніе и вздыхалъ.

— Что это вы, Сусла Ивановичъ, ровно не веселы? обратились къ нему товарищи.

— Не люблю я этого...! отвѣчалъ Сусла, махнувъ рукой: — дѣла зря кричать? напередъ заслужи, да тады и кричи... ишь разорались!

Полкъ вытянулся длинной колонной по отдѣленіямъ. Множество народа шло за полкомъ до самаго вокзала. Окна во всѣхъ домахъ по пути были отворены; дамы выходили на балконы и махали платками. Рядомъ съ колонной шли родственники солдатъ, передъ которыми почтительно разступалась толпа народа. Одинъ молодой солдатикъ всю дорогу шелъ, обнявшись со своей старушкой-матерью, которая все смотрѣла ему въ глаза и, боясь его разстроить, удерживалась отъ слезъ. Теперь солдаты молчали, а идущій по сторонамъ народъ привѣтствовалъ ихъ криками. На лицахъ солдатъ были видны слезы; но эти слезы не были отраженіемъ малодушія; напротивъ, онѣ были признакомъ избытка высокихъ и здоровыхъ чувствъ, безъ которыхъ немислима побѣда надъ сколько-нибудь сильнымъ противникомъ.

Было начало октября 1877-го года. Яркія звѣзды горѣли на ясномъ небѣ, и полная луна, подымаясь изъ-за лѣска, обливала своими серебристыми лучами волнообразную мѣстность, слегка подернутую кустарниками, на которой былъ расположенъ бивуакъ нашихъ войскъ. Войска эти должны

были по диспозиціи атаковать на другой день до разсвѣта, расположенную въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Плевны, укрѣпленную турецкую позицію.

По скату небольшого холма, на лѣвомъ флангѣ бивуака, былъ расположенъ N-й полкъ, которому предстояло однимъ изъ первыхъ вступить въ дѣло, для чего было приказано изготавиться къ двумъ часамъ ночи. Въ ротѣ, гдѣ служилъ Сусла Ивановичъ, почти никто не спалъ въ эту ночь; всѣхъ волновала мысль о первомъ боевомъ дебютѣ, о томъ, что завтра совершится что-то невѣдомое и въ высшей степени важное, къ чему уже давно готовились и чего съ такимъ нетерпѣніемъ ждали. „Что-то намъ Господь пошлетъ завтрашній день?“ думалъ каждый солдатъ, съ волненіемъ поглядывая въ ту сторону, гдѣ вдали на горизонтѣ чуть-чуть мелькали огоньки и что-то чернѣлось, окутанное покровомъ ночи, не то страшное, не то пріятное и въ высшей степени чудесное, къ которому страстно рвалась душа, чтобы поскорѣе овладѣть имъ и покончить славное дѣло. То была турецкая позиція. „Будь, — что будетъ“, разсуждали въ это время даже слабѣе духомъ, — „только поскорѣй, какъ можно поскорѣй, чтобы не мучиться ожиданіемъ“.

Между бѣлыми рядами еще новыхъ, незаношенныхъ палатокъ сидѣли, кто на чемъ попало, кучки солдатъ и тихо разговаривали, прислушиваясь ко всему происходившему. Каждый проскакавшій мимо ординарецъ, каждый появившійся вблизи палатокъ офицеръ возбуждали величайшее любопытство: всѣ жадно прислушивались и дѣлали разные предположенія.

— Этотъ къ генералу поскакалъ, слышалось въ одной кучкѣ: — нѣтъ-ли, братцы, какого извѣщенія отъ непріятеля?

— Надо - быть, случилось что-нибудь: больно скоро побѣгъ...

— Очень просто: что-нибудь изъ цѣпи дали знать.

— Ужъ не наступаетъ-ли онъ (непріятель)?

— Зачѣмъ наступать: „ему“ не въ примѣръ сподручнѣй за окопами.

— А что, братцы, ежели „онъ“ теперича возьметъ да снимется, — и поминай какъ звали...

— Что-же, — будемъ слѣдомъ за нимъ итить, гдѣ-нибудь да нагонимъ.

— А докель ему, братцы, можно отступать? гдѣ, значить, конецъ будетъ ихней землѣ?

— А у нихъ городъ есть такой, Царьградомъ прозывается, — все одно, какъ нашъ Питеръ или Москва... Какъ Царьградъ заберемъ, такъ и войнѣ конецъ.

Въ другой кучкѣ разговаривали шопотомъ и постоянно озирались по сторонамъ, боясь, чтобы кто-нибудь не подслушалъ.

— Во Фратештахъ какіе лежатъ, страсть! одному ногу вырвало... Я давеча забѣгалъ въ госпиталь, когда тамъ стояли на привалѣ.

— Да, ежели въ кость угодить — не хорошо; опять-же и въ животъ, сказываютъ, опасно... Вотъ, ежели въ мякоть — это ничаво...

— У нихъ, сказываютъ, пуля еще пошибче нашей.

— Да, — теперь пули не такія, какъ прежде были: — прежняя круглая пуля, бывало, и до кости не достанетъ, а эта такъ и искрошитъ.

Оба разговаривавшіе задумались и пристально глядѣли въ ту сторону, куда придется завтра идти. Первый изъ нихъ былъ уже знакомый намъ ефрейторъ Корчагинъ, второй — унтеръ-офицеръ Катинъ.

Нѣсколько въ сторонѣ отъ палатокъ, у самого большого костра, виднѣлась третья кучка, совсѣмъ не похожая на другія. Тамъ слышался смѣхъ, и противъ огня чернѣлась длинновязая фигура Куликова. Онъ ощищивалъ пойманного гдѣ-то по дорогѣ цыпленка и, наколовъ его на хворостину, сталъ жарить на кострѣ.

Хворостина перегорѣла, и недожаренный дыпленокъ свалился въ уголья; Куликовъ сталъ тащить его и обжегъ руки. Все это сопровождалось гримасами и ужимками, возбуждающими хохотъ.

— Что это, братцы, Суслы Ивановича не видать? спросилъ подошедшій фельдфебель.

— А они въ палаткѣ, отозвался Рябцовъ.

— Право? что онъ тамъ дѣлаетъ? Надо пойти поглядѣть...

— А не могу знать,—надо-быть, спать.

Нѣсколько человѣкъ пошли вмѣстѣ съ фельдфебелемъ въ палатку, которую занималъ Сусла.

— Скажите ему, пущай за ножкой приходитъ,—я ему ножку дамъ отъ курятины, ежели угодно, сказалъ имъ вдогонку Куликовъ.

Открывъ палатку, солдаты зажгли спичку, и глазамъ ихъ представилась любопытная картина: Сусла Ивановичъ, поджавши ноги и окутавшись шинелью, беззаботно спалъ, издавая легкій храпъ; изъ кармана у него торчалъ конецъ трубочки, которую онъ, вѣроятно, съ наслажденіемъ выкуривалъ на сонъ грядущій. Это былъ чуть ли не единственный въ эту ночь спящій человѣкъ во всей ротѣ.

— Чудакъ-человѣкъ! одно слово—чудакъ! покачали головами солдаты, и отошли отъ палатки.

Около часу весь бивуакъ пришелъ въ движеніе; люди стали быстро снимать палатки и одѣвать амуницію; дежурные офицеры все приводили въ порядокъ и хлопотали около обоза, который долженъ былъ отойти въ назначенное мѣсто. Костры велѣно было увеличить, чтобы ввести въ обманъ непріятеля, и лагерь освѣтился яркимъ заревомъ. Молодой Рябцовъ, все время державшійся, такъ сказать, подъ крыломъ у Суслы Ивановича и занимавшій съ нимъ одну палатку, весь запыхавшись, прибѣжалъ будить его.

— Сусла Ивановичъ! а Сусла Ивановичъ! вставайте

скорѣй, палатки сдывать велѣно! сказалъ онъ, потихоньку толкая его въ бокъ.

— Не балуй!—вишь спать хочу... отвѣчалъ Сусла сквозь сонъ.

— Да что вы! Бога вы не боитесь? уже всѣ одѣлись!

— Ой-ли? встрепенулся Сусла.

— Ей-богу!

— Эге! Ну, значитъ, съ Богомъ! сказалъ Сусла, вскакивая на ноги и торопливо одѣваясь. Онъ при этомъ нѣсколько разъ широко зѣвнулъ и всякій разъ крестилъ ротъ.

— Дождика нѣтъ? спросилъ онъ, приподымая полу палатки.

— Нѣту, отвѣчалъ Рябцовъ,—звѣзды этта на небѣ, мѣсяцъ,—погода славнѣющая.

— Ну, слава Богу: не хорошо, когда дождикъ.

Весь бивуакъ былъ уже на ногахъ. Солдаты быстро одѣвались и присоединялись къ строю; фельдфебеля провѣряли расчетъ. Велѣно было соблюдать строжайшую тишину; поэтому офицеры, не здороваясь съ людьми, вполголоса подавали команды и потихоньку сводили свои роты въ общія колонны, изъ которыхъ первая начала уже движеніе.

Въ головѣ N-го полка, нѣсколько шаговъ впереди первой колонны, едва виднѣлась въ темнотѣ кучка всадниковъ, составлявшихъ свиту командира полка. Отѣхавъ нѣсколько въ сторону, генералъ остановился и сталъ пропускать мимо себя каждую роту. Видимо довольный бодрымъ духомъ солдатъ, которые, проходя мимо него, выпрямлялись и отбивали ногу, генералъ едва могъ удержаться, чтобы не похвалить ихъ и, весь взволнованный, кивалъ головой и улыбался проходившимъ мимо него ротамъ. Пропустивъ мимо себя весь полкъ, генералъ снова поскакалъ впередъ и уже до самаго боя не останавливался. Долго послѣ того на разсвѣтѣ наблюдали солдаты его пріятную, слегка сгорбленную фигуру, которая мѣрно покачивалась на высокой бѣлой лошади. Ге-

нераль по временам доставалъ бинокль и, продолжая ѣхать, пристально всматривался въ даль, гдѣ на краю горизонта неясно рисовался прочный турецкій редутъ. Каждый разъ, когда онъ это продѣлывалъ, солдаты съ волненіемъ за нимъ слѣдили и ловили каждое его движеніе. „Вотъ — вотъ обернется и подастъ команду вступить въ дѣло“, думалъ каждый изъ нихъ; но дѣло началось какъ-то вдругъ, неожиданно и именно въ то время, когда непріятельскій редутъ былъ даже скрытъ отъ взоровъ людей.

Дорога N-му полку шла черезъ небольшой лѣсъ; когда полкъ втянулся въ него и каждый изъ людей, не отвлекаемый въ то время видомъ непріятельской позиціи, сталъ оправляться, а Сусла даже закурилъ трубочку, вдругъ послышался орудійный выстрѣлъ, и граната, зашуршавъ по вѣтвямъ деревьевъ, разорвалась въ серединѣ полка. „Охъ! охъ!“ слышались стоны раненыхъ, и тогда только люди поняли, что дѣло началось.

Снаряды стали летать одинъ за другимъ; засвистали пули, направленные въ голову полка, выходившую въ то время изъ лѣса. Теперь непріятельская позиція была окутана дымомъ, и очертаній ея нельзя уже было разобрать. Генераль еще въ лѣсу немного пріостановилъ полкъ и велѣлъ перестроиться въ боевой порядокъ. Рота, въ которой служилъ Сусла Ивановичъ, вышла на опушку одной изъ первыхъ. Куликовъ, заломивъ шапку на бекрень и молодцовато выпрямившись, однимъ изъ первыхъ очутился подъ выстрѣлами и лихо поглядывалъ на товарищей, которые выходили изъ лѣса.

— У! бестія! сказалъ онъ, провожая глазами перелетѣвшую надъ головами роты гранату.

Купья тоже бѣжалъ впереди, неся ружье на перевѣсѣ и наблюдая за поведеніемъ товарищей.

— Ай, братцы! Корцагинъ-то, Корцагинъ! сказалъ онъ, указывая на присѣдавшего послѣ каждого выстрѣла Корцагина.

Сусла нервно подергивалъ усами и весь былъ красный, что всегда означало у него нетерпѣніе: ему хотѣлось, не останавливаясь, идти впередъ, а тутъ, какъ нарочно, послышалась команда: „ложись!“ Приказано было всѣмъ лечь и ожидать подхода другихъ частей, чтобы начать общее наступленіе. Нѣкоторыя части, не рассчитавъ разстоянія, вступили въ кругъ огня значительно позже и тѣмъ задержали атаку.

Черезъ полчаса, которые N-й полкъ провелъ въ мучительномъ ожиданіи, послышалось приближеніе другихъ частей. На опушку лѣса вынеслась батарея и открыла огонь по редуту; за N-мъ полкомъ остановился въ резервѣ другой какой-то полкъ, и съ боковъ также показались наши войска. Солдаты съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдили за увеличеніемъ нашихъ силъ и встрѣчали каждую прибывающую часть радостными восклицаніями.

— Наша артиллерія покажетъ ему! разсуждали въ лежащей за бугоркомъ кучкѣ.

— Гляди! гляди! вонъ еще кавалерія назади, надо-быть, казаки...

— Сказываютъ, „онъ“ страсть боится казаковъ.

— А какъ же они теперича дѣйствовать будутъ? имъ на валъ не взлѣзть...

— А они опосля — кавалерія завсегда опосля — наши, значить, выбьютъ „его“ оттедова, а они догонять будутъ...

Началось движеніе въ атаку перебѣжками. Первая перебѣжка прошла благополучно; остановились перевести духъ и снова пустились бѣжать. При каждой перебѣжкѣ Куликовъ подымалъ вверхъ ружье и бѣжалъ, что есть духу, впереди всѣхъ; находя каждый разъ удобную ложбинку, онъ залегалъ въ нее и приглашалъ туда же товарищей.

— Сюда! сюда, братцы! залегай! залегай! вотъ такъ!... теперича пущай его стрѣляетъ... кричалъ онъ подбѣгавшимъ товарищамъ, и они слушались его.

Сусла Ивановичъ, которому полнота не позволяла бѣжать рядомъ съ Куликовымъ, не слушалъ его и постоянно перебѣгалъ линію, чтобы сократить слѣдующую перебѣжку.

— Вали! вали! суетился Купья, помогая фельдфебелю присматривать за отсталыми.

Во время второй перебѣжки рота лишилась уже нѣсколькихъ человѣкъ, а послѣ третьей—солдаты съ ужасомъ увидѣли, что ихъ любимого фельдфебеля между ними уже нѣтъ. „Гдѣ Леонъ Павловичъ? гдѣ?“ слышалось со всѣхъ сторонъ. Его увидѣли лежащимъ шагахъ въ сорока сзади роты; онъ видимо порывался встать, но не могъ; двое изъ солдатъ подбѣжали къ нему и, вставъ на колѣни, начали перевязывать рану. Фельдфебель сталъ сердиться и посылать ихъ къ ротѣ, но скоро лишился чувствъ и былъ перенесенъ ими на перевязочный пунктъ.

Уже рота лишилась болѣе сорока человѣкъ и была въ двухстахъ шагахъ отъ редута, когда пронесся слухъ, что сосѣднимъ полкомъ отбито передовое турецкое укрѣпленіе. Надо было рѣшиться сдѣлать эту послѣднюю перебѣжку, не останавливаясь, и перебраться черезъ глубокій ровъ, чтобы штыками выбить непріятеля изъ главнаго укрѣпленія; но впереди было такъ мало людей, что отважиться на такое предпріятіе было безуміемъ. Благоразуміе требовало нѣсколько выждать, пока соберутся остальные части. Къ N-й ротѣ, которая залегла за небольшимъ бугромъ, стали быстро присоединяться люди другихъ ротъ, а также и другихъ полковъ. Собралось человѣкъ пятьсотъ, которые не могли всѣ укрыться за небольшимъ закрытіемъ, а потому задніе стали сильно страдать отъ выстрѣловъ. Вдругъ гдѣ-то въ сторонѣ послышалось „ура!“ и быстро пронеслось по всей линіи. Сквозь густой дымъ едва можно было замѣтить, что къ редуту бѣгутъ люди.

— Да это наши побѣгли!... э! чортъ! урра!! закричалъ вдругъ Сусла, весь раскраснѣвшійся и въ поту, и

тотчасъ же всѣ увидѣли на холмѣ его тучную, неуклюжую фигуру.

Купья и Куликовъ, молчавшіе въ это время отъ сильной усталости, не заставили себя ждать.

— Ну, разомъ, братцы! закричалъ Куликовъ, догоняя Суслу.

Купья уже не слѣдилъ въ эту минуту за товарищами, а думалъ только о себѣ. Онъ быстро присоединился къ Куликову и Суслѣ. Увлекаемая этими тремя человѣками, толпа заколыхалась и въ безпорядкѣ побѣжала къ редуту. Во рву уже были наши и по крутой брешіи взбирались на брустверъ; тамъ шла рукопашная свалка нѣсколькихъ человѣкъ съ сотнями. Весь запыхавшись, Сусла протискался между ними и самъ началъ работать штыкомъ; взбирался по брешіи, онъ немилосердно расталкивалъ своихъ, чтобы и ему дали мѣсто поработать... Вотъ уже наши вступили внутрь редута и тамъ опять встрѣтились съ нашими же, которые подошли съ другой стороны. Въ редутѣ происходила невообразимая сумятица: одни турки отчаянно отбивались, другіе становились на колѣни и просили пощады; шалаши въ это время горѣли, подоженные нашими снарядами, и взрывались ящики съ патронами, рани своихъ и чужихъ.

Сусла работалъ направо и налѣво прикладомъ, подбираясь къ той кучкѣ непріятелей, гдѣ виднѣлся турецкій значокъ.

— Знамя! знамя! хватай, ребята! закричало нѣсколько человѣкъ; но Сусла никому не уступилъ знамени; онъ первый схватилъ его и крѣпко держалъ, чтобы не вырвали. Множество рукъ потянулось къ знамени и всю матерію разорвали въ клочки; но древко все-таки оставалось у Суслы, и онъ держалъ его изо-всей силы.

— Наше! наше знамя! это мы отбили! кричали люди другого полка, желавшіе присвоить себѣ этотъ трофей.

— Мое! мое! кричалъ тутъ же вертѣвшійся Куликовъ,

расталкивая окружавшую Суслу толпу. Въ это время никто и не думалъ о томъ, что турки продолжаютъ еще стрѣлять, и что наши, обстрѣливая непріатели со всѣхъ сторонъ, попадаютъ по неосторожности въ нашихъ же. Нѣсколько человѣкъ, пристававшихъ къ Суслѣ за знаменемъ, были въ



теченіе нѣсколькихъ секундъ ранены; самъ Сусла не избѣгъ этой участи.

— Охъ! схватился онъ вдругъ рукою за бокъ, пораженный пулею въ бедро. Другой рукой онъ машинально продолжалъ держать еще знамя.

— Отдашь или нѣтъ?! неистово накинулся на него Куликовъ.

— На! отвяжись! сказалъ Сусла, какъ бы опомнившись, и въ изнеможеніи опустился на землю. Куликовъ ловко выскользнулъ съ древкомъ отъ толпы и побѣжалъ прямо къ ротному командиру.

— Ваше высокоблагородіе! трахвею (трофей) отняли! извольте получить... Я первый отбилъ.

— Молодецъ! спасибо! доложу генералу! сказалъ обрадованный ротный командиръ.

Черезъ полчаса уже всему отряду было извѣстно, что рядовой Куликовъ отличился. Всѣ стали поздравлять его; изъ другихъ полковъ приходили даже на него смотрѣть, какъ на одного изъ главныхъ героевъ славнаго дѣла; товарищи, которые не догадывались о настоящемъ героѣ, носили Куликова на рукахъ, подымали на воздухъ и кричали ему „ура!“

Куликовъ былъ въ оцѣнѣніи отъ тѣхъ почестей, которыя ему воздавали; но совѣсть—этотъ невѣдомый и тайный судья—скоро постучалась въ его сердце и омрачила радость. Цѣлую ночь послѣ того Куликовъ не спалъ: ему все грезились бѣдный, поверженный на землю и истекающій кровью товарищъ, которому онъ даже не подалъ помощи. „Живѣли онъ? перевязали-ли ему рану?“ думалъ Куликовъ, и сердце его сжималось мучительной болью.

Черезъ нѣсколько дней послѣ описаннаго дѣла мнѣ пришлось посѣтить тотъ госпиталь, въ которомъ лежалъ раненый Сусла. Я едва узналъ его, такъ онъ перемѣнился въ нѣсколько дней. Онъ лежалъ въ большомъ шатрѣ рядомъ съ другими ранеными въ этомъ же дѣлѣ. Волосы у него были растрепаны, лицо осунулось, глаза ввалились и потускнѣли; только большіе черные усы да пріятное выраженіе лица напоминали прежняго Суслу; даже постоянная его улыбка теперь совершенно исчезла, а вмѣсто нея видѣлись какія-то болѣзненные морщины. Несмотря на все это, онъ все-таки

слабыми, исхудалыми руками набивалъ свою трубочку и съ наслажденіемъ курилъ ее. Я засталъ его именно за этой работой, и онъ привѣтливо улыбнулся моему приходу. Я поздоровался съ нимъ, спросилъ о его ранѣ, а также и о томъ—не нуждается ли онъ въ чемъ-нибудь въ госпиталѣ.

— Давеча было лучше, а теперича опять заломило, отвѣчалъ онъ слабымъ, какъ будто женскимъ голосомъ:—кабы ни опухъ, то ничаво, а то опухъ большой...

— Не нуждаешься ли ты въ чемъ-нибудь?

— Нѣтъ... ничаво: въ госпиталѣ довольствіе хорошее... Табачку дали... сказалъ онъ, показывая кисеть и улыбаясь.

Мнѣ уже было въ то время извѣстно, что знамя взялъ не Куликовъ, а онъ. Я долго не спрашивалъ его объ этомъ, ожидая, что онъ заговоритъ самъ, но онъ и не думалъ объ этомъ вспоминать.

— Говорятъ, ты знамя взялъ, которое досталось потомъ Куликову?

При этомъ вопросѣ Сусла не выразилъ рѣшительно никакого волненія.

— А я-жь... отвѣчалъ онъ совершенно спокойно.

— Такъ что-жь ты молчишь? объ этомъ заявить надо: за что-жь Куликовъ получить вмѣсто тебя Георгія?

— Его счастье... отвѣчалъ Сусла:—кабы меня не поранили, то я бы не отдалъ знамени, самъ бы представилъ начальству; а то, значить, его счастье, что меня поранили... Опять же Куликовъ не изъ трусовъ, ему слѣдуетъ Егорія...

— Но во всякомъ случаѣ и тебѣ же слѣдуетъ получить крестъ.

— А можетъ, дастъ Богъ, я еще заслужу... Вотъ кабы не опухъ,—опухъ большой, двинуть ногой невозможно; а то я бы скоро и на поправку пошелъ... Тутъ страсть скучно, особливо, когда знаешь, что полкъ впередъ уйдетъ...

— Ну, ничего—дастъ Богъ скоро поправишься.

Сусла задумался.

— А что, ваше высокоблагородіе, сказываютъ турокъ совсѣмъ одолѣли? и по сусѣдству забрали редутъ?

— Да, уже нѣсколько дней, какъ покончили. Теперь въ нашемъ мѣстѣ только одна Плевна осталась.

— То-то, я все думалъ объ этомъ...

Я хотѣлъ проститься съ Суслой, но онъ остановилъ меня просьбой.

— Нельзя ли, ваше высокоблагородіе, будьте милостивы: меня хотятъ отправить въ Румынію... Какъ же теперича, ежели я оправлюсь? мнѣ тогда и полка не догнать... Попросите доктора...

Я простился съ Суслой и съ удовольствіемъ пошелъ исполнить его просьбу, тѣмъ болѣе что мнѣ самому хотѣлось повидать доктора, чтобы справиться о состояніи раненаго. Я встрѣтилъ доктора при выходѣ изъ шатра, и первый мой вопросъ былъ о томъ, не опасно-ли раненъ Сусла?

— Который? спросилъ докторъ:—въ этомъ шатрѣ все лежатъ легко раненные; только тотъ, что съ усами, вѣроятно, не выздоровѣетъ: у него гангренозная опухоль.

Я передалъ доктору просьбу раненаго и въ раздумьи пошелъ на бивуакъ. Привлекательный образъ Суслы долго стоялъ передо мной, и мнѣ было невыразимо жаль этого человека. Въ его простой, неиспорченной натурѣ было много чуднаго и загадочнаго: казалось онъ былъ вполне доволенъ своей судьбой и ничего особеннаго ни отъ жизни, ни отъ людей не требовалъ, самъ же онъ готовъ былъ отдать все ради долга, не исключая жизни, и дѣлалъ это не только безропотно, но съ какимъ-то особеннымъ наслажденіемъ. Страдая отъ раны, онъ нисколько не жаловался на несправедливость судьбы: онъ только сожалѣлъ о томъ, что она отняла у него возможность принести еще нѣсколько безкорыстныхъ жертвъ.

Наканунѣ выступленія нашего отряда къ Балканамъ я посѣтилъ наше новое, въ нѣсколько дней выросшее кладбище.

Тамъ, на зеленомъ холмѣ, недалеко отъ брода черезъ рѣку Виддь, стояли въ числѣ другихъ двѣ новыя, недавно насыпанныя могилы. Въ одной изъ нихъ лежалъ фельдфебель Красный, въ другой — нашъ милый, незабвенный Сусла. Долго стоялъ я въ раздумьи около этихъ свѣжихъ могилъ. Я думалъ о томъ, какъ каждый изъ насъ дорожить тѣмъ, чтобъ не отстать отъ полка, чтобъ не пропустить ни одного дѣла; а между тѣмъ полкъ долженъ былъ двигаться къ Балканамъ и готовиться къ новымъ боямъ. „Скучно вамъ здѣсь лежать оторванными отъ полка, мои милые друзья, мои дорогие храбрые товарищи“, подумалъ я, поклонившись ихъ праху.



ЗНАМЕНЩИКЪ ИВАНЪ МАТВѢИЧЪ.

(Этюдъ).



Въ нѣкоторыхъ полкахъ есть почтенные старики изъ солдатъ. Ихъ немного, но они даютъ окраску полковому строю. Начальство ихъ любить и уважаетъ; солдаты почитаютъ; а художники — люди чуткіе ко всему, касающемуся сердца человѣческаго, — изображаютъ ихъ на первомъ планѣ картинъ, представляющихъ юбилеи, парады, маневры, сраженія и всякіе выдающіеся эпизоды полковой жизни.

Видъ у этихъ стариковъ всегда бодрый, взглядъ степенный, выправка „николаевская;“ въ манерахъ, въ выраженіи лица и во всѣхъ поступкахъ замѣтна какая-то втянутость въ военную службу, преданность своей части, гордость своимъ служебнымъ положеніемъ. Это люди въ большинствѣ случаевъ не искательные, можно сказать, примирившіеся съ своей судьбой и даже довольные своей участью. Для нихъ служба — родная стихія; полкъ — семья; казармы — насиженное гнѣздо; начальство — „свой господа“; Царь — отецъ и благодѣтель, а ласковое слово Царя — величайшая награда за многолѣтнюю службу. Къ такимъ старикамъ принадлежитъ знаменщикъ

Иванъ Матвѣичъ. Честь носить, сначала батальонное, а затѣмъ (по новому положенію) и полковое знамя, получилъ онъ, какъ старѣйшій изъ унтеръ-офицеровъ, не попавшихъ въ фельдфебеля. Почему не попалъ Иванъ Матвѣичъ въ фельдфебеля, объ этомъ надо спросить не нынѣшняго ротнаго командира, а, вѣроятно, служившаго четверть вѣка тому назадъ, потому что Иванъ Матвѣичъ теперь уже человѣкъ весьма пожилой. Мы, впрочемъ, догадываемся о причинѣ такой немилости, какъ по самому характеру Ивана Матвѣича, такъ и по историческимъ справкамъ о развитіи нашей войсковой школы. Намъ кажется, что при всемъ своемъ служебномъ усердіи, старикъ не былъ достаточно ловокъ и предусмотрителенъ, а именно: — не умѣлъ во-время встрѣтить посѣщающее роту начальство; сыпнуть песочку ему подъ ноги; зажечь лампу, которой полагается горѣть, но которая не зажигается изъ-за экономіи; одѣть чистый фартукъ на кашевара; поставить браваго дневальнаго для отпирания начальству дверей и для громкаго отвѣта на привѣтствіе и т. д. Вообще же онъ не умѣлъ водворить въ ротѣ добрый воинскій духъ, заключающійся въ хорошо подрепетированныхъ молодецкихъ отвѣтахъ на обычные начальническіе вопросы; главнымъ же образомъ—въ удареніи на „во“ въ отвѣтъ: „здравія желаемъ, ваше превосходительство!“

Такимъ образомъ карьера Ивана Матвѣича закончилась полученіемъ третьей нашивки и должностью взводнаго, въ которой онъ состоялъ недолго, а именно до введенія скорострѣльнаго оружія, грамотности и тому подобныхъ вещей, до которыхъ, по правдѣ сказать, Иванъ Матвѣичъ не былъ большимъ охотникомъ. Его замѣнилъ взводный новаго типа, шустрый грамотей, умѣющій изъ нитки дѣлать траекторію и знающій почти наизусть всѣ рассказы изъ тогдашней книжки для солдатскаго чтенія, гдѣ рассказъ о суслигѣ, въ виду особаго воспитательнаго значенія, занималъ подобающее ему мѣсто. Читатель навѣрно догадывается, что мы говоримъ

о томъ времени, когда военныя школы совершенно еще не были знакомы съ трудами гг. Абаза и „Стараго ротнаго командира“ и когда мысль объ изданіи такого „Наставленія для стрѣльбы“, какимъ войска пользуются теперь, могла бы показаться очень вредной утопій.

Однако Ивана Матвѣича начальство любило и потому не обидѣло; его назначили на должность, гдѣ вмѣсто „словесности“, звуковыхъ методовъ и всякихъ новшествъ, требовался добрый и честный служака. Ему, какъ мы уже сказали, выпала честь подымать знамя во всѣхъ случаяхъ, когда полкъ сгруппировывается подъ его сѣнью, какъ въ мирное, такъ и въ военное время.

Кто любитъ свой полкъ, тотъ не можетъ не питать уваженія къ живымъ памятникамъ его исторіи. Къ Ивану Матвѣичу, отмахавшему три похода: севастопольскій, польскій и турецкій, офицеры относились съ большимъ почтеніемъ и симпатіей, и потому совершенно игнорировали нѣкоторые его недостатки. Собственно говоря, этихъ недостатковъ было немного; главный изъ нихъ заключался въ томъ, что этотъ одинокій престарѣлый воинъ каждый праздникъ начиналъ благолѣпіемъ, а кончалъ, какъ выражаются солдаты, „выпимши“. Въ церкви Иванъ Матвѣичъ стоялъ чинно, молился усердно, прикладывался ко всѣмъ иконамъ и всегда уходилъ послѣднимъ, дожидаясь священника, къ которому со словами: „здравія желаемъ, батюшка!“ протягивалъ руку за благословеніемъ; но въ два часа дня его уже можно было встрѣтить бредущаго тихими, неуверенными шагами изъ сосѣдняго кабачка въ казармы. Настоящаго вида подгулявшаго человѣка у Ивана Матвѣича никогда не было; напротивъ,—онъ смотрѣлъ степенно и серьезно; но его выдавали два обстоятельства: во-первыхъ, инстинктивное тяготѣніе къ стѣнкамъ домовъ, которыя всегда манятъ къ себѣ человѣка, не надѣющагося сохранить равновѣсіе; во-вторыхъ—необычай-

ное усердіе въ отданіи чести, которую старикъ откалывалъ на образецъ всякому трезвому человѣку и, не признавая послабленій, рекомендуемыхъ новымъ гарнизоннымъ уставомъ, становился во фронтъ всѣмъ безъ исключенія оберъ-офицерамъ.

Каждый встрѣчающійся офицеръ считалъ своей обязанностью поздороваться со старикомъ, сказать ему нѣсколько привѣтливыхъ словъ.

— Здравствуй, Иванъ Матвѣичъ!

— Здра... здрав... здравія желаю, ваше высокоблагородіе!

— Что? выпилъ немножко?

— Ника... ника... никакъ нѣтъ, ваше высокоблагородіе!!

И офицеръ нисколько не боится услышать грубость со стороны Ивана Матвѣича, потому что навѣрное знаетъ, что никакая водка не въ состояніи поколебать желѣзной дисциплины этого человѣка.

Пропустивъ офицера, Иванъ Матвѣичъ старается по формѣ повернуться направо съ бойкимъ приставленіемъ ноги, и если нога не слушается, то онъ снова поворачивается во фронтъ и дѣлаетъ ей репетицію, приговаривая: „ну, ну, — вотъ такъ! теперь хорошо!“ Послѣ удачной репетиціи онъ набирается самоувѣренности и продолжаетъ идти прежнимъ степеннымъ шагомъ, привѣтливо прикладываясь встрѣчающимся и отдающимъ ему честь рядовымъ; въ противномъ же случаѣ — начинаетъ самъ себя ругать и продолжаетъ непрерывно ворчать до самаго того времени, когда уляжется спать.

Отношенія Ивана Матвѣича къ молодымъ товарищамъ были самыя хорошія: люди его любили и онъ ихъ любилъ, несмотря на то, что постоянно на нихъ ворчалъ, особенно, когда бывалъ „подъ хмѣлькомъ“.

— Что это за служба? Нѣшто это служба называется!... Нонѣ на животъ, завтра на голову жалитесь, а тамъ ищо

пакость нѣкая приключится, грѣхотворная... Распустились совсѣмъ! управы на васъ нѣту... да!... приставалъ старикъ иногда, безъ всякаго повода, къ совершенно смирнымъ солдатамъ.

— Дядя Матвѣичъ бормочутъ что-то, — надо быть, выпимши, замѣчалъ кто-нибудь изъ людей.

— Что-жъ, что выпимши, останавливалъ его товарищъ, — почто имъ и не пить: они старики.

Трогательнѣе всего были отношенія между Иваномъ Матвѣичемъ и солдатикомъ, который ему постоянно прислуживалъ. Звали этого солдатика Талый, а солдаты переименовали его въ Талюшку; такъ онъ вызывался и на перекличкѣ. Возвращаясь изъ кабачка, Иванъ Матвѣичъ бранилъ его немилосердно, а иногда дѣлалъ и отеческія внушенія въ видѣ подзатыльниковъ, а Талюшка въ это время раздѣвалъ его и укладывалъ отдыхать, не обращая никакого вниманія на воркотню.

— Ну-те, дядя, ложитесь уже, — довольно... говорилъ иногда Талюшка какимъ-то сыновнимъ тономъ.

— И то ложусь... успокоивался Иванъ Матвѣичъ. — Талюша! а Талюша! Ты на меня не сердишься?

— Что мнѣ на васъ сердиться: вы старики.

— Нѣтъ, ты вотъ что: ты прости мнѣ, ежели я, значить, согрубилъ...

— Да ну-те, отстаньте, — завсегда разжалобите... говорилъ обыкновенно Талюшка, поднося руку къ своимъ груповатымъ, но симпатичнымъ глазамъ.

Знаменнику въ полку, собственно говоря, дѣла не много. Молодые знаменщики обыкновенно завѣдуютъ взводами; стариковъ же отъ этого освобождаютъ. Но Иванъ Матвѣичъ былъ хорошій сапожникъ въ солдатскомъ смыслѣ этого слова: шилъ грубо, но крѣпко, какъ и полагается для солдатъ; а потому его назначили старшимъ надъ ротными сапожниками. Какъ теперь, вижу его почтенную фигуру, сидящую на при-

вилегированномъ „дядиномъ табуретѣ“; на носу у него какіе-то древнія, совершенно круглыя очки, какихъ теперь не сыщешь ни въ какомъ оптическомъ магазинѣ; работаетъ онъ не торопясь; управляетъ щетинкой съ какими-то относящимися къ ней междометіями и постоянно ворчитъ на сапожниковъ за медленную работу, несмотря на то, что они работаютъ вдвое скорѣе его; но тѣмъ не менѣе сапожники его слушаются и почитаютъ; за совѣтами же не обращаются, потому что Иванъ Матвѣичъ любитъ давать совѣты краткіе и малопонятные, а выговоры за неумѣніе дѣлаетъ продолжительные.

Иногда, прохаживаясь по ротѣ и видя, какъ офицеръ внушаетъ „словесность“ новобранцамъ, Иванъ Матвѣичъ останавливается въ почтительной позѣ и съ какой-то хитрецей прислушивается къ бойкимъ, заученнымъ отвѣтамъ.

— Что ты, Иванъ Матвѣичъ? спрашиваетъ офицеръ.

— Хм.... Дивуюсь, ваше высокоблагородіе.

— Чему же ты дивуешься?

— Такъ что, ваше высокоблагородіе, больно ужъ нонѣ солдатъ на языкъ прытокъ сталъ отъ этой, значить, „словесности“....

— Да вѣдь надо же изучать обязанности? Какъ ты думаешь?

— Такъ что, ваше высокоблагородіе, осмѣлюсь вамъ доложить: въ наше время не хуже знали обязанности, а солдатскаго разговору только и было: „здравія желаемъ, счастливо оставаться, такъ точно, никакъ нѣтъ, рады стараться, виноватъ и покорнѣйше благодаримъ“; а теперича ты ему слово скажешь, а онъ тебѣ цѣлую сказку натараторить.... Одно баловство, ваше высокоблагородіе.

— Теперь не то время, Иванъ Матвѣичъ,—да и наука не та.

— Что-жъ, ваше высокоблагородіе, — развѣ въ этомъ наука? Нонѣ солдатъ куда хуже нашего сталъ: зябокъ сталъ,

все на болѣсть жалится; а какая въ ѣмъ, къ примѣру сказать, болѣсть? Одна отвычка отъ погоды—только и болѣсти всей есть... Нѣтъ,—по-нашему, по-стариковскому, пропереть бы его замѣсто этой самой „словесности“ верстѣ за двадцать, да въ морозецъ хорошій, — онъ бы и здоровъ былъ, и застрѣльщикомъ хорошимъ сталъ бы,—ко всякой, значить, погодѣ могъ бы съ ружьемъ пріобыкнуть... А то можно и на двѣ стороны разбить, — тогда-бъ и ко врагу приспособился...

Всѣ люди въ ротѣ, не исключая и фельдфебеля, были малышами въ то время, когда Ивану Матвѣичу начинался шестой десятокъ, а потому всѣ привыкли уважать его и даже за глаза называли дядей, а вмѣсто „онъ“ говорили „они“. Самъ же Иванъ Матвѣичъ, какъ человѣкъ Николаевской дисциплины, не позволялъ себѣ шевельнуть пальцемъ при разговорѣ съ офицеромъ; фельдфебеля же иногда не слушался и даже частенько грубилъ ему.

Если рота выходила на ученіе безъ знамени, то Иванъ Матвѣичъ, по своей охотѣ, становился за отдѣленнаго въ первый взводъ.

— Дядѣ оставлять мѣсто? спрашивалъ въ такихъ случаяхъ взводный фельдфебеля.

— Дядѣ? переспрашивалъ обыкновенно фельдфебель. — А кто ихъ знаетъ: пойдутъ, чи нѣтъ?... И не допросишься у нихъ толкомъ... Эй! Даниловъ! Поди спроси!

Шустрый посыльный ефрейторъ, передавая товарищу ружье, бросается въ припрыжку къ тому углу, гдѣ живетъ дядя.

— Стой! не надо! останавливаетъ его фельдфебель. — Нонѣ ученіе трудное; надо ихъ ослобонить...

— Чего финтишь-то?! Финтишь-то чего?! вдругъ раздается изъ того угла, гдѣ Талюшка одѣваетъ Ивана Матвѣича.—Вишь указчикъ какой нашелся!... Самъ знаю—идти или не идти...

Черезъ нѣсколько времени появляется и самъ Иванъ Матвѣичъ; идетъ онъ мѣрно, не торопясь, и подойдя къ фронту, сердито выталкиваетъ локтемъ отдѣленнаго, котораго вмѣсто него поставили.

Долго потомъ Иванъ Матвѣичъ дуется на фельдфебеля за неуваженіе, и фельдфебель покоряется, и даже начинаетъ у него заискивать, пока не получить прощенія. Такъ совѣтуютъ ему поступать и всѣ унтеръ-офицеры, которые очень любятъ Ивана Матвѣича.

— Что ихъ обижать: они старики.

Въ мирное время весьма рѣдки вдохновляющія военныя картины; въ походѣ же онѣ идутъ непрерывно одна за другой, наполняя воображеніе свѣтлыми образами, которые заставляютъ насъ глубже вглядываться въ нашу духовную природу и влекутъ куда-то высоко—къ иному счастью, не имѣющему ничего общаго съ мелкими интересами нашей обыденной жизни.

Первою изъ картинъ, послужившихъ для насъ началомъ военной эпопеи 1877—1878 годовъ, представилось намъ молебствіе подъ открытымъ небомъ, когда весь полкъ, въ военномъ составѣ, выстроился вокругъ аналоя, внимая молитвѣ о дарованіи побѣды. Все въ этой картинѣ казалось свѣтлымъ, вдохновляющимъ: на всѣхъ лицахъ было замѣтно безпокойно-радостное волненіе; чувство разлуки съ родными пересиливалось тяготѣніемъ къ военной силѣ, которая въ эту минуту казалась дѣйствительно сплоченной... Какое-то всепрощеніе чувствовалось среди людей, приготовляющихся къ великому и невѣдомому дѣлу: командиръ казался примиреннымъ со всѣми нашими недостатками и совершенно своимъ человѣкомъ; на лицахъ товарищей можно было прочесть искренній, глубоко душевный братскій привѣтъ и участіе; ваши люди ловили вашъ взглядъ и какъ бы рвались къ вамъ, желая доказать свою преданность, и вы чувствовали, что отъ строя вашей роты что-то счастливое передается въ ваше

сердце; это было сознаніе, что все это свое, родное, полковое... Лицо священника казалось вамъ въ эту минуту праздничнымъ; пѣніе—необычайно благолѣпнымъ; а ризы, развѣваемые вѣтромъ, также какъ и колыхающіяся полотна знаменъ (ихъ было тогда четыре) напоминали вамъ что-то необычайно торжественное, видѣнное когда-то въ дѣтствѣ...

Фигура Ивана Матвѣича, стоящая въ центрѣ этой картины, глубоко врѣзалась въ моей памяти. Серьезный, степенный, со сдвинутыми прилично случаю бровями, онъ поддерживалъ знамя одной рукой, а другой медленно крестился и чинно кланялся послѣ cadaго возгласа священника. Я запомнилъ двѣ рѣзкія черты на его сосредоточенномъ лицѣ, идущія по сторонамъ носа, которыя почему-то казались мнѣ необходимыми въ этой обстановкѣ, и большую волнистую бороду, заканчивающуюся двумя тонкими концами, которые вѣтеръ игриво разсыпалъ по его погонамъ. Еще помню симпатичную щетинку на головѣ Ивана Матвѣича, которая, также какъ и борода, была не бѣлаго, а особаго пепельнаго цвѣта—характерный цвѣтъ старыхъ солдатскихъ головъ, которыя, вопреки требованіямъ времени, не бѣлѣютъ и не плѣшивѣютъ.

Казалось, что все въ этой картинѣ было на своемъ мѣстѣ, и не будь здѣсь Ивана Матвѣича, намъ непременно было бы грустно: мы сжились съ нимъ, привыкли его видѣть во всѣхъ торжественныхъ случаяхъ и потому не могли даже вообразить, какъ это полкъ выступить въ походъ безъ Ивана Матвѣича.

Далѣе Иванъ Матвѣичъ представляется мнѣ въ цѣломъ рядѣ военныхъ картинъ. Вотъ онъ ходитъ по биваку и подбадриваетъ молодежь наканунѣ дѣла. Онъ непременно требуетъ, чтобы пѣли пѣсни, шутить, размахиваетъ въ тактъ поющимъ руками и говорить какія-то веселыя присказки,

которыхъ никогда прежде не говорилъ и какъ будто нарочно припасъ ихъ для похода. Все это онъ дѣлаетъ съ цѣлью развлечь задумывающуюся молодежь, стоящую бивакомъ, вдали отъ родины, въ холодномъ и безпріютномъ полѣ, которое, можетъ быть, завтра обогрится кровью и невѣдомо кого, изъ сидящихъ здѣсь, скроетъ навѣки въ своихъ нѣдрахъ... Но если бы Иванъ Матвѣичъ не шутилъ, не баловался съ солдатами, а просто ходилъ по биваку, обнаруживая свое присутствіе, то и то уже много бы значило, ибо онъ былъ однимъ изъ главныхъ звеньевъ той семейной цѣпи, въ которой кроется секретъ дружнаго военного натиска. Старикъ былъ „свой“, любимый, уважаемый, и потому его присутствіе вносило уютность въ непривѣтливую бивачную обстановку и благотворно дѣйствовало на нервы въ минуту опасности.

Въ другой картинѣ представляется мнѣ рота, наступающая бодрымъ шагомъ. Иванъ Матвѣичъ несетъ сзади знамя и тоже бодрится, но нѣсколько отстаетъ и по временамъ подбѣгаетъ. Рота идетъ браво, несмотря на то, что уже стали посвистывать пули.

— Ничего, братцы... и дядя здѣсь... весело замѣчаетъ одинъ изъ молодыхъ солдатъ, и нѣсколько безпокойныхъ, но привѣтливо улыбающихся лицъ оборачиваются къ Ивану Матвѣичу.

— Ну, ну, ну, малыши! смотри у меня... привѣтливо говоритъ Иванъ Матвѣичъ, но голосъ его обрывается: граната шлепнулась въ десяти шагахъ отъ роты, и никто не успѣлъ опомниться, какъ уже всѣ пошли въ беспорядкѣ. Человѣкъ десять подались назадъ и пошли въ одиночку. Иванъ Матвѣичъ становится страшенъ въ эту минуту: кричить, грозить древкомъ, кого-то догоняетъ и хочетъ ударить, и не успокоивается до тѣхъ поръ, пока всѣ отсталые входятъ въ свои ряды.

— Черти трекляты!!! трекляты черти!! онафемы!! кричитъ онъ какимъ-то страшнымъ, надтреснутымъ старческимъ

голосомъ, который, подобно проклятію родителей, поражаетъ все существо человѣка.

Стыдъ и жалость къ старику чувствуется въ сердцахъ людей, вызвавшихъ эту сцену, и это чувство беретъ перевѣсъ надъ чувствомъ самосохраненія и даже надъ трусостью.

Въ слѣдующей картинѣ Иванъ Матвѣичъ представляется мнѣ раненымъ. Страдая отъ боли, онъ какъ-то нервно стискиваетъ въ своихъ рукахъ древко знамени и никому не хочетъ передать его, потому что онъ сжился съ нимъ и слилъ свой духъ съ его высокимъ внутреннимъ значеніемъ. На всѣ просьбы товарищей онъ гнѣвно отвѣчаетъ: „чего обрадовались? Я живъ еще!“ Но дисциплина беретъ свое. Онъ отдаетъ знамя по приказанію офицера и, ложась на носилки, посылаетъ упреки своимъ товарищамъ.

По возвращеніи съ похода Иванъ Матвѣичъ выздоровѣлъ отъ раны и снова получилъ знамя. Передача совершилась при торжественной обстановкѣ. Старикъ заплакалъ и на глазахъ всего полка благоговѣнно приложился къ клочкамъ матеріи, видѣвшимъ бури и непогоды въ теченіе многихъ десятковъ лѣтъ.

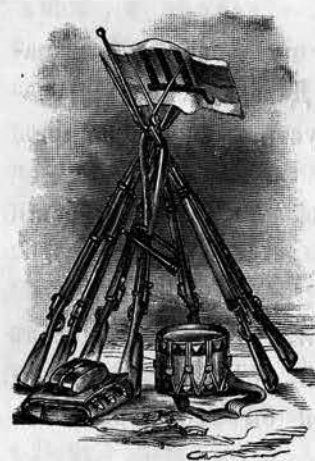
Но не долго Ивану Матвѣичу пришлось носить полковое знамя. Черезъ годъ, по его собственнымъ словамъ, онъ „маленько палъ на ноги“. Въ дѣйствительности же онъ сталъ совсѣмъ неспособенъ для строя, и вотъ уже шесть лѣтъ, какъ онъ ушелъ изъ полка.

Гдѣ же теперь Иванъ Матвѣевичъ? Живъ-ли онъ? Не только живъ, но и бодро несетъ службу въ Императорскомъ эрмитажѣ и на часахъ у памятниковъ. Бѣда у него все та-же: ноги не могутъ ступать больше, какъ четверть шага.

Если читателю случится встрѣтить караулъ, степенно идущій по панели невзвоенными рядами и мѣрно покачивающій своими медвѣжьими, надвинутыми на пепельныя брови шапками, — и если этотъ почтенный караулъ будетъ черезъ каждые пятьдесятъ шаговъ останавливаться, поджидая отсталого, усиливающегося подбѣжать товарища, — то я со-вѣтую взглянуть въ этого маститаго гренадера, чтобы рѣ-шить, вѣрно-ли онъ изображенъ въ нашемъ этюдѣ.



УЧИТЕЛЬ ВОЙТА.



Ефрейторъ Войта, или дяденька Войта, какъ называли его новобранцы, былъ феноменальный чухонецъ, мало похожій на „веекъ“, снабжающихъ „ливками“ бѣдное население Петербурга. Правда, онъ былъ бѣлобрысый и имѣлъ типичный раздвоенный носъ, свойственный сынамъ этого убогаго племени, но за-то былъ не менѣе двѣнадцати вершковъ роста, держался стройно, смотрѣлъ молодцовато и пока не открывалъ рта, могъ быть принятъ за человѣка выросшаго вдали отъ финскихъ болотъ. Словомъ, Войта представлялъ странную игру природы: глядя на него, рѣшительно нельзя было предположить, что его родила сутуловатая, грязная, блѣдная и вообще изможденная чухонка, питающаяся селедкой и картофелемъ. Мы думаемъ, что Войта былъ воспитанникомъ, т. е. однимъ изъ питомцевъ Воспитательнаго дома, которыхъ чухны выращиваютъ въ своихъ деревняхъ. Но почему у этихъ воспитанниковъ, зачастую рождающихся брюнетами, волосы получаютъ характерный бѣлый цвѣтъ; почему носъ у нихъ непременно раздваивается на двѣ не симметричныя половинки и лицо пріобрѣтаетъ пастѣрское выраженіе — объ этомъ предоставляемъ судить комментаторамъ Дарвина.

Войта прибылъ въ полкъ вмѣстѣ со своими земляками и, какъ матѣрый волкъ, выдѣляющійся въ стаѣ обыкновенныхъ волковъ, обратилъ на себя общее вниманіе охотниковъ, жаждавшихъ получить въ свою роту виднаго новобранца. Одѣтъ онъ былъ въ армякъ рыжевато-сѣраго цвѣта, тѣсный, короткий, подпоясанный плащевикомъ. На головѣ у него была большая шапка овчиннаго мѣха, тоже почему-то порывѣлая; на ногахъ огромные сапоги съ носками шириною не менѣе трехъ дюймовъ.

Появленіе Войты въ первой ротѣ, куда онъ былъ назначенъ, произвело нѣкоторую сенсацию. Дядька Денисовъ, славившійся своею способностью подшутывать новобранцевъ, сначала принялъ его за русскаго.

— А ты откуда, молодчина такой?... Какой губерніи будешь? спросилъ онъ Войту.

— Идѣшнэй (здѣшней).

— Братцы! да это нѣмецъ,—прѣ!... покотился Денисовъ со смѣху. — А изъ себя удалый какой!... Вотъ ужъ не думалъ... Ну, погоди маленько... какой бы тебѣ экзаментъ сдѣлать сейчасъ? Плясать умѣешь?

— Я (да)! кивнулъ головой Войта.

— А ну-ка, ну-ка,—попляши по-своему.

Войта подбоченился и, не снимая теплаго армяка, съ самымъ серьезнымъ видомъ сталъ выдѣлывать разныя *па*, въ которыхъ дома практиковался только въ пьяномъ видѣ. Готовность Войты безропотно переносить всѣ тягости службы сказала съ этого перваго шага: ручьи пота текли по его лицу и скатывались капельками по дорожкѣ раздвоеннаго носа, а онъ все продолжалъ плясать подъ хохотъ собравшихся солдатъ и безъ приказанія не смѣлъ остановиться.

— Ну, будетъ уже, будетъ,—потѣшилъ! ударилъ его по плечу Денисовъ.—Этакого, братцы, у насъ еще и не бывало,—прѣ!... Можетъ ты и пѣсню умѣешь пѣть?

— Я!

— А ну, валяй, валяй!... Потѣха, братцы!

Запыхавшійся новобранецъ, не вытирая пота, глубоко вздохнулъ и затянулъ громкимъ, визгливымъ голосомъ какую-то отчаянную пѣсню, въ которой, въ видѣ припѣва, часто повторялись выраженія: „гу-гу“ и „муси-муси“.

Солдаты покатывались со смѣху.

На другой день Войту привлекли къ занятіямъ. Дядька Денисовъ, какъ опытный педагогъ, отлично зналъ, что передъ занятіями полезно человека растормошить, т. е. заставить попрыгать или побѣгать. Отличнымъ средствомъ для этого служила въ ротѣ деревянная кобыла, къ которой были привлечены Войта и два его товарища по обученію, Папелюкъ и Шиловъ—люди пасмурные, скучавшіе по родинѣ. Денисовъ не безъ основанія полагалъ, что и для этихъ субъектовъ кобыла будетъ настолько обаятельна, что заставитъ ихъ забыть мать, отца, жену и вообще все домашнее; такое свойство, по мнѣнію дядекъ, имѣла эта удивительная гимнастическая машина.

При видѣ кобылы, отъ страстнаго желанія одолѣть ее, у Войты занялся духъ, ноздри расширились и лицо налилось кровью; страшно было смотрѣть на него въ то время, когда онъ плевалъ на руки, приготовляясь бѣжать: казалось, душа Войты рвется изъ его тѣла и непременно перелетитъ черезъ кобылу, даже и въ томъ случаѣ, если придется разстаться съ тѣломъ, т. е. оставить его мертвымъ по эту сторону. Съ перваго раза ни одному солдату не удастся исполнить этого прыжка, поэтому рѣшимость Войты была дѣйствительно страшна, и два пасмурныхъ его товарища, Папелюкъ и Шиловъ, предполагая, что Войта убьется, на всякій случай закрыли глаза. Немножко струхнулъ и Денисовъ.

— Стой! стой!... Не сразу. Погоди маленько! попробовалъ онъ остановить Войту, но было уже поздно.

Войта шарахнулся, какъ сумасшедшій, ударился животомъ о кобылу, чуть не свалилъ ее и перевалилъ свой мощ-

ный корпусъ на ту сторону. На полу онъ очутился на четверенькахъ; солдаты бросились подымать его, но онъ быстро всталъ и гордо обвелъ глазами окружающихъ. Здѣсь въ первый разъ увидѣли улыбку на лицѣ Войты; онъ былъ счастливъ какъ ребенокъ, и чувство соревнованія блистало въ его глазахъ, когда послѣ него стали прыгать его товарищи. Папелюкъ и Шиловъ подбѣгали къ кобылѣ нѣсколько разъ и, ударившись объ нее, уныло возвращались назадъ. Войтѣ стало жаль своихъ товарищей—и онъ началъ дѣлать какія-то ужимки плечами и головой, какъ бы помогая имъ подняться на воздухъ, но подъ конецъ разсердился и сталъ тихонько посылать имъ ругательства: „уу!.. цортъ!“

Съ такимъ же усердіемъ принялся Войта и за всѣ остальные занятія, при чемъ выказалъ феноменальную память при заучиваніи такъ-называемой „словесности“. Не умѣя произнести правильно ни одного русскаго слова, онъ запоминалъ каждую фразу, произнесенную дядькой, и такимъ образомъ въ два мѣсяца выучилъ наизусть всѣ обязанности, иногда вовсе не понимая ихъ смысла. Онъ до того наметался въ устныхъ отвѣтахъ, что не успѣешь предложить ему вопросъ, какъ онъ уже что-то скоро и отрывисто бормочетъ; такъ, напримѣръ, услыхавъ въ вопросѣ выраженіе „внутренняя служба“, онъ сейчасъ же начиналъ отвѣчать: „солдатъ долженъ точно и совѣстно (добросовѣстно) полнять сѣ ибя-занности, которыя у него злозены (на него возложены)“ и т. д.

Съ неменьшимъ усердіемъ относился Войта и ко всякой работѣ, и даже гордился, замѣчая, что на него наваливаютъ больше работы, чѣмъ на другихъ. Эти достоинства новобранца были тотчасъ же эксплуатированы: еще будучи молодымъ солдатомъ, онъ получилъ почетную должность, возлагаемую обыкновенно на одного изъ шустрыхъ ефрейторовъ—подбирать въ ротѣ всякій случайный мусоръ передъ входомъ въ нее начальства. Войта изобрѣлъ способъ наскоро прятать

этотъ мусоръ, разсовывая его по карманамъ, и съ шустростью птицы, собирающей зерна, схватывалъ валяющіяся на полу бумажки и другіе отброски въ то время, какъ шиканье или, такъ-называемый, солдатскій телеграфъ давалъ знать, что начальство тронулось по казармамъ.

Безъ всякаго принужденія Войта вызывался прислуживать не только своему дядькѣ, но и другимъ; онъ чистилъ имъ сапоги, пуговицы; а послѣ обѣда не ложился отдыхать, чтобы не опоздать съ заваркой чая. „Эй, Войта! живо!“ командовалъ Денисовъ, лежа на койкѣ съ задранными кверху ногами. Стукъ кулакомъ по столу означалъ, что на этотъ столъ долженъ быть поданъ чай. Схвативъ чайникъ, Войта какъ сумасшедшій кидался на кухню. Сбѣгая по лѣстницѣ внизъ, онъ шагаль черезъ ступеньку, а, подымаясь, отмѣривалъ сразу по три ступеньки и неистово ругался, если кто-нибудь загораживалъ ему дорогу; если же это было сопряжено съ пролитіемъ кипятка, Войта выходилъ изъ себя и заводилъ драку на лѣстницѣ. Ложась отдыхать, Денисовъ всегда приказывалъ Войтѣ, чтобы около его койки не было шума. Войта садился обыкновенно на табуреткѣ, у ногъ Денисова, и почему-то въ такихъ случаяхъ всегда читалъ свой лютеранскій молитвенникъ. Не отводя глазъ отъ молитвенника, онъ встрѣчалъ шиканьемъ каждаго проходящаго солдата, а если кто скрипѣлъ сапогами, Войта подымался и подавалъ знакъ рукой. Если же проходящій противился и нарочно начиналъ шумѣть, Войта догонялъ его и билъ по шеѣ.

Такія важныя достоинства Войты обратили на него вниманіе начальства, которое хотѣло отдать Войту въ учебную команду, чтобы потомъ произвести его въ унтеръ-офицеры; но этому помѣшало незнаніе русскаго языка и отсутствіе всякой надежды на будущіе успѣхи Войты въ этомъ отношеніи. Самое большее, на что могъ рассчитывать Войта, были ефрейторскія нашивки, для полученія которыхъ, по

бычаю, заведенному въ N-мъ полку, нужно было сдать экзаменъ у баталіоннаго командира.

По странной случайности, какъ ротный, такъ и баталіонный командиры Войты тоже были инородцы, дурно владѣвшіе русскимъ языкомъ. Въ доброе старое время, а именно лѣтъ двадцать тому назадъ, такіе офицеры встрѣчались въ нашей арміи; но справедливость заставляетъ насъ замѣтить, что этотъ существенный недостатокъ не мѣшалъ многимъ изъ нихъ быть прекрасными офицерами.

Баталіоннаго командира Войты звали Тратенбергъ, а ротнаго Браденбергъ. Оба они были славные малые, очень честные, можно сказать, рыцари въ душѣ. Ихъ любило начальство и товарищи за ихъ аккуратность и прямоту; но незнаніе русскаго языка частенько ставило ихъ въ весьма комическое положеніе.

По наружности, какъ подполковникъ, такъ и капитанъ были весьма представительны: стройно держались корпусомъ, чисто одѣвались, всегда сохраняли бодрый воинскій видъ и волосы на вискахъ, красиво окаймлявшіе интересную розовую лысину, зачесывали по послѣдней модѣ. Цвѣтъ волосъ у этихъ офицеровъ былъ такой же, какъ и у Войты; баки росли необыкновенно густо и очень эффектно соединялись съ большими усами, которые, въ свою очередь, принимали въ свои объятія значительную растительность, пріютившуюся въ ноздряхъ. Глаза, особенно у Тратенберга, были на выкатѣ и казались очень серьезными и умными, особенно въ тѣ минуты, когда подполковникъ молчалъ; но странно: чѣмъ эти глаза казались серьезнѣе, чѣмъ больше свѣтилось въ нихъ умственной мощи, тѣмъ на баталіонныхъ ученіяхъ выходило больше путаницы, которая не устранялась, несмотря даже на глубокомысленныя совѣщанія, происходившія въ такихъ случаяхъ между подполковникомъ и капитаномъ на иностранномъ діалектѣ.

Вообще подполковникъ производилъ впечатлѣніе своей

внушительной виѣшностью, особенно на простой народъ. Когда полкъ слѣдовалъ по улицѣ на ученіе, никто не обращалъ вниманія на командира полка; сидѣльцы магазиновъ и лавокъ, выбѣжавшіе послушать музыку, внимательно слѣдили за стройной фигурой подполковника, и въ народѣ слышались замѣчанія: „вотъ этотъ степенный, что позади музыки ѣдетъ, надо быть, надо всѣми ими начальникомъ будетъ“.

Тратенбергъ и Браденбергъ состояли между собой въ самой тѣсной дружбѣ; каждый вечеръ проводили вмѣстѣ и распивали свой національный пуншъ, дѣлая солидные промежутки между глотками, во время которыхъ глубокомысленно смотрѣли другъ на друга, складывая губы сердечкомъ и перекидываясь иностранными словами. При разговорѣ съ начальствомъ оба эти офицера наклоняли голову нѣсколько внизъ и набокъ, что означало почтеніе къ начальству; а получая благодарность, складывали губы такъ же, какъ и при питіи пунша, что выражало значительную степень удовольствія. На службѣ они старались держать себя офиціально, и подполковникъ иногда даже пытался разносить капитана, но это никогда не удавалось, потому что оба они, несмотря на свою природную раздражительность, были очень добры.

— Ты слышалъ моя команда?! грозно налеталъ Тратенбергъ на своего пріятеля.

— Да, слышалъ! Ну, и что?.. раздраженно отвѣчалъ капитанъ.

— Что-жъ ты не исполняешь?

— Я не могу исполнить: ты командуешь минута — одно, а минута — другой!..

— Я тебя приказываю, Густавъ!

— Я твой приказаній не могу исполнить!

— А! ты забилъ дисциплину? Я буду тебя подъ судъ отдавать!

— Ну, и что?.. Я буду ходить подъ судъ!..

— Ооо!.. многозначительно произносилъ подполковникъ

и съ открытымъ отъ удивленія ртомъ отъѣзжалъ къ другимъ ротамъ.

Капитанъ вообще отличался нѣкоторыми странностями; такъ, напримѣръ, онъ не могъ запомнить фамилію своего фельдфебеля и не сразу узнавалъ свою роту.

— Фельдфебель! гдѣ наша рота? спрашивалъ онъ, выходя на ученіе.

— Издѣсь, ваше высокоблагородіе.

— Ну, ну! что ти мнѣ показываешь? Я самъ знаю свою роту...

На ученіяхъ капитанъ часто сбивался и за всю свою долготѣнную службу не могъ разъяснить себѣ, отчего это сигналъ „кругомъ“ означаетъ не „кругомъ“, а „назадъ“. Во всѣхъ сомнительныхъ случаяхъ онъ обращался за помощью къ субалтернъ-офицерамъ; когда же они подсказывали „направо“ или „налѣво“, онъ сердился и дѣлалъ имъ выговоры.

Недостатки подполковника были другого рода: онъ часто перепутывалъ приказанія, исходящія отъ командира полка, и, собравъ ротныхъ командировъ, передавалъ имъ что-нибудь совершенно недоступное пониманію. Однажды, во время ученія, получивъ приказаніе остановиться на мѣстѣ въ то время, какъ другому батальону скомандуютъ „прямо“, подполковникъ передалъ его въ такой редакціи: „когда будутъ командовать „прямо“, тогда на-мѣстѣ!“

Теперь вернемся къ Войтѣ, который долженъ былъ подвергнуться испытанію для полученія ефрейторскихъ нашивокъ. Экзаменъ былъ обставленъ нѣкоторою торжественностью: столъ былъ покрытъ присланнымъ изъ капитанской квартиры, краснымъ сукномъ; нѣсколько листовъ бѣлой бумаги съ написанной на ней фамиліей Войты, аккуратно очиненные карандаши, перья съ фигурными ручками и дорогая капитанская чернильница—возбуждали въ ротѣ большое любо-

пытство и сообщали сърой ротной обстановкѣ праздничный видъ.

Подполковникъ явился въ роту въ новомъ сюртукѣ и, усѣвшись въ предсѣдательское кресло, велѣлъ Войтѣ подойти къ столу.

— Ти спрашивай его немножко обязанности, сказалъ подполковникъ.

— Мнѣ спрашивать? Я думалъ ти будешь?

— Нѣтъ,—ти спрашивай; я буду слушать!

— Войта, ти знаешь обязанности? спросилъ капитанъ, сдвинувъ прилично случаю брови.

— Да!

— Нинадо „ја“. Говори по-русски: ти на Россіи служишь.

— Слушаю.

— Какія ти знаешь обязанности? „Часовой“ знаешь?

— Такъ точно.

— Скажи „часовой“.

— Часовой долженъ дитѣлно (бдительно) охранять вой постъ и сѣ руценное его назору.

— А, хорошо!

— Радъ стараться, ваше высокоблагородіе!

— А ти не сказалъ: онъ можетъ пѣть (пѣть)?

— Никакъ нѣтъ.

— Ти слышалъ? спрашиваетъ капитанъ, многозначительно переглядываясь съ подполковникомъ.

— Да, слышалъ... Очень хорошо... А спрашивай его: онъ можетъ свистать?

— Свистать?

— Да.

— Войта, ти можешь свистать?

— Фуй!.. засвисталъ Войта, привыкшій моментально исполнять всякое приказаніе.

— Фуй!.. Нинадо здѣсь... Я спрашиваю: на караулъ?

- Никакъ нѣтъ.
- Ты слышалъ?
- Да, слышалъ; очень хорошо... Ты спрашивай: кому онъ будетъ вызывать караулъ?
- Войта, ты будешь вызывать караулъ, когда процессія будетъ ходить?
- Такъ точно.
- А если покойникъ будетъ съ командой ѣздить?
- Такъ точно.
- Ты слышалъ?
- Да, слышалъ, — очень хорошо... Спрашивай его: „на случай пожаръ...“
- На случай пожаръ?
- Да, на случай пожаръ.
- Войта, ты можешь ходить изъ свой постъ на случай пожаръ?
- Никакъ нѣтъ.
- Ты слышалъ? Онъ все знаетъ!
- Да, слышалъ... Я думаю, его можно дѣлать „учитель“?
- Ты думаешь?
- Да, я думаю.
- Я тоже думаю.

Такимъ образомъ участь Войты была рѣшена: онъ не только получилъ ефрейторскія нашивки, но и былъ признанъ способнымъ занять должность педагога, которому вѣрятъ солдаты въ самомъ нѣжномъ, если такъ можно выразиться, военномъ возрастѣ.

Если-бы нужно было придумать для новобранца какое-нибудь наказаніе, превышающее свѣтлый и темный карцеръ, и даже военную тюрьму, то мы смѣло могли бы рекомендовать отдать его въ распоряженіе дяденьки Войты, не потому, что Войта былъ дурной человѣкъ, — напротивъ, онъ былъ очень честный и доброжелательный, — а потому, что глупость

Войты была такъ же феноменальна, какъ и его ростъ. Военное воспитаніе въ глазахъ Войты заключалось главнымъ образомъ въ запугиваніи человѣка и въ дониманіи его на каждомъ шагу разными замѣчаніями.

Получивъ въ свое вѣдѣніе пять человѣкъ новобранцевъ, Войта какъ бы связалъ себя съ ними, буквально исполняя правило предписывающее дядькѣ не оставлять молодыхъ безъ надзора. Онъ ходилъ съ ними какъ насѣдка съ цыплятами, не позволяя имъ удалиться ни на шагъ отъ своего гнѣзда, и если кому-нибудь изъ его питомцевъ нужно было отлучиться „внизъ“, то онъ не только сопровождалъ его, но и таскалъ за собою остальныхъ, боясь, чтобы они не разбѣжались.

Вообще Войта былъ представителемъ какого-то особеннаго, сочиненнаго имъ самимъ и совершенно недостижимаго порядка. Мы не можемъ себѣ представить такого идеальнаго ученика, который не раздражалъ бы дяденьку Войту и не получалъ бы отъ него въ теченіе каждой минуты нѣсколькихъ замѣчаній.

За обѣдомъ Войта смотрѣлъ въ ротъ своимъ питомцамъ, наблюдая чтобы они ѣли не слишкомъ мало и не слишкомъ много; въ первомъ случаѣ онъ замѣчалъ: „Ну, жри, цортъ!“ Когда же проголодавшійся новобранецъ просилъ прибавки, Войта со злостью отдавалъ ему миску, приговаривая: „только и знаешь жрать!“ Людей бѣдныхъ, которые не имѣли своего чая, Войта называлъ мусорными, упрекалъ ихъ принадлежностью къ дурной, нехозяйской семьѣ; другихъ же, которые пили свой чай, постоянно донималъ замѣчаніями: „только все цаями балуетесь, черти!“

Въ свободные отъ занятій часы, дяденька неустанно слѣдилъ за положеніемъ своихъ учениковъ, и никакое изъ принимаемыхъ ими положеній его не удовлетворяло: если они сидѣли пригорюнившись, онъ начиналъ ихъ упрекать, говоря, что солдату слѣдуетъ быть веселымъ; если они шу-

тили между собой, Войта ёдко замѣчалъ: „цего балуетесь, церти!“ Сидящихъ онъ сгонялъ съ мѣстъ, объясняя, что солдату не слѣдуетъ засиживаться; ходящихъ — заставлялъ бѣгать; бѣгающихъ — останавливалъ.

На счастье Войты, всѣ новобранцы, которыми онъ завѣдывалъ, принадлежали къ самому скромному классу людей, а именно — къ хлѣбопашцамъ. Двое изъ нихъ были орловцы, остальные малороссы. Нечего и говорить, что эти люди вполне покорились своей участи. Они заранее знали, что военная служба будетъ для нихъ трудною, и въ настоящее время не тяготились этой трудностью, ибо, по простотѣ душевной, полагали, что исполненіе даннаго ими обѣта служить честно и нелицемѣрно — заключается для нихъ на первый случай въ безусловномъ подчиненіи дяденькѣ Войтѣ.

Несмотря на то, что Войта былъ отличнымъ гимнастеромъ и строевикомъ, занятія въ его партіи подвигались весьма туго. Онъ никакъ не могъ понять, что артистическое исполненіе пріемовъ достигается временемъ, и до того пилилъ своихъ учениковъ, что они уже не вслушивались въ его наставленія, а только потѣли и вздыхали, выражая отчаяніе въ своихъ способностяхъ.

Наибольшимъ камнемъ преткновенія, конечно, была такъ-называемая „словесность“. Въ этомъ занятіи Войта былъ немолчимъ: зная на память всѣ обязанности, конечно на ломаномъ русскомъ языкѣ, онъ не прощалъ своимъ ученикамъ ни одного пропущеннаго слова.

— Кафари за мной: „снамя“...

— „Снамя“, повторяетъ ученикъ.

— „Исть“ (есть).

— „Исть“.

— „Воинская“.

— „Воинская“.

— „Вятыня“ (святыня).

— „Вятыня“.

— Теперь кафари сѣ разу (сразу).

Ученики безъ всякихъ разсужденій перенимали уставныя фразы въ редакціи, даваемой имъ дяденькой Войтой. Только одинъ изъ малороссовъ осмѣливался подвергать ихъ критикѣ.

— Омелюкъ! робко обращался онъ къ товарищу, оглядываясь, чтобы кто-нибудь не подслушалъ.

— Чѣго?

— Нашто „воны“ (они) кажутъ „снамя“? а-же то „знамя“...

— Мовчи! со страхомъ отвѣчалъ Омелюкъ: — то мабутъ такъ трѣба.

— А щѣ воно таке: „исть“?

— Хто-жь ёго зна щѣ, — то уставъ такий.

— Нашто-жь мы ёго учимъ, коли намъ не звисно до чѣго воно пристало?

— Про те дяденька зна... Мабутъ такъ трѣба.

Настойчивость Войты взяла свое. Послѣ неимоверныхъ усилій молодые выучили свои обязанности на ломаномъ русскомъ языкѣ. Экзаменъ происходилъ въ присутствіи генерала.

— Странно, замѣтилъ генераль, обращаясь къ Браденбергу: — какъ у васъ много чухонцевъ... Вы эстляндцы или курляндцы?

— Никакъ нѣтъ, ваше превосходительство, — орловскіе.

— Какъ орловскіе? а вы?

— Кіевскіе, ваше превосходительство!

— Капитанъ Браденбергъ! что это значить?

— Это Войта, ваше превосходительство, — учитель Войта... у него русскихъ выговоръ нѣтъ...

— Господа! нельзя же назначать такихъ учителей!

— Онъ, ваше превосходительство, хорошо знаетъ словесныхъ познаний; ми сами съ баталіонный командыръ его экзаменовалъ...

Генераль пожелалъ видѣть Войту и много удивлялся его необычайной памяти, даже похвалилъ за усердіе, но навсегда смѣстилъ съ должности учителя.

Такимъ образомъ карьера Войты закончилась ефрейторскими нашивками, и всю остальную службу онъ пробылъ въ должности такъ-называемаго „посылочнаго ефрейтора“, которую исполнялъ съ удивительнымъ, почти невиданнымъ въ невоенномъ быту усердіемъ.

Характеристика Войты и его почтенныхъ начальниковъ была бы далеко не полною, если бы мы не упомянули объ ихъ участіи въ сраженіяхъ, гдѣ они показали себя истинными воинами и оставили по себѣ добрую память среди дальнѣйшихъ поколѣній N-го полка.

Въ войну 1877—78 года, наканунѣ жаркаго дѣла подъ укрѣпленіемъ X*, капитанъ и подполковникъ по обычаю распивали въ палаткѣ свой пуншъ въ то время, какъ принесли изъ канцеляріи диспозицію на завтрашнее число.

— Ти видѣлъ? сказалъ подполковникъ, ударяя кулакомъ по столу.

— Нѣтъ, не видѣлъ... а что?

— Нашъ баталіонъ назначайтъ на резервъ!

— На резервъ?

— Да, на резервъ.

— Ну, и что?

— Я не хочу на резервъ! я хочу перѣдъ (впередъ)!

— О-о! я тоже хочу перѣдъ!

— Если я ни храбръ, продолжалъ подполковникъ, снова ударивъ кулакомъ по столу и опрокинувъ бутылку съ пуншемъ,—если я ни храбръ, надо миня вонъ выгоняйтъ!.. Я сичасъ буду ему сказать!..

— Ти будешь ему сказать?

— Да, Густавъ, я буду ему сказать!

— Дай руку, Карлъ, сказалъ Браденбергъ, прослезившись.

Подполковникъ пристегнулъ саблю и, напутствуемый восторженнымъ взглядомъ своего добраго товарища, отправился къ командиру. Командиръ успокоилъ Тратенберга, объяснивъ ему, что резервъ назначенъ только для формы, и что всѣмъ баталіонамъ придется принять одинаковое участіе въ дѣлѣ.

На другой день, когда баталіонъ выстроился, подполковникъ, лихо подбоченясь, выѣхалъ передъ строй.

— Ребята! сказалъ онъ торжественно, и голосъ его дрогнулъ: — ребята! я надѣюсь, я снаю, что ви не будете по-срамляйтъ русское орушіе!.. Я вѣренъ, что ви будете храбръ. какъ вашъ отецъ и дѣдушка!.. Э, каждый слышь свой начальныкъ, и Богомъ (съ Богомъ) перѣдъ!!

— Постараемся, ваше высокоблагородіе! отвѣчали солдаты.

Эта рѣчь, несмотря на ея слогъ, произвела сильное впечатлѣніе на людей своею искренностью. Лицо подполковника было строго серьезнымъ, но видно было, что онъ переживаетъ тѣ счастливыя, исполненныя военной поэзіи, минуты, которыя выпадаютъ на долю людей одаренныхъ военною жилкою. Особенно было трогательно, когда съ послѣдними словами своей рѣчи подполковникъ снялъ шапку и перекрестился по русскому обычаю.

Когда Тратенбергъ отѣхалъ отъ баталіона, капитанъ вышелъ передъ свою роту и высоко поднялъ надъ головою шапку.

— Ребята! сказалъ онъ со слезами (онъ былъ сильно растроганъ рѣчью своего друга). — Ребята! Я тоже могу прибавляйтъ: иди смѣло на рага (врага), и Богомъ перѣдъ!!

— Постараемся, ваше высокоблагородіе!

Не долго баталіону, которымъ командовалъ Тратенбергъ, пришлось находиться въ резервѣ; его выдвинули въ критическую минуту и прямо повели на непріятельское укрѣпле-

ніе. Въ то время, какъ всѣ конные начальники спѣшились, одинъ Тратенбергъ оставался на лошади, и нѣсколько минутъ среди атакующей толпы раздавался его громкій голосъ:

— Дружно, ребята, перѣдь!!

Когда этотъ голосъ умолкъ, Браденбергъ съ ужасомъ увидѣлъ лошадь своего друга, метавшуюся безъ сѣдока среди нестройно бѣгущихъ рядовъ. Обернувшись назадъ, онъ увидѣлъ Тратенберга тяжело раненымъ и бросился подать ему помощь.

— Ступай прочь, Густавъ! Ты долженъ быть на своей постѣ! строго сказалъ подполковникъ своему другу.

— Но ты раненъ, Карлъ... я буду тебя перевязать...

— Не надо перевязывать... ступай перѣдь!... сказалъ подполковникъ съ видимымъ раздраженіемъ.

И это были послѣднія его слова. Закрывая навѣки глаза, онъ силился сдѣлать какой-то жестъ, которымъ, вѣроятно, указывалъ своему другу, что его мѣсто не здѣсь, а при своей ротѣ.

Подполковника похоронили съ большими почестями вмѣстѣ съ другими, павшими въ сраженіи. Лицо убитаго казалось спокойнымъ, довольнымъ: оно какъ бы выражало застывшее чувство героя, удовлетвореннаго своими дѣяніями.

Большая перемѣна произошла съ тѣхъ поръ съ капитаномъ: онъ заскучалъ, опустилсѣ и вскорѣ послѣ похода вышелъ въ отставку; но товарищи помнятъ его и принимаютъ какъ почетнаго гостя въ своемъ собраніи; во время полковыхъ праздниковъ они обмѣниваются съ нимъ поздравительными телеграммами.

Что же случилось съ Войтой? Объ немъ упоминается въ нѣсколькихъ реляціяхъ, какъ объ одномъ изъ самыхъ отважныхъ охотниковъ. Онъ принадлежалъ къ неуязвимымъ людямъ, которыхъ солдаты считаютъ заговоренными отъ пули. Въ извѣстномъ дѣлѣ подъ А*, когда наши охотники закле-

пали цѣлую непріятельскую батарею, Войта сидѣлъ верхомъ на орудіи и неистово ругалъ своихъ товарищей за нерасторопность; а во время стычки подъ укрѣпленіемъ Х*, въ то время какъ рота Браденберга залегла за бугромъ перевести духъ и всякаго поднявшаго голову смѣльчака сражала непріятельская пуля, Войта преспокойно прохаживался по бугру и сообщалъ товарищамъ свои впечатлѣнія.

— Вись, церти! ругался онъ, указывая на турокъ. — Васъ не надо стрѣлять, васъ надо рикладомъ (прикладомъ) бить...

Вскочивъ однимъ изъ первыхъ въ непріятельскій редутъ, онъ буквально привелъ въ исполненіе свою угрозу.

Вернувшись съ похода, Войта просился на вторичную службу, но эта просьба не могла быть уважена, потому что онъ не былъ унтеръ-офицеромъ. Прощаясь съ ротой, Войта плакалъ горькими слезами.

Въ настоящее время дяденька Войта состоитъ егеремъ въ одномъ изъ охотничьихъ обществъ. Грудь Войты украшена двумя Георгіевскими крестами, а фамилія его занесена золотыми буквами на красную доску въ помѣщеніи 1-й роты N-го полка.



ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
1. Рядовой Цыгановъ (этюдь)	3
2. Егоръ Егоровичъ (разсказъ офицера)	15
3. Маюръ Гайдуковъ (разсказъ офицера)	34
4. Иванъ Павловъ (этюдь)	50
5. Унтеръ-офицеръ Бобинъ и рядовой Козловъ (этюдь)	61
6. Деньщикъ Морозка (разсказъ)	76
7. Турчанка Галя (разсказъ)	103
8. Бѣлый (разсказъ)	128
9. Алёна — солдатская мать (разсказъ)	158
10. Сусла Ивановичъ (разсказъ)	183
11. Знаменщикъ Иванъ Матвѣичъ (этюдь)	223
12. Учитель Вѣйта (этюдь)	235

ПОСТОЯННО ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
ПЕРВЫЙ ЧАСТНЫЙ



ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ ЖУРНАЛЬ

„РАЗВѢДЧИКЪ“

Въ настоящее время ни одинъ офицеръ не можетъ обойтись безъ чтенія, такъ сказать, «военно-литературной пищи». Казенные журналы слишкомъ спеціальны. «Развѣдчикъ» же, какъ журналъ частный, имѣетъ возможность знакомить своихъ читателей съ дѣломъ, избѣгая сухости изложения.

Программа „Развѣдчика“ слѣдующая:

1) Распоряженія по **военному** вѣдомству (извлеченія изъ приказовъ: Высочайшихъ, по **военному** вѣдомству и по округамъ); 2) статьи по современнымъ **военнымъ** вопросамъ; 3) корреспонденціи о текущей **военной** жизни; 4) рассказы, стихотворенія, фельетоны, путешествія, новости, замѣтки и т. п., касающіяся **военной** жизни; 5) выдержки изъ русскихъ и иностранныхъ журналовъ о **военномъ** дѣлѣ; 6) разборъ **военныхъ** изданій; 7) вопросы и отвѣты, касающіеся самымъ насущнымъ обстоятельствамъ жизненной практики **военнослужащихъ**; 8) разъясненія, совѣты и практическія указанія; 9) біографіи и некрологи. 10) Рисунки, виньетки и **портреты** всѣхъ **военныхъ** лицъ, пользующихся почетной извѣстностью или имѣющихъ значеніе въ данное время.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА съ доставкой и пересылкой:

На годъ 6 руб.; на $\frac{1}{2}$ года 4 руб.

За границу на годъ 8 р.; на $\frac{1}{2}$ года 5 р.

РАЗСРОЧКА допускается только на годъ: при подпискѣ . . 2 р.

{	Черезъ войсковую часть	{	къ 1 марта . . .	2 р.
	разсрочка по соглашенію.		къ 1 мая . . .	2 р.

Доставившему 10 экземпляровъ — одиннадцатый **бесплатно**.

Деньги могутъ быть высылаемы **почтовыми** марками, каждая не дороже 50 к. **Безденежная подписка не принимается**. За **перемену** адреса 28 к. **Отдѣльные ЛМ** высылаются за 15 к. **Объявленія** принимаются по особой разцѣнкѣ, высылаемой по требованію.

ЖУРНАЛЬ „РАЗВѢДЧИКЪ“ РЕКОМЕНДОВАНЪ:

Главн. Штабомъ, Главн. Артиллер. управл., Главн. Инженер. управл., Главн. управл. Военно-учебн. заведеній, Главн. Интенд. управл. и по войскамъ военныхъ округовъ: Варшавскаго, Виленскаго, Гвардіи и С.-Петербургскаго, Закаспійскаго, Иркутскаго, Кавказскаго, Казанскаго, Московскаго, Одесскаго, Омекаго, Туркестанскаго, Пріамурекаго и Финляндскаго.

Издатель-редакторъ В. БЕРЕЗОВСКІЙ.

АДРЕСЪ: С.-Петербургъ, Колокольная, № 14,

въ редакцію «РАЗВѢДЧИКА».

Вся новые подписчики получаютъ „РАЗВѢДЧИКЪ“ съ первого вышедшаго въ текущемъ году номера

Вся новые подписчики получаютъ „РАЗВѢДЧИКЪ“ съ первого вышедшаго въ текущемъ году номера